ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

2 · 1987

НАШ СОВРЕМЕННИК 1987 2



„Спасибо, друг!". Ефрейтор Сергей Воронин и Гуллом Махмат — член отряда помощи революции.

Фото Г. Бибика.

НАШ СОВРЕМЕННИК

ОСНОВАН А. М. ГОРЬКИМ В 1933 ГОДУ



Литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

2 ФЕВРАЛЬ 1987

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА», МОСКВА

Валерий ШАМШУРИН

Поле

С надеждой, радостью и болью,
Обычай предков сохранив,
Мы на поклон приходим к полю,
К раздолью вещих наших нив.

Ведь как бы новь нас ни манила,
Как ни звала со всех сторон,
Его ничто не заменило:
Ни сталь, ни пластик, ни бетон.

И щедро было, и убого,
И выгорало все дотла...
Но только главная дорога
Через него веками шла.

В сиянье рос, в дыму ль багровом
В любой судьбе отозвалось —
Звалось ли громко Куликовым
Иль просто пахотным звалось.

В любви к нему мы не слепые.
Не потому ли так близки,
Как предков очи голубые,
Среди колосьев васильки?

И с несгибаемой Москвою,
И с нескончаемой страдой
Россия — поле вековое,
Где славен колос золотой.

С времен далеких и поныне,
Пока мы в мире этом есть,
Оно нам — первая святыня,
И заручение, и честь.





Владимир КОСТРОВ

Воспоминания о лете

* * *

Отпусти меня туда,
Где свободная вода
Холодна и многоструйна,
И прозрачна, как слюда,

Где осока и осот,
Клевера и буераки,
Где еще зимуют раки,
А Макар телят пасет.

Где прищелкнут на крючок
Дом с резными петушками,
Где еще поет сверчок
И журчит под лопушками
Неизбывный родничок,

К небу низкому, как дым,
К полю с дымными кустами,
К малым холмикам родным
С безымянными крестами,

К толокну и киселю...
От ночлега до ночлега
Там в пути поет телега
Песню древнюю свою,

Трактор бродит по стерне,
Горка, складка, снова горка...
Горько. Сладко. Снова горько
На родимой стороне.

Милая моя семья,
Отпусти меня на лето.
Я вам осенью за это
Напишу про соловья.

* * *

На речке, на речке,
На том бережочке...
(Из песни).

То молчит, как ночная птица,
То ключами бренчит на пороге...
Речка Белая Холуница
Моет девушке белые ноги.

Верно, это Маруся, Маня —
Не смотрите звери и люди —
В молодом молочном тумане
Входит в речку по белы груди.

Все еще во-первых, не в-пятых,
Не зачем-то, а потому что.
Как лужок озерный в опятах,
Все лицо у нее в веснушках.

А идет!
Не прозвякнет капля
Перед юностью оробелой.
Длинноногая, словно цапля
Из нечастой породы белой.

Сердце, словно перед бедою,
Захолонет,
Чтоб глуше биться.

И захочется стать водою
Речки Белая Холуница.

И захочется стать волною,
Чтоб точеных колен коснуться,
Чтоб в копне золотого сена
От любовной вины проснуться.

...Но темны озерные очи,
Мудрены бессвязные речи.

Не запрячь вороные ночи,
Не обнять молодые плечи,

Не забыться,
Не схорониться
Ни под пологом,
Ни во стоге...

В речке Белая Холуница
Моет Машенька белы ноги.

* * *

Кто б ты ни был,
Крепись, старина!
Ишь: в борьбе за всеобщее дело
Порадела родная страна,
Кровью мир оплатила сполна,
Да сама в деревнях поредела.

Дело надо вести на паях,
А не танцы давить в мокасинах.
И безлюдье на русских полях
Не избыть толчеей в магазинах.

То, что с карты ушло навсегда,
Вновь в нее не загонишь указкой.
Я за то, чтобы краска стыда
Всесословною сделалась краской.

Сверх того, голосую за то,
Что прогресс этот край не погубит.
Этот клин не распашет никто,
Кроме нас,
И никто не полюбит.

* * *

Певец — не пастух.
Народ — не табун.
А совесть и жизнь — не карьера.
И слово, звучащее с высших
трибун,
Должно восходить из партера.

Чтоб было оно над собой не
вольно,
И было оно не парадным,
Чтоб в тигле жизни рождалось оно,
Под страшной компрессией правды.

Не бойтесь испачкать гамаш и
галош
В извечном и суетном быте.
Из ложи отдельной,
Которая ложь,
К дешевой галерке взойдите.

Как трус,
Не рискнувший своим животом,
Не может гордиться победой.
Сперва исповедуй —
И только потом
Чего-нибудь сам проповедуй.

Под совесть,
Под дуло, глядящее в лоб,
Подняться не каждый по праву.
И подл, словно в бога не
верящий поп,
Стервец, возвещающий правду.

Пой, пой,
Но когда эта жизнь припечет,
Все смыслом наполнится снова.
Да, певчему слову —
Дважды почет,
Но трижды —
Вещему слову.

* * *

О, в скольких улицах столицы
Распалась вязь имен.
Мы сами вырвали страницы
Из книги «Связь времен».

Приговорили к высшей мере —
Берет тоска.
Порой «Москва слезам не верит»
И «бьет с носка».

Мы верим в цели созиданья,
Идем вперед.
Но не разъял свое сознанье
Родной народ.

Нет, нет, названья не порочат,
Не сеют яд.
Они связуют и пророчат,
В душе горят.

И чтоб сказать о том, что будет,
О смысле бытия,
Нам позарез нужны все буквы —
От «А» до «Я».

* * *

Да, неймется!
Но счастья чужого
На излете не просит душа.
Летний мед, золотой и тяжелый,
Мне лесник подает из ковша.

И, от лета меня отлучая,
Провожает кивком головы.
Всё в пузыриках — плоть Иван-чая,
Свет душицы и цвет Трын-травы.

Словно золото, блюдом оправлен,
Мед почти излучает тепло.
Он расплавлен в янтарь,
Он отравлен
Сожаленьем, что лето прошло.

Буду ехать в вагоне трехосном
В дальний город,
В огни и дожди,
С этим яростным и медоносным
Ульем звуков, поющих в груди.

И до первой былиночки вешней,
До святого ее торжества
Будут виться в душе,
Как в роешне,
Золотые, как пчелы, слова.



Юрий СЕРГЕЕВ

СТАНОВОЙ ХРЕБЕТ

РОМАН

НОВА Егор сплавился по Тимптону, прошел благополучно Фомины пороги и встретился на старом месте, у стойбища эвенков, с Игнатием Парфеновым. Опять они добывали золото на Гусиной речке, нашли новую россыпь.
Егор возвращался к границе и наскочил у Яблонова хребта на банду. Был ранен в плечо, отлежался в поселке Ларинск. По просьбе Парфенова Егор встретился с начальником ГПУ Зеи — Балахиным.

Лицо Балахина было поклевано редкими оспинками. Светлый чуб аккуратно зачесан назад, глаза из-под красных от бессонницы век глядели так пристально, что, казалось, прожигали насквозь сидящего Егора. Ни тени страстей, ни улыбки, ни осуждения или еще каких чувств... И Быков понял, что перед ним сидит смертельно уставший человек.

— Я тебя представлял совсем другим, — медленно заговорил чекист. — Ты еще совсем сырой... молод для того, что предстоит сделать.

— Это дело поправимо, — улыбнулся Егор. — А что делать-то?

— Не гони вороных... Скажи мне свою позицию к революции, и только честно. Вырос ты в семье врага, но за отца не ответчик...

— Позицию? Я еще сам толком не разобрался. Хочется жить в России, мать привезти сюда, брата и сестру... Отец не пойдет. Муторно мне в Маньчжурии, дух там тяжелый, опасливость заела, говор чужой. Да и простору нету вовсе... А тут... взять хотя бы Якутию, прикипел я к ней, человеком себя почуял.

— Ладно... хочется верить, что перекуешься. О переезде семьи говорить еще рано, пройдешь проверку, оправдаешь надежды Игнатия Парфенова и мои, буду хлопотать о репатриации. С отцом ничего не выйдет, в Чите расстреливал наших. Уволь. Таково время.

— Я готов. Говорите.

— Рискнем, Егор, — Балахин встал, скрипнув ремнями портупеи, подошел к решетке окна и закурил. — Дело тебе предстоит невероятной сложности. Кацумато сделал еще до революции столько вреда нашей земле, России, что за ним охотилась царская контрразведка по всем странам, где он скрывался от возмездия. Этот мудреный старец приложил руку к разгрому русского флота на Цусиме, неудачам у Порт-Артура и еще много бед натворил. На нем кровь тысяч и тысяч наших соплеменников, которых гнали на убой под снаряды и пулеметы. Равного ему разведчика, вернее, шпиона, я еще не знаю. И вот

Окончание. Начало в № 1 за 1987 год.

этот гений интриги не думает сложить оружие. Он теперь борется с Советской Россией, и очень успешно. Вот посмотри две фотографии. Это — вырезанная казарма красноармейцев под Хабаровском, операцию провели ночью двое подручных Кацумато. На этой — взорванный эшелон с хлебом, который мы с большим трудом собрали для голодающего Петрограда. Кроме всего этого, Кацумато — военный разведчик. Его лазутчики уже отловлены по всей стране, но далеко не все. Подготовлены они — лучше не придумаешь... Твоя задача сойтись еще ближе с японцем, сблизиться любой ценой и помочь нам.

— Попробую... вот только руку мне контрабандисты продырявили.

— Терпи, браток. У нас нет другого выхода. Мы уже не раз пытались внедрить туда наших людей, но ребята погибли. Кацумато дьявольски проницателен. Раскалывает на тончайших деталях. Ну так что, испытаешь судьбу?

— Согласен. Что мне еще нужно сделать?

— Вот если бы удалось изъять секретную картотеку его агентуры! Тогда мы смогли бы вычистить шпионскую сеть. Это была бы неоценимая помощь. Я бы сказал даже — подвиг, хоть и не люблю кидаться пышными словами.

— Сможет ли моя семья вернуться, если я это исполню?

— Не торгуйся, Егор. Я же сказал, что на семье твоей нет вины. Кроме отца. Думаю, что можно это решить. Даже если операция сорвется и ты погибнешь. Я отвечаю за свои слова.

— Помирать я не собираюсь, — покачал головой Егор и скривился от боли в плече. — Все сделаю, чтобы найти эти документы. Вижу, что бед натворил Кацумато много и еще навредит. Будьте уверены!

— Хорошо! Желаю удачи. Вот тебе явки в Харбине, если будет нужна помощь. Выучи наизусть и бумажку сожги. Все. Удачи!

20

И вот Егор Быков вновь в доме, купленном Игнатием Парфеновым. Встретил его приветливый китаец Ван Цзи, накормил усталого старателя и долго рассказывал новости.

Когда наутро Егор сел бриться, глянул на него из зеркала незнакомый, исхудавший до синевы человек с воспаленными глазами. Ван Цзи услужливо нагрел воды и приготовил бритвенный прибор. Егор соскреб кудель мягкой бороды, оделся в свой франтоватый костюм, который стал ему велик. Сразу же поехал в город на извозчике. Постригся в парикмахерской, прогулялся по Китайской улице и еще до обеда постучался в калитку усадьбы Кацумато. Слуга провел его через знакомый двор и, низко кланяясь, впустил в филенчатые двери. Японец приветливо встретил своего ученика. Неведомо как, но сразу угадал о ранении в плечо. Велел тут же раздеться, долго ощупывал рубчики от пули и довольно заключил:

— Гимнастика, массаж и мазь древних китайцев. Недавно вычитал интересный рецепт. На тебе и испробуем. Завтра приходи с утра на борьбу, я еще не всему тебя научил.

— Борец из меня сейчас никудышный, — отмахнулся невесело Егор, — отощал совсем.

— Это хорошо, лишний вес не нужен. Чем толще человек, тем он уязвимей. Легкий же может отскочить, согнуться, откатиться. Тощего человека трудней убить.

В доме Кацумато все было по-старому. Та же гравюра на стене, так же полуоткрыта дверь в соседнюю комнату, где стоит керамическая ваза с цветами. Так же курятся благовония. Егор уже знал, что японцы очень тщательно подбирают редкие ароматические вещества и породы деревьев для сожжения и получения душистого дыма. Весь этот ритуал исполнялся согласно религии и давним традициям идолопоклонников. Чтобы шень — душа в слиянии с природой постигала сущ-

ность просветления. Кацумато казался сам идолом, сошедшим в далекой древности на землю из своей небесной страны, настолько он был изящен в каждом движении, словах и одежде. И тем разительнее в Кацумато видел Егор страшное слияние добра и зла. Призывая к величию красоты, старик заодно учит изощренной жестокости уничтожения самого высшего проявления прекрасного в природе — человека. В этом доме каждая вещь служила Кацумато в главном, была изысканна и совершенна, как совершенны в убийстве его отточенные приемы. Егор и явился сюда, чтобы разобраться во всем этом, познать себя через японца, а если будет возможным, выполнить задание Балахина, ибо он на своем примере знал, каких бед может натворить человек, прошедший школу старика.

Вдруг Кацумато поднялся, перехватив взгляд Егора, прикованный к гравюре на стене.

— Это портрет знаменитой танцовщицы, по-нашему — гейши. Я выписал ее из Японии... тебе в подарок... — он хлопнул в ладоши.

В ослепительном кимоно, расшитом цветами лотоса, мгновенно явилась стройная и красивая девушка. Согнулась в почтительном поклоне, коснувшись тонкими пальцами соломенной циновки. У нее высокая прическа, заколотая причудливым гребнем в форме головы кобры.

— Что желаете, хозяин? — выговорила певучим голосом на чистейшем русском языке с легкой картавинкой.

— Вот твой хозяин, — кивнул японец на гостя, — зовут Егором, будешь у него прислуживать в доме и делать все то, чему тебя учили в школе гейш.

— Хорошо, Кацумато-сан, — пропела она опять, не смея поднять глаз на парня.

— Марико, принеси нам зеленый чай и собери свои вещи. Он тебя увезет.

Она неслышно удалилась и вскоре вернулась с чайником. Легко опустилась на циновку рядом с гостем. Разлила напиток по маленьким чашечкам и открыто улыбнулась Егору. Девушка была поразительно хороша: из-за чуть косого разреза глаз и скуластости ее лицо казалось удивительно притягательным. Когда улыбалась, то обнажались ослепительно белые зубы, а на щеках обозначались ямочки. У Егора зашлось сердце от необоримой нежности. Кацумато вприщур смотрел на них. Мог ли знать Егор, что гравюра на стене была повешена специально для него. Старик разработал свой метод приручения людей. А портрет Егора уже год висел в комнате Марико. Их мгновенная тяга друг к другу была давно спланирована японцем.

— Она умеет врачевать, будет тебе делать массаж. Живите с миром. Можешь звать ее Марусей, считайте, что я вас обвенчал. Марико очень способная девушка, она за полгода изучила русский язык в совершенстве.

— А зачем он ей? — подивился Егор.

— Марико, станцуй нам, — попросил японец, не желая отвечать на вопрос.

Она согласно кивнула и запорхала без музыки по циновкам. Кацумато подливал Егору чая, весело скалил широкие зубы и прихлопывал в такт ее движениям ладонями. Откинувшийся на мягкий валик, Быков смотрел на девушку и думал: «Зачем я ему нужен, если он учил ее полгода русскому языку? Видать, что-то крепкое замышляет. Поглядим, что дальше будет».

Кацумато куда-то позвонил по телефону. Явившемуся парню в кожаной тужурке что-то жестко приказал по-японски. Тот лихо щелкнул каблуками. Хозяин дома повернулся к Егору.

— Это мой шофер. Машина мне зимой не нужна, будет до весны в твоем распоряжении. Катайся где хочешь.

— Спасибо... даже не знаю, как вас благодарить, учитель.

— Право, не стоит... нужно помогать друзьям, — довольно осклабился Кацумато. — Езжайте с Марико, посмотрите город, а завтра

явишься на тренировку. Я научу тебя новым приемам борьбы, ими владеют считанные люди в моей стране.

— Плечо еще не зажило...

— Вот и хорошо, надо его развивать, так быстрее затянется рана.

— Спасибо! С удовольствием буду учиться, — встал на ноги Егор. — Спасибо, Кацумато-сан, — поклонился и вышел.

Сзади семенила Марико, слуга тащил два ее больших чемодана. «Вот влип так влип, — опять подумалось Быкову, — за каким чертом она ко мне приставлена? Чтобы слушать, что я во сне бормотну? Верным делом, шпионка. Ладно... двум смертям не бывать, а одной не миновать».

В шикарном «форде» сиденья обтянуты васильковым бархатом. Егор впервые очутился в автомобиле. С любопытством оглядел непонятные рычаги и приборы, сказал вслух:

— Обязательно научусь владеть этой штуковиной.

Покружили по улицам Харбина. Егор рассеянно смотрел в окно, видел много русских лиц. Стайкой табунились гимназисты. Спешили куда-то курносые барышни славянских кровей, похожие на героинь произведений Тургенева и Чехова (этих писателей заставил прочесть Быкова докучливый Кацумато в прошлую зиму). В одном дворе стряпуха раздувала совсем уж родной самовар с колченогой трубой. И Быкова вдруг охватила жуткая тоска. Даже в тайге он ни разу так не отчаивался. В этом городе не было ни одной близкой души, несущей спасительное добро. Он повернулся к Марико, словно ища поддержки, утешения, и утонул в ее бездонных раскосых глазах. «Что за неземная красота, — подумалось ему, — такие совершенные люди не могут жить долго в этом страшном мире. Господи... почему жизнь избрала именно меня, и я должен идти по этой нелегкой тропе испытаний, без права на отдых и покой. Ведь мог жить припеваючи на хуторе, иметь семью и детей. Нет же... куда меня несет нелегкая? И эта кроткая по-детски, прямо-таки ручная японка... зачем она появилась рядом?» Но она настолько обвораживала, что захотелось потрогать рукой ее тугие волосы, сказать что-то ласковое, как сеструхе Ольке.

Егор опомнился от своих дум и приказал шоферу ехать в русский ресторан. Не удивился уже, что тот согласно кивнул головой, понимая его слова. Быков велел ждать у подъезда, а сам взял за руку девушку и повел к знакомым дверям. В зале никто не обратил внимания на явившуюся парочку, все так же гремела музыка и было полно народу.

Притихшая японка вежливо улыбалась и ела сладости. Егор медленно тянул из бокала холодное шампанское. И вдруг понял, что им обоим тут неуютно.

— Брось ты этот чай, пей вино, — впервые заговорил он с ней и открыто улыбнулся.

— Благодарю, хозяин, я никогда не пробовала спиртного.

— Это брось... хозяин, какой я тебе хозяин. Просто Егор, — он поднял бокал, — отпразднуем знакомство. Мне почему-то кажется, что я знаю тебя давно. Будем проще.

Марико послушно отпила из налитого бокала и сморщилась.

— Оно противное и шипучее, как вода из гейзеров.

— Неволить не стану. Сколько тебе лет, Марико?

— Восемнадцать...

— А я думал, что гейши хлещут водку и вообще... смелые во всем и со всеми. Ты на вид совсем девчонка. Как ты угодила к старику?

— Не надо об этом спрашивать, — ознобисто вздрогнула она и вдруг залпом выпила вино. — Не надо, прошу вас... это сложно объяснить.

Лицо ее разом раскраснелось от выпитого и стало еще милее. Только проступила сквозь маску смирения какая-то мужественная сила. И одновременно растерянность. Егор заказал на ужин полный стол всякой всячины.

— Еще вина хочешь?

— Хочу... оно мне начинает нравиться, — она с любопытством оглядела шумный зал.

— Марико, как ты понимаешь решение Кацумато подарить тебя? Ведь ты не вещь какая-нибудь.

— Я ваша прислуга, — все так же певуче и бесстрастно отозвалась она.

— У меня в доме Ван Цзи справляется со всеми делами. Ну уж ладно. Раз так порешил учитель — живи, места в доме много.

Егор отвлекся от разговора и тоже стал смотреть на сцену. Он отметил, что все же в ресторане произошли некоторые изменения. Вместо бойких парней-официантов столики обслуживали девушки в белых париках, одетые в дорогие платья. На эстраде выступали разные дуэты, акробатки свивались змеями, загримированные танцоры исполняли индийские и негритянские танцы. Публика была как на подбор в изысканных вечерних туалетах, и Егор понял, что ресторан со временем превратился в клуб для эмигрантской элиты.

К их столику подошел высокий седой мужчина, одетый в поношенный, но аккуратно выглаженный костюм. Хрипловатым голосом спросил:

— Простите, к вам можно присоединиться? Больше нет свободных мест, и мадам указала на ваш стол, — не дожидаясь ответа, он тяжело опустился на стул и с усмешкой оглядел зал: — Остатки роскоши былой... пир во время чумы.

В это время на сцену выпорхнула дородная женщина в пышном наряде, с блестящей позолоченной короной на голове, завела низким голосом арию из оперы. Ей подпевали мужчины с приклеенными длинными бородами, одетые в боярские кафтаны. Незнакомец опять заговорил:

— Какая отвратительная фальшь... какое глумление над всем русским. — Он остановил официантку: — Водки! И много!

Егор пристально рассматривал седого человека, было ясно, что изломала судьба его не на шутку: запойное одутловатое лицо, поблекшие от какой-то неизъяснимой беды глаза, глубокие морщины. Но более всего привлекали внимание руки, сильные и жилистые, истерзанные царапинами, с обломанными ногтями. Руки жили как бы отдельно и самостоятельно, пальцы то безвольно покоились на скатерти и казались мертвыми, то со взрывной энергией сжимались в кулаки до хруста в суставах...

Незнакомец жадно лапнул принесенный графин водки и, позвякивая горлышком о бокал, налил до краев.

А на сцене душераздирающе пиликала скрипка. Незнакомец выпил и отрешенно оглядел Егора и Марико, опять сокрушенно кивнул на сцену и обронил:

— Какая гнусная и низменная музыка одесских шалманов, боже мой... простите меня за нахальное вторжение. У меня сегодня судный день... нет, уже судный час на исходе... — И вдруг резко повернулся всем телом к эстраде на жалобно скрипнувшем стуле. Трое балалаечников в лаптях и в подпоясанных кушачками белых рубахах скоморошничали, плясали и тренькали на струнах залихватский мотив «Барыни». — Еще раз простите.

Незнакомец встал и решительно пошел через зал. Он поднялся на эстраду и резко вырвал у одного из танцоров балалайку из рук.

Публика загудела. Посыпались угрозы и смешки. Напомаженный конферансье попытался выпроводить возмутителя спокойствия, но тот уже притащил стул и уселся, настраивая инструмент.

И вот сквозь шум застолья, очень тихо, робко и нежно, потекла музыка. Она набрала силу, широту, и в звуках этих слышалась пронзительная боль о России. Балалайка источала обвальную грусть, непоправимое горе, любовь и тоску к российской природе, величие духа нации и... такое безумное раскаяние, что весь зал невольно отозвался единым стоном...

Музыкант сгорал на сцене. На его лицо было страшно смотреть, оно так неистово искажалось, то расплываясь в благостном покое, то опять превращаясь в уродливую маску... Да и балалайка ли была в его руках?! Звучал, казалось, целый оркестр, в мелодию вплетались истошные плачи вдов... ржание коней... орудийные гулы, шелест ковылей поля Куликова, и яростный визг сечи, и смертный вздох воина... и былинная широта, тревога за землю эту... и первый крик младенца... и звон колоколов... и молитвы, молитвы, молитвы... и вся Русь-страдалица...

Музыка схлынула и прервалась на такой горестной ноте, и такое было оцепенение в зале, что никто не заметил, как исчез балалаечник. А потом за занавесом вдруг грохнуло. Вышел растерянный конферансье и объявил срывающимся голосом: «Застрелился...»

От этого известия у Егора зашлось болью сердце, и он обернулся к Марико.

Она потрясенно проговорила:

— Какая божественная музыка у твоего народа... какая она великая и чистая.

— Поехали, — встал Быков.

Шофер торопливо завел мотор, и вскоре машина остановилась на темной улочке у ворот парфеновского дома. Китаец явился на стук мгновенно, словно караулил их приход. Принес в комнату пельмени и удалился. Егор чувствовал себя скованно в присутствии девушки; он помог Марико снять пальто и подул на ее озябшие ладошки, словно выточенные из розовой кости. Японка тихо рассмеялась от такого неуклюжего ухаживания и присела у низкого столика, подобрав под себя ноги.

На столике горела толстая свеча, в печке потрескивали дрова, и сухое тепло разом обволокло их. Есть уже не хотелось. Егор подсел к Марико и нехотя прожевал круто наперченный пельмень с капустой. Отложил вилку. Японка под его взглядом судорожно оправила рукой кимоно, натянуто улыбнулась.

— Не бойся ты меня, — заметил эту перемену Егор, — я не сделаю тебе плохого. Сейчас пойдешь спать на кан, а я улягусь в другой комнате.

— Я не боюсь, ты добрый...

— Почему ты так решила? — усмехнулся Егор.

— Я видела, как ты слушал музыку... видела слезы на твоих глазах, плохие люди равнодушны и жестоки, ты не такой.

— Да... Эта балалайка и сейчас еще поет во мне, не верится, что из трех струн можно извлечь такую мощь. Что за человек был с нами? Откуда у него такое умение? Даже не спросили, как его зовут.

— Разве ты не понял — это гений и он должен был сегодня погибнуть, я увидела сразу печать смерти на его лице. Как жаль его, жаль, что унес с собой такую музыку.

— Может быть, надо было ему помочь деньгами, но откуда я знал...

— На твоей родине есть поговорка: «Мы всегда сильны задним умом». Нет, Егор, ему уже ничем нельзя было помочь.

— Ну, ладно, — Егор тяжело вздохнул, еще раз взглянул на Марико и ушел в другую комнату. Улегся на широкую кровать Парфенова, накрыл голову подушкой, но все равно слышал, как Марико легко ступает по циновкам, раздевается и задувает свечу. Поворочался, а в темноте еще пуще зазвучала раздольная мелодия балалайки, она страдала, плакала и пела, неся те самые приступы очистительной боли, о которой говорила Марико. Егору вспомнились казачьи песни, родные степи и шум светлой Аргуни... А потом накатило ощущение страшного одиночества и такой безысходности, что он не выдержал и резко сел на кровати. Тихо ступая босыми ногами по холодному полу, подошел к кану. Вздрогнул от прикосновения ее рук.

— Марико-о...

Рано утром Егор попросил ее позвонить Кацумато — японец еще прошлой зимой установил телефон в доме Игнатия. Взял из ее рук трубку и сонным голосом промолвил:

— Извиняйте за беспокойство. Учитель, домой хочу махнуть... матушку повидать. Можно ли ваш лимузин арендовать?

В трубке помолчали и ответили:

— Конечно... я же сказал, что до весны он твой. Только возвращайся скорей.

— Спасибо, сенсей! — положил трубку. — Собирайся, Марико. Едем ко мне домой прямо сейчас. Представлю тебя женой, так что держись, девка. Мать у меня привередливая. Айда! — Потянулся к ней, подхватил на руки и закружил по комнате. Оба, он и она, счастливо смеялись.

Шофер безропотно исполнил указание нового хозяина, только по пути заехал на какую-то улицу и притащил канистры с горючим. По его довольному виду Егор понял, что тот еще разок созвонился с Кацумато и теперь едет с легким сердцем. Машина резко покатила подмерзшей за ночь дорогой. Свернувшись калачиком и укрывшись долгополым тулупом Игнатия Парфенова, на заднем сиденье спала Марико. Егор сидел рядом с шофером и расспрашивал о машине. Японец, подбирая слова, с акцентом объяснял назначение рычагов, показывал и учил, как ею управляют. К полудню казак уже сам погнал норовистую железяку — только ветер посвистывал. Ничего хитрого не было в этом деле. Крути себе рулевое колесо, двигай рычажки да жми на педальку. От скорости Егор ошалел.

Мимо якимовского дома пролетел, не останавливаясь, лишь покосился на громаду ворот и помрачнел. Голоса Байкала не было слышно за ревом мотора. Егор притормозил вскоре у потемневшего от дождей заплота отцовского дома.

— Открой, — кивнул на ворота японцу.

С шумом и дымом ворвался на подворье неведомый зверь. Егор отодрал от рулевого колеса занемелые пальцы, вылез и увидел в проеме двери Марфу с винчестером наперевес. Она сурово жмурила глаза, скривив в недоброй усмешке рот.

— Не балуй, дура! — спокойно взглянул в ее надменное лицо Егор и остановился перед вскинутым винчестером.

— Проваливай! Нет тут ничего твоего, все мое. Тронешься с места — стрельну, поди, меня знаешь.

— Мне ничего не надо, подавись этим добром. Мать хочу повидать. Позови ее.

— Не дозваться уж, милой... не поспел чуток. Велела долго жить мамашка твоя. Вона за поскотиной зарытая лежит с осени.

— Брешешь, стерва! — обварило Егора жаром, — брешешь...

— А че брехать, резону нету. Затужила и скопытнулась. Аминь!

— Отец где? — насупился он.

— Где ж ишо, пьянющий с утра спит. Пронька с Олькой на заимке со скотом управляются. Проваливай!

— Марфа, не дури, в родной дом не пускаешь. Совсем спятила!

Из машины вылезла Марико, сонно потянулась, огляделась вокруг и вдруг молнией прянула на крыльцо — и Марфутка, охнув от страшного удара, скатилась грузно по ступеням вниз, заголив срамоту. Хватанула ртом воздух, дико выпучив ореховые глаза.

Егор остолбенел. Прислонившись к притолоке и умело разряжая тяжелый винчестер, виновато улыбалась японка. Марфа поднялась на карачки, опасливо глянула наверх.

— Где ты такую зверицу сыскал, все печенки отбила. Ну, погодите! Счас братанов натравлю — живо угомонят.

— Простите, пожалуйста, меня. Я боюсь, когда стреляют, — заговорила Марико, помогла встать отяжелевшей Марфе, — не нужно ругаться.

Та скрежетнула зубами и замахнулась кулаком по-мужичьи. Марико легонько чиркнула ребром ладошки по ее шее, бывшая жена Егора опять кувыркнулась наземь.

— Марико! — вступился Быков, — хватит! Пришибешь еще мачеху мою, — невесело покачал головой, и опять пришла мысль: зачем приставил Кацумато к нему эту бесстрашную защитницу, вымуштрованную борьбой? Ить на ствол кинулась!

Он вошел в избу, оставив женщин наедине, и застал в горнице спящего отца. Михей долго мыкал, матерился, стонал, обдавая тошнотворным запахом перегара, пока сын не плеснул ему на волосатую грудь ковш холодной воды. Михей вздрогнул и смятенно вскочил, дико озираясь спросонья в поисках оружия.

— Какого черта надо, — взъярился он. — Пшел отсель!

— Не бойся, это я, Егор.

— Че от меня надобно? — хмыкнул отец, наконец-то узнав стоящего. Он почесал горстью закучерявленную седым волосом голову.

— Отцом-то тебя назвать — язык не поворачивается. Мать в гроб вогнал совместно с этой шлюхой. Эх, батя-батя! Креста на тебе нету... Что ж ты за зверь такой?..

— Дозволь одеться, не кори...

— Я ить с женой приехал на машине, думал мать увезти. Не довелось, эх, батя... Спился, провонял душой и телом...

— Не тужись, со временем все там будем, не терзай меня. Померла Настютка без моево насилья. Тихой смертью отошла. Я не виновен в ней. Остудилась — и бог прибрал к себе. Она-то уж точно в рай угодит.

— Кулаками спровадил. Я же знаю, сколь ты над ней измывался. Нечего на бога валить.

— Жена она мне была! Не твое щенячье дело попрекать, — возвысил голос Михей.

— Ладно, — свирепо посмотрел на отца Егор, — веди на могилку. Ольку с Пронькой надо привезть. Счас отправлю шофера за ними.

— Ишь ты-ы! И шофер у тебя в прислуге. Никак, забогател?

— А как же, не все же тебе в богатстве жить.

— Но-но... отец все-таки. А Марфутка-то где? Пущай накроет стол для дорогих гостей.

— Да-а, моя суженая ей чуток мозги вправила. С винчестером дурковала в дверях, — Егор невесело улыбнулся.

— Ишь ты-ы... Баб, никак, стравил? Неужто есть бойчей Марфы? Век этому не поверю. Она тут уж и надо мной командирство держит.

— Ты тоже особо не балуй, — усмехнулся Егор, — живо отправит на тот свет. С дурнинкой японка.

— Японка?! — отец округлил глаза, — так они ить смирнее коровы в обращеньи. Ну-ка, взгляну на невестку.

Пока они говорили в избе, Марфа покорилась и, злобно посверкивая глазами, ввела за собой Марико в дом. Та в пояс поклонилась Михею, оторопело застывшему в дверях горницы и еще не управившемуся со штанами. Загудел примирительно, с первого взгляда оценив выбор сына:

— Здравствуй, невестушка, садись к столу. Марфа! Готовь угощенья!

— Она меня уж угостила — дых не переведу.

— Ничё-о, знать, выпросила, — он огладил всклокоченную бороду и подавил ладонью зевок. — Меня вона тожа Егорка единожды угостил добре, доселе помнится. Забудем старое и давайте гульнем, с похмелья башка чугунная.

Егор вышел во двор, услал машину на заимку, которая была в десяти верстах от хутора. Когда вернулся к столу, отец уже допивал стакан спирта, дико вытаращив глаза на потолок. Марико настороженно озиралась, на ее вежливо-улыбчивом лице ничего не прочтешь,

сплошное благолепие и покорность, Марфа гремела рогачами в печи, что-то ворчала себе под нос. И Егор заметил, как она постарела за год, как сильно стала походить на Якимиху. Марфа оплыла. Ранним жиром обрюзгли когда-то тугие щеки, помутнели глаза и выжелтились белки от пьянства...

Вскоре зачихал под окнами мотор, вихрем ворвалась в избу Олька. Стремительно бросилась к брату на шею, целуя его взахлеб. Следом вошел Пронька, он мялся у дверей, солидно покашливал.

— Ну, здорово, брательник, — потянулся к нему Егор, отстраняя сполоумевшую сестру, — выдул-то как! Больше меня стал.

— Здравствуй, — Пронька неловко обнял гостя, приник к нему, обдав сладким запахом конского пота и навоза, — а мы вначале не поверили твоему япошке. Думали, что сбрехал. Боялись ехать, еще умыкнет невесть куда...

Отец сумрачно глядел на них. Марфа, надвинув платок почти на самые глаза, деланно улыбалась и опасливо косилась на худосочную красавицу.

Пригласили шофера отобедать. Он после третьей рюмки заметно опьянел, забубнил что-то на своем языке, силясь совладать с очугуневшими веками. Марико не пила вовсе, тонкими пальчиками отламывала от краюхи небольшие кусочки, осторожно их жевала. Марфа, видя, с какой нескрываемой нежностью японка смотрит на Егора, стервенела нутром. Управившись с приготовлением закуски, она тяжело плюхнулась на скамью и, брезгливо скинув с плеча тяжелую руку пьяного Михея, краснея лицом, закипала от гнева. Надумала сорвать злобу на Проньке и Ольке, до этого помыкала она ими как хотела, но, осаженная ледяным взглядом Егора, утихла. Неожиданно потекли у ней слезы, Марфа утиралась молча сальной занавеской и пьяно раскачивалась.

Олька не отходила от брата. Статная, красивая деваха вымахала. Глазищи — огонь, лицо — румяное и чистое. Потом Олька утащила Марико в другую комнату хвалиться нарядами. Японка сходила в машину, принесла ей голубое кимоно в подарок, серебряное зеркальце и еще что-то атласно-белое. Сестра Егора счастливо зарделась и торопливо спрятала обновы в сундук. У Проньки пробивалась курчавая бородка, он рассудительно вставлял слова в общий разговор. Все больше о хозяйстве. Дивился похождениям брата в России. Егор заметил, как жадно загорались у парня глаза при рассказах о поисках золота. Наконец Пронька не сдержался:

— Мне б с тобой двинуть туда, да на ково оставишь хозяйство. Отец старый и хворает, сестру замуж надо определять. Никак нельзя. А так бы хотелось богачество обрести...

Утихомирились после первых кочетов. Марфа прикусила нижнюю губу, когда ненавистная гостья увела ее бывшего суженого в темную горницу. Михей уже храпел, откинувшись на лавке, ему вторил тонким посвистом сморенный шофер. Олька сноровисто прибирала со стола, высокомерно поглядывая на постылую мачеху.

Егор долго лежал с открытыми глазами, обняв хрупкую Марико, доверчиво прижавшуюся к нему. Хмель его не взял, да и радость от встречи с родными была омрачена смертью матери. Горестно помнился бугорок могилки, куда они наведались всей семьей, уже чуть покосившийся крест, грубо вырубленный топором. Пустынно было вокруг последнего материнского пристанища, бесприютно, ни родни рядом, ни дедов и бабок померших...

Он вздохнул и ворохнулся, и сразу вскинула голову Марико, ласково и томно потянулась упругим телом, по-детски причмокивая губами. Что она хочет, знать бы... А девка-то чудо! Как гробанула Марфу — глазом не успел моргнуть.

— Спи-спи, Марико, теперь они нас не тронут, побоятся. Я сказал при всех, что состою у японцев на службе. Не посмеют тронуть.

— Я не боюсь. Мне хорошо с тобой, мой хозяин.

— Какой я, к чертям, хозяин! Бродяга таежный. Кто тебя так научил драться?

— Кацумато-сан.

— Зачем?

— Так надо. Чтобы защищать тебя от женщин, — она тихо засмеялась, — ты сильный, но очень неуклюжий. Я научу тебя приему «удар кобры». Он неотразим.

— Старик показал?

— Он не знает его, и многие не знают.

— Как так?

— Я ведь только наполовину японка. Мать моя с Филиппинских островов. Отец увез ее оттуда силой, убив ее братьев и родителей. Мать обучила меня борьбе моего народа. Отец был жесток с ней и со мною, пришлось убежать из дому. Я ненавижу его и многие обычаи японцев... Потом, в чайной города Нагасаки, где я танцевала, однажды случилась драка иностранцев. Они хотели надругаться надо мной. Пришлось воспользоваться ударом кобры. Я сумела отбиться от них, но меня уже заметил человек Кацумато. Он привез меня в Шанхай, а потом в Харбин.

— Хм-м... Интересно. Скажи прямо, Марико, Кацумато готовит шпионов против России?

— Может быть, да, может быть, нет, — уклончиво ответила она.— Он сам тебе скажет об этом со временем. Сутками он учил меня очень трудному русскому языку по особой системе, а зачем — не знаю.

— Ладно, разберемся. Хорошо, что с тобой познакомил. Ты удивительная женщина. Я почему-то доверяю тебе, Марико.

— Я тебе тоже... Егор! — она опять подняла голову, — если Кацумато будет тебе что-то предлагать — не отказывайся. Иначе он убьет тебя. Он знает много ударов, которые выводят из строя важные органы: печень, почки. Безобидная тренировка, а через неделю ты умрешь. Я сама видела, как он это делал не раз с теми, кто отказывался ему верно служить.

— Спасибо за предупреждение. Я догадывался об этом и буду делать, как ты просишь. Я хочу жить, Марико! Страшно хочу жить. Если бы ты видела те края, где я был, мою Россию! Как она прекрасна, сурова и необъятна...

— Я слышала вашу балалайку, этого достаточно, чтобы полюбить твою страну. Ты скоро будешь там, я буду скучать по тебе. А та девка, если еще раз захочет зла тебе, ее поразит удар кобры.

— Не надо, Марико... пусть живет, — он обнял ее и опять поразился ртутной живости ее движений.

Уже изошел криком петух на насесте, а они все не спали. Марико вдруг начала читать стихотворение. Когда она смолкла, Егор погладил ее как маленького ребенка по голове и хрипловато спросил:

— Чье это стихотворение?

— Очень древнее, китайское. Его герои разъединены, вроде нас с тобой. Конь северных степей — это ты. А птица Юэ — с крайнего юга моей родины.

— В пути и в пути, и снова в пути и в пути, — повторил он запомнившиеся строки, и тут же предстал перед глазами затянутый в ремни Балахин. Надо было выполнить его задание, узнать фамилии тех агентов, которых засылал японец в Россию.

За окнами светало. Марико неторопливо рассказывала о себе, о Японии, о своей мечте вернуться на Филиппины к своим родственникам, отыскать могилу деда. Ей тоже не сладко было жить у Кацумато, и Егор понял, что они дороги стали друг другу.

21

Кацумато встретил Егора приветливо. Умело сделал ему массаж, втер в плечо какую-то пахучую мазь. В этот же день они боролись, и Егор опять не мог противостоять ловким и мгновенным приемам японца. Потревоженная рана болела, но Быков снова и снова кидался в атаку, запоминая действия старика. После этого они обмылись холодной водой, и Егор уже который раз подивился молодому телу своего учителя, жилистому, с твердыми бугорками тренированных мышц под ровной эластичной кожей. Потом они сидели за столиком в его кабинете. Слуга принес чайник с зеленым чаем. Сенсей стал излагать программу занятий на зиму.

— Ты хоть и русский, но пишешь плохо и ленишься читать те книги, которые я тебе даю на дом. Марико будет заниматься с тобой, она подготовлена на уровне хорошей учительницы гимназии. Кроме этого, ты станешь изучать основы военной топографии и геологии, тайнопись и психологию.

— Зачем мне это?

— Современный джентльмен должен быть образованным, — уклончиво ответил японец.

— Ладно, учиться мне завсегда любо. Сгодится в жизни.

— Очень хорошо, что мы понимает друг друга, — закивал Кацумато, — тем более что я делаю из тебя человека необыкновенного. Стремительность мысли должна опережать любое твое действие. Эрудиция иной раз важнее крепких бицепсов. Помни это!

Егор тренировался до одури, а вечерами просиживал за учебниками. Марико терпеливо занималась с ним. С упоением читала вслух книги русских писателей — Достоевского, Толстого, Гоголя, Чехова, Горького.

Марико хотела добра их дому. В первый же вечер она вынула из чемодана и повесила над входом в комнату три улыбающиеся маски— Отафку-Мэ, по ее словам, приносящие в дом счастье и благополучие. И правда, Егор ловил себя на том, что при виде масок над дверью он сам улыбался и успокаивался.

А Кацумато постоянно внушал Егору, что тот должен быть в боевых схватках мягким в движениях, вкрадчивым и коварным, как тигр. Быков знал уже много приемов, несущих смерть. Но не применял их в полную силу, жалел выставляемых Кацумато соперников, судя по выправке — кадровых офицеров.

Один раз борьбу Егора с полувзводом японцев наблюдали двое суровых гостей Кацумато. Они довольно закивали, когда русский тайфуном обрушился на противников. Пятерых пришлось приводить в сознание нашатырем, что совершенно не огорчило надменных незнакомцев, один из которых, уже потом, когда пили подогретое сакэ, напыщенно зачитал указ императора о награждении Быкова Егора Михеевича за верную службу.

Егор опешил. Не догадался он, что это самый примитивный шантаж. Дома он долго ходил из угла в угол и неожиданно для самого себя брякнул: «Поглядим, чья возьмет». Марико тревожно посмотрела на него и вряд ли поняла значение этих слов. Сейф с картотекой Егор так и не нашел, но обнаружил потайную железную дверь в бетонированный подвал, она была заперта на хитроумные замки. Ее можно было только взорвать или открыть с помощью самого Кацумато. Быков искал возможность проникнуть туда, но ничего не выходило.

Разгоралась весна. Как-то японец предложил ученику остаться насовсем в России. Устроиться на Алданских приисках в Якутии. И ждать. Кацумато сочинил для чекистов легенду, суть ее сводилась к тому, что когда сотник Быков собрался эмигрировать в Маньчжурию, то Егор сбежал с золотоискателями. Доказать истину было нелегко, потому что он действительно два лета провел в тайге, добывая там золото,

Егор решил незамедлительно отправляться в путь, ибо понимал, что в одиночку невозможно овладеть картотекой. Это он и собирался при встрече сказать Балахину. И все же идея похищения документов не оставила его, но тут японец справился о здоровье сестры, брата и отца, словно намекая на то, что, ежели ученик выкинет какой-либо фортель, им несдобровать. Задумался Егор. Отчаянья не выказал, но вечером завернул в кабак, долго сидел в одиночестве за столом, утешаясь легким вином. Когда за ним прислала машину упрежденная кем-то Марико, он уже твердо знал, как надо поступить. Следующей осенью вернется, приведет из Зеи пяток надежных ребят и вместе с ними захватят картотеку, перебив охрану особняка.

В дорогу Егор собирался тщательно, запасся теплой одеждой и охотничьими припасами. А когда настал срок, Марико с шофером отвезли его к границе. Лошади были уже на той стороне. Их охранял в условленном месте неизвестный человек. Об этом побеспокоился Кацумато.

Егор отвел Марико от ожидающей его лодки, притянул ее к себе и поцеловал.

— До встречи...

— Не будет встречи, — Марико коснулась ладошкой его щеки, — ты уходишь от меня навсегда...

— Не беспокойся. Я еще вернусь...

— Вижу по тебе, — помедлила, вытирая слезы, — только знай, я все сделаю, чтобы тебе не мешали там жить спокойно. Как бы я хотела быть с тобой!

— Ну и поехали! Китайцев и корейцев в тех местах полно. Никто не удивится. Я тоже без тебя не могу, поехали.

— Нельзя... люди старика отыщут нас и убьют. Нас с тобой знает только сенсей, только у него хранятся наши личные дела... Я проникну в сейф к его картотеке и уничтожу ее. Тогда мы будем свободны, я дам знать тебе об этом.

— Ты что, собираешься убрать самого Кацумато? — опешил Егор.

— Не знаю, как получится... я хочу быть всегда с тобой, а старик мешает этому, у него свои виды на нас. Он должен умереть! Он несет людям зло...

— Марико, он осторожен и хитер. Ты погибнешь!

— Удар кобры неотразим, — она задумалась и решительно промолвила: — Жди меня десять суток у Тимптона. Я догоню тебя.

— Делай как знаешь. Я буду ждать.

— До свиданья, Егор, будь осторожен в пути. Помни, что тебя любит Марико.

— Помню, до встречи, — он помолчал с минуту, чуя, как стучит ее сердечко. — Вот что, Марико, — он близко заглянул в ее темные глаза, погладил рукой ее мокрую щеку, — ты говорила о картотеке... Я пытался найти ее и не смог. Ты знаешь, где он прячет сейф?

— Знаю, в подвале.

— Мне нужна эта картотека. Если ты действительно правду говоришь о любви и хочешь мне помочь... Да! Я не вернусь больше в Харбин. Отцу я послал письмо, он должен сам скрыться и увести брата с сестрой от кары Кацумато. Мне нужна картотека. Если ты сумеешь достать ключи, я повременю с отъездом, давай вернемся в город.

— Возвращаться не надо, — отозвалась она, — документы взять нельзя, их можно только уничтожить.

— Почему?

— Сейф устроен таким образом, что он взорвется, если открывать его, не зная кода, который известен только старику. Сейф начинен секретами и ловушками.

— Ну раз так, не суйся к нему, ты можешь погибнуть. Плюнь на все и поехали в Россию. Люба ты мне, хоть я и не верил тебе до конца. Извиняй уж...

— Да-да... Я все понимаю и не осуждаю, я для тебя чужеземка, враг...

— Нет, Марико, я так не считаю, особенно после этого разговора. Просто еще не разобрался до конца во всем. Вот сейчас открылся тебе, а еще немного боюсь. Вдруг ты играешь со мной, как кошка с мышью. И все может обернуться плохо.

— Не пугайся. Мне самой противно жить в страхе, общаться со стариком. Я прежде всего — женщина. Я хочу быть матерью, иметь свой дом, иметь от тебя детей, любить тебя, Егор, всю жизнь. Разве ты не видишь, как я люблю тебя. Поверь хоть в это. И ради нашего счастья я пойду на все, на любые лишения и риск. А теперь езжай... жди у Тимптона, я запасусь картой и найду тебя.

— Буду ждать, — нерешительно ответил он и опять поцеловал ее.— Будь осторожна, Марико, ну его к лешему, старика, загинешь.

— Все будет хорошо, я все обдумала. Делай так, как я тебе сказала.

— Я боюсь за тебя, я страшно боюсь за тебя, Марико...

Он шагнул в лодку. Мелкие волны шлепали о дощатый борт. По реке вольно гулял весенний ветерок. И Марико растаяла во тьме.

Провожающие его на противоположный берег китайцы помогли донести вьюки до условленного места, там Быков забрал трех лошадей у ожидающего его человека. Он двинулся знакомой тропой на север, неотступно думая о Марико. Неужто она сделает, что задумала, и пойдет за ним вслед в Россию? Не верилось... Неужто она так его любит?! Прошептал обреченно: «Господи! Да почему ж все так перекручено в моей судьбе!»

В Харбине был теплый день. Марико внесла заваренный чай и удалилась. На циновке в неудобной позе сидел русский человек лет пятидесяти, только что вернувшийся из-за кордона. Он обстоятельно излагал добытые им разведданные, жадно хлебал водку и смачно поглядывал на хорошенькую японочку. Кацумато этот взгляд заметил.

Хлопок в ладоши заставил вздрогнуть Марико. Она переоделась в свободное кимоно, поправила в волосах тяжелую заколку в виде кобры и вошла в комнату. Кацумато указал рукой на собеседника и сухо проговорил:

— Вот твой хозяин. Зовут Федором. Будешь у него прислуживать в доме.

В золоченой клетке запел соловей. Чтобы птаха не разбирала, когда день, а когда ночь, услаждала пением слух постоянно, старик выжег соловью глаза... Серенькая птичка радостно вывела замысловатую трель, все же чуя приход весны. Марико тоскливо взглянула на соловья и почувствовала себя такой же обреченной пленницей старика, учтиво поклонилась и вдруг молнией метнулась к сидящим. Удары острой заколкой были мгновенны и неотразимы. Старик вскочил, русский от неожиданности вскрикнул, но вылившийся из жала заколки страшный яд уже делал свое дело. Кацумато сонно пошел на Марико, оскалив зубы, пошатнулся и грохнулся поперек столика, затих. Соловей замолк, а потом опять защелкал, распушив на шейке перышки. Марико отыскала в кармане халата поверженного сенсея ключи от подвала и сейфа. Она все же подглядела, какие буквы и в каком порядке набирал Кацумато. Торопливо отперла двери в подвал и спустилась к тяжелому стальному шкафу. Осторожно вставила ключи в скважины замков, ожидая взрыва. Наконец толстая дверца бесшумно растворилась. На верхней полке лежали пачки долларов, фунтов, иен. Марико сложила их в валяющийся на полке объемистый портфель из крокодиловой кожи. Наконец вынула ящички с картотекой и задумалась, потом не мешкая сложила их в кожаную, плотно закрывающуюся сумку.

Потом она спокойно вышла во двор, отослала прислугу с разными поручениями. Приказала шоферу отвезти ее к границе. Он пожелал сам увидеть Кацумато, но Марико жестко его оборвала и была непреклонна. Она спешила, надеясь догнать Егора. Они заехали в дом Парфенова, и Марико зарыла портфель с деньгами в сухом углу конюшни. Телефон был заранее ею выведен из строя, и шофер напрасно крутил ручку, пытаясь доложить Кацумато о поездке. Марико властно прикрикнула на него.

Она всю дорогу молчала, поглядывая вокруг, и к вечеру задремала. Когда машина остановилась у дома лавочника китайца и шофер ушел в лавку, Марико проснулась. Она засунула колючку-ампулу под обивку его сиденья. Потом вручила лавочнику пачку денег и велела немедленно привести лошадь, собрать ей в дорогу все необходимое.

Когда Марико ступила на незнакомый берег и взяла за повод коня, то она уже не сомневалась в том, что встретится с Егором. Она верила.

...В это время шофер сел в автомобиль и почувствовал, как его что-то укололо в спину. Попытался встать, но не смог, умер мгновенно, напугав провожающего китайца. А особняк Кацумато сгорел вместе с охранниками, одурманенными опиумом, которым их щедро снабдила Марико.

Мартыныч, выслушав рассказ Быкова о его харбинских приключениях и вероятном хищении японкой архива Кацумато, обещал все передать Балахину. Егор с его помощью срубил плот у берега Тимптона. Давно можно было уже отплыть, но Егор терпеливо выждал десять суток, однако Марико так и не появилась. На всякий случай он предупредил Мартыныча, что ежели приедет Марико, пусть не вздумает давать ей плот, а в крайнем случае пристроит к какой-нибудь пешей артельке, следующей на Алдан. Егор боялся, что она не отступится от своего слова, но вода стала падать, надо было срочно сплавляться...

Он отплыл на тринадцатые сутки. Плот шел медленно, чиркал на перекатах по камням. Быков охотился в пути на глухарей, отмякая душой, и ждал встречи с Игнатием. Знакомые берега уходили назад, отдаляя прошлые страхи. Пьянящая сила пробуждающейся тайги ласкала и тешила суровой красотой. Он жадно ел вытаявшую на склонах бруснику у биваков, пил чистую воду ледяных ручьев, шалел без спирта в покое отрешенности. Дымок костра уплывал по ветру и щекотал ноздри, морилась в котелке пойманная рыба, на болотах блеяли бекасы, токовали глухари. Припозднившиеся табуны уток манили за собой; буянили у перекатов таймени. Ширь неба голубым колпаком накрывала отогретую землю.

На сутки задержался у Фоминых порогов. Укрепил веревками плот. В памяти стояла запруженная людьми дорога к Тимптону, неисчислимые толпы шли и ехали на далекий прииск Незаметный. Уже чувствовалась организованность этой толпы, вдоль дороги были выстроены бараки-будки для ночевья, пикет милиции у Тынды просеивал народ и проверял документы. Тайными тропами шли восточные рабочие, корейцы и китайцы, их пропускали через границу, консульство в Благовещенске давало им временные визы, но основная масса шла стихийно, без всяких документов. Руководили восточниками опытные старшинки, безраздельно подчиняя своих соплеменников.

Егор, замирая сердцем, отпихнулся шестом от берега, и опять закружило, замотало в бешеных струях ладно сработанную твердь плота. Быков взмок от пота и ливня брызг, но все же целым выбился на тихую воду. Уже традиционно решил заночевать у старого кострища.

Смутная тревога овладела им, а ночью он испуганно вскинулся. Почудился в неумолчном реве порогов далекий и отчаянный женский голос. Он вскочил и вслушался. Опять доплыл тонкий крик то ли смертельно ушибленной птицы, то ли захлестнутого болью человека.

Утром нашел прибитый в заводь растерзанный плот с увязанным вьюком. Егор с нетерпением полоснул по веревкам ножом, распорол ткань, и взору открылось знакомое белое кимоно с золотистыми лотосами. Он отчаянно бросился скалами вверх по течению реки, обдирая руки на камнях и вглядываясь в прижимистые берега. Кричал до хрипа, звал, но шум воды и порывистый ветер заглушали его голос. Он забрался в такие крепи, что назад пути уже не нашел. Близился вечер. Одна дорога оставалась — вода. Егор решительно прыгнул в тугой поток и, хватая ртом воздух, понесся вниз, уже не веря, что останется жив. Его с разлету било о камни, вертело, но он словно отвердел телом, позабыл о нем, испытывая душевные муки, поглотившие полностью его сознание. Это из-за него погибла Марико, преданно бросившаяся за ним и по незнанию реки попавшая ночью в пороги.

В заводь Егора выкинуло полуживым. Когда он опомнился, то подумал: Марико обязательно вынесло сюда, рядом, в эту яму... Быков даже застонал, представив, как она лежит на холодном тинистом дне, а кругом шныряют башкатые налимы. Наутро он шарил шестом с плота, потом закидывал сеть с грузами, напряженно вглядывался в бездонную зелень глуби. И только к вечеру, усталый, разбитый, машинально приготовил дрова, вздрагивая от каждого стороннего шороха и треска; Егору мерещилось, что вот выйдет она сейчас из леса, присядет у костра на корточки и протянет к огню свои назябшие ладошечки. Уже давно остыл ужин, Егор так и не стал есть. Он не думал ни о чем, тупо сидел в оцепенении на сырой земле. И витал в его ушах пленительный полудетский голосок, и виделась ему ее робкая улыбка... Когда Егор очнулся, то его оглушил ненавистный рокот воды. И, отчаявшись до свирепости, старатель распечатал банчок спирта. Поминал Марико и не пьянел, ужасаясь смертям, клубящимся вокруг его только что начавшейся жизни. Вдруг остервенело вскочил. Долго бился с лесом, ломая ударами ног и рук безвинный сухостой, что-то орал бессвязно. И бессильно упал у потухающего костра в изнеможении и слезах.

Наутро он нашел в вещах Марико шкатулку с обмазанной воском крышкой. В ней сиротливо лежал вчетверо сложенный листок шероховатой рисовой бумаги. Он торопливо развернул его и впился глазами в ровно написанные карандашом строки.

«Если со мной что случится. Тому, кто найдет это письмо, просьба передать его Быкову Егору Михеевичу, приискателю на Незаметном у реки Алдан.

Егор, здравствуй!

Я немного заблудилась в тайге и не успела к твоему отплытию всего на несколько часов. Это и побудило меня упросить Мартыныча за хорошую плату срубить мне небольшой плот, спешу и надеюсь тебя догнать. Ему я тоже оставила письмо, если я не найду тебя, потеряюсь в этих страшных местах, ты все равно попадешь к нему и будешь знать, что наш старик сгорел в своем доме. Шофер умер от сердечного приступа, а нужные бумаги в кожаном мешке у Мартыныча. Я люблю тебя, Егор! Если не догоню, через тунгусов буду искать Игнатия Парфенова, чтобы передать весточку и встретиться. Я тебя очень хочу видеть и поэтому ничего не боюсь. И еще, возможно, у нас с тобой будет великая радость, но я не хочу об этом писать, чтобы не спугнуть ее. Гложет сердце плохое предчувствие, поэтому пишу это письмо, словно завещание...

Твоя Маруся».

Егор понуро сидел у костра. Не хотелось никуда плыть, никуда стремиться. Только сейчас в полной мере осознал, как дорога ему была покоящаяся в ледяной воде хрупкая девушка. Она пожертвовала собой

с чистой верой в свою любовь, решилась даже вступить в поединок с коварным и жестоким Кацумато. Егор провел пальцем по лезвию топора, поднялся, выбрал подходящую лиственницу, срубил ее и вытесал из цельного ствола островерхий столб-часовенку, по русскому обычаю отмечающий место внезапной гибели человека. Врезал в него перекладину и выжег накаленным в костре ножом ряд каллиграфических букв, написанию которых его так терпеливо обучала Марико. Вкопал столб рядом с крестом братьев Фоминых... Стонущим криком вплелись в шум воды и ветра прочитанные им самим же слова отчаянья:

«Я буду помнить тебя, Марико!»

Потом опять сидел у огня и дивился той невероятной силе, что таилась в этой хрупкой женщине... Что за тайну она недописала в письме и унесла с собой? Что за великую радость она собиралась поведать, неужто... Неужто! Да нет... не может быть, чтобы она, забеременев, кинулась очертя голову за ним следом... но все же: что она хотела рассказать при встрече?

Он неторопливо перебирал в памяти ее привычки, пристрастия, жесты. Было так одиноко, так горько, так сложно оторваться от этого проклятого места и ступить на хлюпающий в волнах неугомонной реки паром. Даже солнце прикрылось траурным саваном облаков, даже ветер притих, и словно кто повторял эхом: «Марико... Марико... Марико...»

22

Медведь был голоден и худ. Он долго караулил, когда двуногое существо, сплывшее по реке перед самым заходом солнца, отдалится от страшного костра к прибрежным кустам и подойдет на расстояние прыжка. От огня доплывали соблазнительные запахи свежего мяса оленя, дразнили и наливали свирепой силой мышцы зверя. Затупившиеся к старости когти и клыки уже плохо выкапывали корни и норы бурундуков с запасами кедровых орехов, не хватало сноровки в дряхлеющем теле, чтобы настигнуть сокжоя. Близко шумел перекат, заглушая злобное ворчание и треск сухих веточек под тяжелыми лапами. И как только человек пошел на берег, собирая для костра дрова, медведь стремительно с устрашающим ревем бросился на пришлого.

У Егора застыла в жилах кровь от неожиданности, при виде летящего на него мохнатого привидения. Он даже не вспомнил о ружье, лежащем у костра. Доли секунды отведены были старателю его судьбой на раздумье. Скорее инстинктивно, благодаря урокам японца, он бросился навстречу с пронзительным криком и нанес страшный, сокрушающий удар ногой. Медведь осел на гальку, осатанело взревел и уже на четырех лапах метнулся к ускользающей добыче. Сердце Егора вдруг полоснуло болью — он услышал в себе остерегающий крик Марико и, рыча, сам кинулся в атаку. Зверь на мгновение застыл от жестокого удара и опять ткнулся в камни носом. Грабанул когтями воздух, где только что был человек, а тот и не думал отступать, порхал вокруг, как птица, жаля медведя болезненными ударами и оглушая остервенелыми воплями. Зверя впервые за долгую жизнь обуял панический страх. Он уже не нападал, а норовил прорваться в кусты и убежать, но человек не дозволял ему это сделать, мстил за подлое нападение, за гибель Марико.

Егор уже на плоту постепенно отходил от беспамятства схватки, удивляясь своей смелости. Величие духа человека — опять вспомнились слова Игнатия.

Впереди плота плясали гребешки волн. В их плеске слышался голос Марико. Чирки-уточки пролопочут в полете, и вздрогнет путник — чудится смех Марико. Ветер обдаст нежной зеленью берегов — так пахли волосы Марико... Затужился Егор: «Господи-и, не дай тронуться умом», — молил, глядя на хмурые скалы, что плутали вершинами меж занебесных царств, где витала душа Марико... И опять терзался...

Утренний туман над водой — в белом кимоно Марико...

На месте былых стоянок табора эвенков и Парфенова не было. Темные жерди от чума разметало зимним бураном, пустой лабаз чернел в ельнике гнездом дьявольской птицы. Егор обошел все кругом, перетаскал лишние вещи и провиант на лабаз и отпихнул шестом плот на стремнину. Он решил плыть на прииски в Незаметный.

В устье большой реки, впадающей в Тимптон с правого борта, Егор увидел четыре тунгусских приземистых чума и пасущихся рядом оленей. Пристал к берегу и, отмахиваясь от наседающих собак, пошел к дымам костров. На полянку высыпали остроглазые ребятишки, женщины что-то тревожно прокричали в тайгу. Оттуда легко выбежал молодой парень с берданкой в руках и остановился, поджидая. Егор подошел к нему.

— Здравствуйте!

— Оксе... Капсе, дагор, здравствуй,— уверенно обронил невысокий крепыш с простодушным скуластым лицом,— зёлото-могун ищи, тайга долго ходи, да? Иолог, да?

— Да, геолог...

Эвенк разулыбался и довольно цокнул языком, закинул берданку за плечо.

— Собсем наш лючи, советский! Гостем будешь, — протянул Быкову руку,— поп меня Васькой крестил, прорубь воду окунал. Васька Попов я, оленей пасу. Пошли к костру, однахо цай будем мыноко пить, говорить будем. Расскажи о паровоз-нарте, пароход я уже видал. Паровоз хочу видеть.

— А че о нем рассказывать, — улыбнулся Егор, — воняет угаром да пыхтит, как медведь сердитый. Паром шибает, словно полынья на реке в морозы, да по рельсам катит так быстро, как утки летят...

— Э-э... Олень лучше, однахо! Туда-сюда ходи шибко быстро, олень брод найдет — паровоз твой реке утонет, — рассмеялся Васька пренебрежительно, — куда поедешь на нем? Сколько железа даром пропадает! Лучше бы ножик делай, ружье делай...

— Васька, — прервал разговорчивого эвенка гость, — ты не встречал табор Степана? У него дочь еще, Лушкой звать. А с ними русский кочует, Игнатий...

— Однахо ярамарка зимой видал. Не знаю, где тропу сейчас ведут. Однахо где-то в тайге, где мох есть, зверь есть. Степка шибко хороший мужик.

— И русский с ними?

— Игнаска собсем эвенк, только борода шибко большой. Говорил, что пойдет жить на прииск Незаметный. Любит землю копать. Там мыноко-мыноко люди ходи: лючи, якуты, китайцы, однахо и эвенки есть. Вся тайга перекопал... шибко мыноко зёлото бери...

Егора окружили женщины и ребятишки, с интересом разглядывая огромного и большеносого лючи.

— А где же ваши мужики? — поинтересовался он.

— Поехали шаман зови. Жена моя помирай, родить не может. Собсем худо, — погрустнел Попов. Показал рукой на маленький шалашик из корья на закрайке поляны. — Давай спирт мало-мало. Будем язык олений кушать, мясо мыноко кушай, цай пей, трубка кури табак, новости говори...

— Мало у меня с собой этого добра, но чуток оделю, — Егор вер-

нулся к плоту, взял мешочек с бисером и стеклянными бусами. Вынул полбанчка спирта, много решил не давать, потому что лесные люди не знают меры в потреблении горькой воды и потом страшно мучаются с похмелья, это Егор помнил по Степану.

Вернулся к стойбищу. Собаки уже на него не лаяли, признали за своего и помахивали линялыми хвостами.

Разговор тянулся нескончаемой нитью. Егор вызнал, что по реке Алдан ходят маленькие пароходы с баржами. Попов рассказал о тропе, по ней можно будет выйти на прииск. Женщины хватили спиртику, закурили трубки, ровными кучками поделили меж собой драгоценный бисер для рукоделья. Несмотря на теплый вечер, все вырядились в расшитые кусочками цветного меха и бисером одежды, в легкие равдужные* уптайки. Встреча с человеком в тайге — большой праздник, роздых от обыденной колготни. Васька рассказывал об охоте и хвастался без удержу. Женщины осуждающе мотали головами и смеялись над ним. Попов пригласил Егора спать в чум, но Быков отказался и улегся на разостланных шкурах у костра.

Табор постепенно затихал. В свете огня мелькали летучие мыши. Бесшумно проплыла от леса лупоглазая сова и пропала за рекой во тьме. Тихо взвякивали колокольцы пасущихся на мари оленей. Егору не спалось. Он лежал под шкурой, смотрел на звезды до рези в глазах. Он любил небо. И боялся его... Боялся звезд, погружался в них и чувствовал их живыми, он испытывал смутный ужас от пространства до них, от их величественого знамения и бессмертия, он слышал их шепот, и вокруг него, на земле, звучал таинственный разговор: воды, ветра, леса и скал. Страх возникал от непостижимости всего этого таинства, первобытный страх маленького человека перед Природой. Но все же он любил небо...

Луна выползла, и вмиг замерцали скалы на другом берегу, легли от деревьев длинные тени, изморозью засверкала река. Ночные птицы вдруг разом смолкли. Может быть, они слышали, как выползали из своих зловонных нор вурдалаки и кикиморы для исполнения черных дел и неистовствовали в подлунных плясках. Над водой, свиваясь и распадаясь, проплывали старческие космы тумана. Сонно вскричал в чуме ребенок, следом раздался убаюкивающий говор разбуженной матери, собаки встрепенулись и опять уронили головы на лапы.

Егор в дреме видел плот, бившийся в зубьях порогов. Поверженный медведь почему-то ревел голосом Игнатия Парфенова, а что просил — не разобрать, кипели буруны, и в легком невесомом тумане над водой семенила стройная Марико. Она словно не заметила Егора, стоящего у реки, и унеслась беззвучно в промозглую темь, а следом, подпрыгивая, промчался старый японец с огромным блестящим мечом в руках... Быков вздрогнул и очнулся. Костер потухал. Он подложил дров, отхлебнул из котелка приторный теплый чай. Успокоенный, поудобнее устроился на теплой шкуре и затих...

23

Марико звала: «Игор, Игор, Игорко-о», он рванулся к ней и, разлепив веки глаз, дико уставился на склонившегося тунгуса.

— Игор! Мясо ходи кушай. Спишь, как амикан в берлоге. Улахан оюн** едет к нам. Вставай, он камлать будет над моей бабой и принесет сына! Эйнэ — шибко сильный шаман!

---

* Равдуга — замша из оленьей шкуры.
** Улахан оюн — большой шаман.

Егор услыхал людские голоса и увидел, как выбираются из леса несколько эвенков верхами на оленях. Впереди на большом пестром учаге восседал высокий и плотный старик с длинной седой косой. На его одежде позвякивало множество колокольчиков. Загнанно хрипели олени разинутыми ртами. Рассвет едва разгорался, но стойбище уже давно всполошилось. Бегали озабоченные женщины, испуганно жались к чумам ребятишки, только две ко всему безучастные старухи сидели у костра и покуривали трубки.

Эйнэ легко спрыгнул с оленя, тонкими голосами вскричали колокольцы. Егор поднялся и подошел к приехавшим. Шаман при виде русского встрепенулся, пристально и недружелюбно оглядел незнакомца с ног до головы. Тунгусы робко жались в кучку, шепотом переговаривались с Васькой Поповым, Егор первым нарушил напряженное молчание, поздоровался. Эвенки все благодушно ответили, закивали головами. А шаман неожиданно заговорил чистым и звонким голосом юноши:

— Куда тропу гонишь? Кто ты? От тебя исходит сила и мудрость много жившего человека... ты омрачен большим горем...

— Пробираюсь на прииск Незаметный, — ответил Егор и подивился, откуда шаман узнал про его тоску о Марико.

Эйнэ печально и гортанно вздохнул, скривился. Набил табаком трубку, присел рядом со старухами и уставился в огонь. Глаза его слезились, но шаман все напряженнее смотрел на пламя.

Егор с любопытством разглядывал чудаковатого старца. Сколько ему лет — определить было трудно: на темном скуластом лице выпирал необычайный для эвенков хрящеватый горбатый нос, глубокие морщины избороздили кожу. Под одеждой угадывался мощный торс. Узловатые крепкие кисти рук с желваками мышц, оплетенные сухожильями и венами, покоились на коленях. Поблескивали, мерцали глаза, словно впитывая в себя огонь костра. Спереди на меховом плаще нашито семь пластинок в виде уток-гагар из голубоватого железа, не тронутого ржавчиной. Низ плаща разрезан на тонкую бахрому, а сзади пришит роскошный конский хвост с вплетенными кожаными ремешками. К нему прицеплено множество железных и медных побрякушек и большой тусклый колокольчик из бронзы. Под рукой лежит бубен-тунгырь с колотушкой из берцовой кости медведя. Седую голову венчает богатая шапка-бергесе с коровьими рогами, сшитая из соболиных и росомашьих шкур.

Старик поднял отяжелевшие глаза от огня и медленно повернулся к Егору.

— Уходи, чужеземец! Тебе нельзя видеть камлание. Я буду говорить с духами. Ты мне мешаешь, уходи!

— Я хочу видеть, — Егор достал узелок с добытым на старых местах золотом и небрежно кинул его на бубен,— возьми подарок, только не прогоняй. Любопытно поглядеть.

Шаман лапнул по тунгырю, взвесил на ладони узелок, печально пропел:

— Могун — зло! Шибко плохо! Но так и быть, я дозволяю тебе видеть пляску самого могучего шамана Эйнэ! Ты будешь первым из чужих. Наши духи убьют тебя за это. Я даже буду шаманить по-русски, этому языку и даже письму я научился в якутском остроге, попав туда по воле попов и исправника. Я мешал им крестить в проруби таежных людей. Рожающей женщине и моему покровителю, великому духу Бордонкую все равно, на каком языке я камлаю, — он что-то отрывисто приказал эвенкам и опять уставился слезящимися глазами на пламя. Узелка с золотом уже не было на бубне.

Эвенки закололи пятнистого оленя, на котором приехал старик. Шкуру, голову и ноги подвесили на помосте из жердей — лакору-моду, потом принесли из маленького шалаша с окраины поляны стонущую роженицу. Егор увидел ее пепельно-серое лицо, воспаленные, крово-

чащие губы. Молодая женщина чем-то неуловимо походила на Марико. Она уже ничего не видела и не осознавала, взблескивала белками закатившихся от страданий глаз.

Один из приехавших нагрел бубен над огнем. Олений желудок, которым он был обтянут, высох и натянулся до звона. Шаман положил на него пальцы с грязными отросшими ногтями. Мужчины расселись вокруг костра, молча и трепетно поглядывая на колдуна. Эйнэ не спеша развязал косу, распустив по плечам космы седых волос, намазал щеки черной золой, шепча заклинания. И стал страшен, как сатана...

Камлать он начал сидя. Легонько ударял в бубен колотушкой, тихо всхлипывая и рыдая. Рот безобразно исказился, открылись гнилые зубы, глазные яблоки вылезли из трахомных красных век. Потом он закричал чайкой, застонал филином... Подражал Эйнэ настолько искусно, что Егор поначалу оглянулся и поискал над рекой белокрылых птиц. За песней глухаря последовало злобное рычание медведя, визг росомахи, трубные клики сохатых, журавлиное курлыканье и плач лебедей... Заверещал раненый заяц, засвистели зверьки-каменушки, загудела лютая метель, обдав всех сидящих знобящим холодом...

Под постепенно усиливающийся рокот бубна шаман стал подпрыгивать, сидя на шкуре, истерично призывал духов на беседу, что-то скороговоркой неразборчиво забормотал, выпуская на подбородок розовую вязкую слюну. Лицо его страшно кривилось, он все выше привскакивал на полусогнутых ногах и все неистовее молотил колотушкой в гулкий тунгырь, упрашивая родичей великого духа Бордонкуя отозваться, громко рассказывал о них, о том, как они живут и враждуют между собой, как женятся и рожают детей и умирают, подобно людям, от дряхлой старости. Обсказывал их богатые пиршества, удачные охоты на зверей. Потом вдруг истошным голосом объявил, что пришел Великий Дух и ждет подарков. Тунгусы кинули пачку табаку и новую сатиновую рубаху, расшитые бисером торбаса. Шаман одним махом разорвал рубаху в клочья и завопил: «Мало! Мало! Худой подарок!» Тогда ему бросили связки пушнины. Егор, видя, что дарить уже нечего, вынул из-за пазухи шелковую косоворотку, приготовленную для Василия. Эйнэ подхватил ее на лету и успокоил: «Большой подарок, хорошо, хорошо!» Вскочил и начал прыгать вокруг костра, вскидывая попеременно над головой то бубен, то колотушку, пугливо озираясь. Люди тоже стали крутить головами. А шаман уже со всей силы молотил себя по лицу и животу колотушкой. И затем выбил бешеную дробь на тунгыре. Доведя себя до изнеможения, рухнул на землю без чувств. Тунгусы как один выхватили из ножен узкие ножи, скрестили их меж собой, как сабли, торопливо застучали, заскрежетали ими друг о друга, потом стали бросать в огонь разную всячину для ублажения духов. Первым полетел в костер пестрый кусок оленьей шкуры, ярко вспыхнул, обдав сидящих чадным смрадом, и шаман опять взвился в воздух, вновь закружился в неистовой пляске, роняя временами на землю колотушку. Ее мгновенно поднимали и подавали ему.

Эйнэ бесновался. Выхватил из огня ружейный шомпол, отбросил бубен и стал жечь себя раскаленным железом, жутко и радостно вопя, сунул конец шомпола в рот, запахло жареным мясом. Мужчины, взявшись за руки, раскачивались в такт песне Эйнэ и дружно подхватывали ее. Васька Попов испуганно, беспрестанно кричал тонким заячьим голосом: «Оконко! Оконко!»*

Шаман принялся еще больше истязать себя, бил по животу и бокам горящей головней, повелел связать себя и, спеленатый туго, все еще дергался и хрипел. В таком оцепенении пробыл недолго, диким

* Оконко — истина, правда (эвенкийск.).

усилием порвал ремни, опять вскочил и возвестил, что душа его была в жилище Великого Духа. Разнесся его леденящий кровь вопль: «Ха-хай!» Эйнэ закричал, что когда он летел над огненным озером у восхода солнца, то видел, как глупыми куропатками носились в воздухе души умерших грешников, их соколами ловили злые духи и кидали с размаху в черную пропасть нижнего мира, оттуда доплывали громы, мелькали синие молнии. Он разговаривал с луной и солнцем, просил поименно звезды не насылать мор на тайгу. Стал радостно вещать, что видит жилище Великого Духа в буреломных лесах из железа, там текут реки из молока, по ним льдинами плывут куски масла и жира, возвышаются острова из нежного мяса, вместо камней торчат хрящи и кости. На медных берегах сидят малые шаманы, на серебряных — более могущественные, а на золотом берегу живет Улахан оюн... Помолчал и вдруг неожиданно заключил, что Бордонкуй сдох там от обжорства, выпив все реки и съев острова, а его, Эйнэ, оставил взамен себя править миром. Трезвон колокольчиков и стенания шамана вселили первобытный ужас даже в Егора, не говоря уже о тунгусах, упавших ниц и рыдающих детьми. Камлание закончилось волчьим подвыванием. Олени шарахнулись в страхе с поляны, всполошились в чумах ребятишки, женщины забились в истерике: рвали на себе волосы и царапали лица...

Эйнэ пал на колени и стал предсказывать будущее. Он кидал вверх колотушку, и ежели она падала наклеенной кожей вверх, то желание спрашивающего должно обязательно сбыться. Егор спросил о себе. Шаман помолчал и нехотя начал говорить, что скоро путник увидит много зверей в обличье людском и много людей с сердцами зверей, что будет ему трудно разобраться в них. И еще сказал, что Егор неожиданно встретит через двадцать зим очень близкого человека, но вместо радости его охватит скорбь.

— Так, значит, я двадцать лет еще проживу, — улыбнулся Быков.

— Ты умрешь в глубокой старости, — уверенно проговорил Эйнэ, — я мог бы сказать день и час твоей кончины, но тогда ты будешь мучиться в страхе, ожидая этот срок.

— Поглядим, жаль, что я не смогу через столько лет тебя найти и раскаяться перед тобой в своем неверии или обличить тебя в брехне.

— Почему? Я не собираюсь умирать и переживу тебя... тропы наши еще не раз пересекутся, это я тоже знаю...

Егор шутливо кивнул и поднялся. Вскоре началось пиршество. От жертвенного оленя шаману отделили самые лакомые куски: глаза, язык, печень, мозги. По окончании трапезы старухи увели Эйнэ под руки в только что установленный чум.

В это время Егор вспомнил о роженице. Было заметно, что камлание не принесло ей облегчения. Печальный Васька унес жену в шалашик из корья. Егор понял, что она обречена. Решение пришло исподволь. Он сходил к плоту и достал спирт. Эвенки радостно набросились на угощение, а к вечеру все уснули. Егор вымыл руки оставшимся спиртом, крадучись, обошел поляну стороной. Смеркалось. Оглядываясь, Быков выбрался из кустов к балагану из корья. Наклонился и вполз на коленях вовнутрь. Лоб роженицы был горяч и мокр от пота, тело ее безвольно поддавалось массажу, которому научила Егора Марико. Он легким движением гладил упругий живот эвенкийки. Роженица стала выгибаться и стонать, взблескивая в полутьме белыми зубами. Рядом с нею лежал ворох заячьих и пыжиковых шкурок. Егор вытирал об них липкие и влажные руки. И наконец он нащупал головку ребенка, помогая ему в первом аргише. Пуповину перевязал материнской прядью, уже не владея собой от смятения и страха... Ребенок пискнул, вздохом облегчения отозвалась мать и что-то клекотно про-

хрипела. Егор наспех обтер шкурами Васькиного наследника и вздрогнул, почувствовав спиной взгляд человека.

Эйнэ стоял у балагана с ножом в руке.

— Уходи, чужеземец! Ты помог и теперь уходи... Пусть все думают, что помог Эйнэ. Мне уже двести двадцать зим миновало, но вижу в первый раз, что мужчина участвует в родах. Ты осквернил себя, уходи...

Егор настороженно покосился на шамана, приготовившись выбить нож. Положил к матери ребенка и отчаянно проговорил:

— Все твои камланья — сплошной обман! Этим людям нужны врачи, а не шаманы.

— Человек должен во что-то верить, — неопределенно ответил Эйнэ. — Человек должен чего-то бояться...

— Ты лжешь! Человек сам себе шаман и бог! Она бы умерла, если бы не я. Смешно было слушать, как твои духи обжираются и любят податливых жен. Это придуманная блажь, мечта, сладкое забвение от тяжелого труда, лишений и горя. Ты обещал мне долгую жизнь, а сам держишь в руке нож, чтобы прервать ее, — Егор резко бросился к шаману и легонько ударил ногой по запястью. Нож улетел в кусты.

— Я сразу в тебе увидел великую силу, — невозмутимо проговорил старик, потер ушибленную руку и примиряюще заключил: — Вы, лючи, несете моему народу зло. Уходи! Еще триста лет назад мой отец, великий шаман, возвестил о приходе попов, их еще не было, а он предсказал, где будут выстроены церкви. Они стоят именно там... духи наши сердятся. Уходи, или я убью тебя. Если мой народ потеряет веру в богов, он изленится и умрет.

Егор, не оглядываясь, пошел к костру. Растолкал Ваську, велел ему разбудить старух и идти к балагану помочь жене. А сам отплыл по реке навстречу судьбе, предсказанной Эйнэ. Он проговорил сокрушенно: «Вот брехло! Двести двадцать лет живет! Как он их окрутил, злой колдун!..».

Но Эйнэ был жесток и знал, как отвратить от русского тунгусов. Пока никого не было у шалаша, он набросил полу мехового плаща на лицо женщины и задушил ее. Потом, позвякивая колокольчиками, понесся по стойбищу, истошно крича: «Убейте чужеземца! Он осквернил наш род и отправил женщину к предкам. Убейте его!»

Егор услышал выстрел, пуля вспорола вьюк рядом с ним. По берегу мчался Васька Попов и стрелял. Только темнота спасла Быкова.

24

Весть об открытии золота в Алданской тайге, на ключе Незаметном, скоро разнесли по свету, и толпы людей кинулись барышевать в неведомый край. Слухи обрастали небылицами и доходили — один приманчивей другого: «Там мох дерут и золото берут... там бога молят и пуды моют».

В беспамятстве фарта, бросая работу, жен и родные места, сдвинулись приискатели с Амура и Бодайбо, Урала и Забайкалья, крестьяне и служащие, рабочие мастерских, машинисты паровозов, через границу — тысячи восточников, уголовные бандиты из теплых малин и карточные шулера, скрывающиеся под чужими документами белые офицеры, разоренные новой властью богатеи, с ними в общей толпе шли бок о бок бывшие красноармейцы и партизаны, с мандатами в карманах и верой в беспредельность мировой революции.

Доселе живший в благочестии и молитвах якутского монастыря, монах Епифан отбросил докуку церковного писания и, прямо в монашеской справе, ударился в греховодные дела. Огромный и рукастый, с распатланной бородой и гривой седеющих волос, он вышагивал в колонне старателей на далекий прииск, весело скалясь над шутками о

своем смиренном прошлом, поправляя рогульки с грузом за могучими плечами.

С юга и севера, от Охотска и Лены, корячились по горам и буреломам, ползли через непроходимые болота добытные мужики в харчистые места. Шли, не ведая куда, без дорог и троп, мерзли и мерли от голода, многие возвращались с полпути, проклиная немыслимые лишения в дикой тайге. К прииску добирались самые сильные, измытаренные в пути, с горящими от радости глазами, иные на карачках лезли в жутковейных лохмотьях с распухшими и изъязвленными гнусом лицами.

Золото было открыто весной, а к исходу все того же двадцать третьего года на прииск стеклось около тысячи душ, к концу двадцать четвертого работало четыре тысячи, а в двадцать пятом ожидался наплыв более десяти тысяч человек.

Вольдемар Бергин, доложив якутскому правительству об открытии его артелью промышленных россыпей золота, был назначен уполномоченным «Наркомторгпрома» на прииск Незаметный. Бергин должен был организовать дальнейшую разведку нового золотоносного района, снабжать старателей продуктами питания, скупать золото и контролировать правильное ведение его добычи. Он открыл золотоскупку в бараке-конторе и взялся за новое для него дело.

А из тайги выходили к прииску все новые и новые артели старателей, ладили ситцевые палатки, рубили бараки из неошкуренных бревен, рыли на склонах сопок землянки. Стихия людская пожаром бушевала вокруг и создавала неимоверные трудности в управлении прииском. Кипела самая настоящая золотая лихорадка. Чего уж там греха таить, зудилась душа у каждого мечтою — разбогатеть, нагрести в сидор дармового золотья и прокормиться в голодные и смутные годы после завершения гражданской войны. Превозмогая все лишения и беды, тащились пешие за многие сотни верст, благостно представляя в думах золотые горы, обрисованные людской молвой. А после уж... беспечные годы сытости... справные тройки выездных лошадей... дома-хоромины... да и мало ли чего приблазнится человеку в ожидании счастья, дара небесного...

В помощниках у Бергина — состоятельный и прижимистый мужичок Кузьма Федорович. Он был в одном лице и бухгалтер, и золотоприемщик, и охранник, работал не покладая рук, скупленное золото прятал в самом надежном месте — у себя под подушкой. Ни горного надзора, ни милиции на прииске еще не было, добыча велась стихийно, без всякого присмотра. Никто не проверял документы у пришлых и не интересовался соцпроисхождением. Недавние классовые враги махали кайлами и лопатами бок о бок.

Золото лежало неглубоко, в иных местах даже на поверхности, подо мхом. Артелька в пять-шесть человек намывала за день до четырех-пяти фунтов... А попадалось совсем бешеное по содержанию золото в россыпи — та же артелька брала за световой день до двадцати фунтов. Полпуда...

Бергин нарезал делянки каждой артели, замотался с работой и от избытка людей. Помощи ждать неоткуда и долго, ширь такая от этого забытого богом угла, что даже до Якутска не доскачешься и не доплачешься. Надо было что-то решать самому, решать немедленно. Даже там, в «эшелоне смерти», Бергину не было так трудно, так безысходно. Дорог нет, завезти провиант для прииска невозможно. Спекулянты, предвкушавшие поживу, гнали со всех концов вьючных лошадей и оленей. Соль выменивали на золотой песок стакан на стакан, головка чеснока — вес на вес, табак тоже. Расчет шел на «штуки» — золотники. Кайло стоит сорок золотников, лопата — столько же, пуд мяса двадцать пять золотников, цена на масло вовсе взвинчена баснословно. Уплывало в частные руки золото, найденное и добытое неимоверным трудом. Рыжебородый карточный шулер Майборода

за одну ночь снял банк более двух пудов золотого песка, сбежал с тридцатью фунтами, а остальное проиграл еще более ушлому уголовнику. Как на дрожжах пухли и открывались частные ювелирные мастерские, там отливались кольца, брошки, серьги и цепи, даже пуговицы на одежду наиболее франтоватых заказчиков.

Из далекой Зеи бывшая содержательница дома терпимости по кличке Всемирная Теща, Добродушиха, притащила дюжину проституток, а их уже и так налетело, как мух на махан. Со своим дружком Добродушиха купила барак, и вечерами поднимался на длинном шесте красный фонарь. Ее подопечные «хитрушки» весело принимали гостей в очередь, поили бражкой, настоянной на табачных листьях. Одурманенных и обчищенных старателей едва успевали разносить на одеялах по кустам. Отрезвившись, не помня где и были, мужики со вздохом лезли по ямным выработкам, остервенело кайлили породу, чтобы вечером опять спустить все золото за здорово живешь. Спиртоносы срывали бешеные барыши... Хитрушки через месяц ходили обвешанные золотом с ног до головы, в серьгах и монистах из самородочков, на каждый палец обеих рук напяливали по три кольца.

Монах Епифан тоже ударился в коммерцию. На берегу реки наскоро срубил баню шесть на шесть аршин, топил ее по-черному. В субботние дни собиралась перед дверью очередь более двухсот человек. Залезали партиями по двадцать душ в тесное закопченное нутро. Кое-как обливались водой из деревянных долбушек, больше вымазываясь сажей, нежели отмываясь. За баню плата в полузолотника, за веник столько же, бутылка хлебного кваса еще половина «штуки». Мытье обходилось в шесть граммов золота. Епифан взвешивал песок на самодельных весах и пользовался не гирьками, а свинцовыми пульками. Неведомо было, сколько они весили. Скопил монах полпуда золота, зарыл его где-то в укромном месте и в суете дней запамятовал, где его ухоронил. Располосовал ямами всю сопку, повыворотил коряги и сухостоины — сошел с ума. Шлялся по прииску медведем-шатуном, каждого встречного жалобно умолял вернуть ему богатство, пока вовсе не пропал где-то в тайге.

На пути с Верхне-Тимптонских приисков до Незаметного пали более двух тысяч лошадей от бескормицы и непосильной гоньбы. Только на Катыминской мари воронье и звери оголили сотни их скелетов. Костей старателей никто не считал. А цены на продукты становились все более дикими...

Среди пришлых оказались знаменитые актеры императорских театров, другие образованные люди, говорящие на многих иностранных языках, бежали сюда из тюрем аферисты первой руки, и никто из них особо не стремился в забой, а искал случая поживиться на дармовщинку.

В каждой артельке по старинному укладу была «мамка», жена кого-то из рабочих. Особо наряжаться и баловаться им было некогда, занимались стряпней, шитвом и стиркой. Но, глядя на расторопных и охотных хитрушек, их легкую жизнь и заработок, некоторые мамки тоже бросились в шинкарство и блуд.

Бергин сумел убедить якутское правительство отправить продовольствие по реке Алдан. Она считалась несудоходной из-за частых порогов и неизвестного фарватера. Опытный капитан, многие годы плавающий по Лене и ее притокам, на стареньком мелкосидящем пароходе «Соболь» пробился к Укулану с одиннадцатью тысячами пудов провианта.

А в это время назрел небывалый кризис с продовольствием на прииске. Спекулянты обнаглели до того, что весь дневной заработок старателей уплывал в их ненасытные торбы.

Людская стихия... Необузданная, яростная, живущая по законам беспутного фарта. Как оглашенные, старатели пускались в дикий разгул, кромсали железом холодную землю и в пьяных драках друг дру-

га, пухли от голода и цинги... Сказочно наживались на них разворотливые стяжатели, на их бедах, отчаянье, азарте... Мужья становились сводниками, льстецы и приспособленцы оголтело рвались к наживе и власти, кружась в смерче страстей и фантастической удали.

Вольдемар Бергин в бессонном надрыве старался навести порядок на прииске. Сплачивал вокруг себя большевиков и старых партизан, наиболее сознательную массу. Организовывал доставку продовольствия из ближайших якутских наслегов *. Якуты везли мясо, рыбу, мороженых зайцев и мороженое молоко, ягоду, фураж, гнали на убой скот.

Все старатели платили с дневной добычи «положение» — эти двадцать процентов они были обязаны сдать государству бесплатно. Скупленное и собранное налогом золото уже не помещалось под подушкой Кузьмы, и был открыт банк. Обычный, рубленый на скорую руку домик, раскатать который можно было голыми руками, но в нем хранилось более тридцати пудов золота. Фельдъегерской службы еще не было, и Бергин не решался отправить транспорт с металлом без надежной охраны. Хаос и своеволие старателей взялась укрощать горная милиция, организованная тут же. Заместитель начальника милиции Доценко сам подговорил дюжину молодцов и подготовил коварный план ограбления банка. Внизу по реке уже стояли завьюченные харчем олени, заговорщики ждали только вечера, чтобы грабануть банк и рвануть через границу в Маньчжурию. Невероятное совпадение порушило этот подлый расчет. В этот же день из Якутска наконец пришел дивизион ГПУ под командой Горячева. Он увидел огромную толпу старателей, требующих отдать им под вольную разработку вновь открытый ключ Золотой, они буйствовали и пугали начальство прииска самосудом. Горячев мигом навел порядок, убедил людей разойтись на работу и с ходу арестовал Доценко с дружками.

На прииске открывались китайские харчевни и лавочки, в одной из них, как скоро выяснили люди Горячева, бойко торговал полковник белокитайской армии под чужой фамилией, прижились у золота резиденты японской и прочих разведок.

Только на прииск Золотой сбежалось люду около сорока национальностей, включая итальянцев, американцев, французов и других редкостных пришельцев. Добирались сюда приискатели с Аляски, с китобойного судна бежала в Охотске команда гвинейских негров, они пришли в Незаметный через тайгу за сотни верст, в лютых для них холодах мыли золото, попутно обучая новых друзей английскому боксу.

Хватало с такой разношерстной публикой работы для ГПУ и для вновь открытого «ЯГзолототреста».

Вокруг Незаметного вольными разведчиками открывались новые и новые золотоносные ручьи. Ходили невероятные легенды и слухи, люди бросали свои делянки с хорошим содержанием, вылупив глаза бежали с котомками по тайге в надежде на еще большую удачу. Корейская артель на одном из ключей намыла по пуду на душу, ползали в ямах, не прекращая добычу, с этими пудами в сидорах, не доверяя богатства ни укромным местам, ни сотоварищам.

Хорошая пожива ожидалась хунхузам за Яблоновым хребтом и на границе. Их люди уже бродили здесь спиртоносами, навязывались в проводники артелькам на пути домой и выводили их точно под дула винтовок. Жарко горели меж бревен тела «лебедей» и «косачей», обрушивался из сгоревшей одежды золотой песок. Еще горячим его сгребали с шипящими угольями бандиты и, радуясь удаче, отмывали в светлых ручьях. Только эти угли и доплывали к берегам далекой китайщины, да наиболее везучие доходили в свои нищие провинции с тяжелым и горьким богатством, чтобы на следующий год опять уйти и не вернуться.

---

* Наслег — село.

Девяносто пять процентов восточников заходили из Шаньдунской провинции, остальные пять процентов из Хэнаньской и Хубэй. Гнала их нужда в эти лишения. Шаньдун был политически и экономически самым отсталым районом в Китае, там бытовали еще феодальные отношения и не было промышленности. Бежали люди и от призыва в наемные армии белокитайских генералов. Именно в этой провинции для борьбы с порабощением были созданы первые революционные отряды «красных пик».

На приисках среди восточников процветало опиумокурение.

...Золотая тропа... Усеянная горем и костьми, обросшая несбывшимися надеждами, сокрытая мутной тайной коммерции. Многие из старшинок были кадровыми офицерами разведок, и вынесенное из Советской России золото шло для борьбы с нею же. По тайге еще вольно бродили остатки белых банд, еще копили бешеную злобу якутские богатеи-тойоны, препятствуя снабжению приисков харчем, еще камлали изуверы-шаманы, пугая забитых тунгусов карами злых духов, еще лилась и лилась кровь.

Какие же нужны были силы, чтобы остановить расхищение валюты, до зарезу нужной Советской России!

И они появились и начали сплачиваться вокруг немногих партийцев и комсомольцев, оказавшихся волею судеб на приисках. Шестнадцать замызганных в забоях грязью старателей собрались на Орочене в маленькой избенке. Чадно горела коптилка. Октябрьский ветер буранил за маленьким оконцем, завешенным куском дерюжного мешка. Председателем собрания выбрали партийца Смирнова, секретарем — комсомольца Бакшаева. Он корявым почерком стал выводить карандашом на разлинованном желтом листке:

ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания ячейки Российского Коммунистического Союза Молодежи Ороченской группы приисков.

Присутствовало: членов РКСМ — 2, кандидатов — 3, партийцев — 4, беспартийных — 7 человек.

Вопросы дня:

1. Доклад: «Что такое комсомол», докладчик от партии товарищ Хвалюк.

2. Выборы бюро ячейки.

3. О назначении дня очередных общих собраний ячейки.

Собрание заканчивается пением международного гимна «Интернационал».

Всего через неделю идет уже третье собрание в захудалой избенке, посвященное переименованию Российского КСМ в Российский Ленинский КСМ. Присутствует уже: членов — 3, кандидатов — 4, партийцев — 11, беспартийных — 32.

Собрание открылось пением «Молодой гвардии» и избранием президиума. Слово предоставляется от ячейки РКП(б) товарищу Хвалюку.

Из тесноты и табачного дыма поднялся крепкий старатель, отбросил рукой пряди волос со лба, торжественно и глухо выговорил:

— Товарищи! От ячейки РКП(б) поздравляю РКСМ с принятием на себя имени Великого Учителя и Вождя мирового пролетариата товарища Ленина, — присутствующие бурно захлопали в ладони, — почтим память Великого Вождя и Учителя Владимира Ильича Ленина вставанием, — все поднялись единым порывом, потупив головы в минутном молчании. Хвалюк шевельнулся первым и хрипло продолжил: — Товарищи! Владимир Ленин слишком рано ушел от нас, он не может теперь руководить нами и сделать нам указания на наши ошибки. Смерть взяла его от нас, взяла та, которая не возвращает то, что берет, но-о... — Хвалюк густо налил голос силой, — но остались великие заветы Мирового Вождя пролетариев, которые мы должны выполнять и провести в жизнь. Это наша первая задача, первая необходимость во всей нашей работе. И выполнение этой задачи падает в первую голову на комсомол — отныне Ленинский. Партия надеется —

комсомольцы с честью будут исполнять эту задачу, как исполняли десятки других задач.

Товарищи! Партия надеется, что комсомол, принявший имя великого Учителя и Вождя Ленина, с честью понесет это название в глубину веков.

Да здравствует Ленинский комсомол! Вечная память незабываемому нашему Учителю! — Хвалюк махнул рукой и запел:

Вста-ава-а-ай, проклятьем заклейме-е-енный,
Весь ми-ир голодных и рабо-о-ов...

И уже десятки простуженных глоток рявкнули вслед за ним.

От двери протиснулся через толпу молодой парень. Когда пение закончилось, он положил на стол заявление.

— Я прошу вас, товарищи, родимые, не отпихивать меня. Так любо мне было слухать все, хочу с этого радостного дня быть с вами совместно.

— Расскажи о себе, — попросил Бакшаев.

— Че рассказывать-то. Костя Вольнов, русский, родился в девятьсот седьмом году, закончил одно отделение сельской школы, батрак. Подался в эти края от нужды, после смерти родителей.

— Ладно, — склонился над бумагами Бакшаев, — хоть и не было у нас в повестке дня пункта о приеме новых членов, будем принимать, — он загрубелой в забоях рукой начал писать:

1. Вольнов Константин Матвеевич, русский, родился в 1907 году, батрак. Принят как батрак членом РЛКСМ единогласно.

2. Кречетов Виктор Иванович, русский, 1905 года рождения, окончил три класса реального училища, служащий. Принять как служащего с годичным испытательным стажем.

3. Терентьева Варвара Игнатьевна, 1908 года рождения, безграмотная, происхождением из крестьян Амурской губернии, Свободненского уезда, мамка артели. Принята единогласно членом РЛКСМ.

А на стол ложились все новые заявления...

25

Николка Торкунов наслушался вернувшихся из далекой алданской тайги приискателей и решился бежать из дому. В свои неполные семнадцать лет он был невысок ростом, худ, черноволос и неутомим в драках. Жил с семьей на Зее. Его отец, заядлый старатель, где-то промышлял полное лето, а зиму гульбанил. Мать упорно противилась сборам сына, боясь, что тот пропадет в неведомых краях по молодости лет. И все же Николка прибился к артельке старого отцовского приятеля — копача Мотовилова. Вышла она поздно, на исходе лета. Ефим Мотовилов поначалу гнал Торкунова домой, но Николка тащился следом и слезно молил приспособить его к приискательству. Ефим, на своем веку многое повидав, уважал настырных и неустрашимых людей. И стал Николка десятым членом артели.

К Тимптону вышли к вечеру. У небольшого поселочка Нагорный тревожно гудела огромная толпа народу. На другой стороне реки цепью стояли красноармейцы с винтовками и отомкнутыми штыками. Их командир переплыл на пароме реку и спрыгнул на берег, оправляя складки гимнастерки под ремнем. Артелька Мотовилова оказалась у самой воды. Командир забрался на валун и выстрелил в воздух из маузера.

— Я Горячев! — сипло пророкотал он сорванным голосом, — прибыл сюда для удержания неорганизованных масс, идущих на прииски. Товарищи! В Незаметном нет провианта, уже сейчас едят конину и даже скотские кишки. Если вы не вернетесь по домам, то передохне-

те зимой от повального голода. Лимит продуктов строго ограничен, так что поворачивайте оглобли и дуйте обратным ходом!

— Ты кто такой?! — послышались голоса. — Ты нам не указ! Пропущай подобру, не то плохо будет!

Лицо Горячева исказилось квелой усмешкой, жестко блеснули глаза.

— Я командир Окружного отдела ГПУ, пугать меня не надо, я выполняю приказ. На случай самовольства у меня наготове пулеметы. Вам же добра желаю!

— Ах ты, сволочь, пулеметами нас пужать удумал! — загорланил какой-то дюжий старик. — Измена! Бей его, ребятки, он подосланный!

Люди колыхнулись к валуну, но тут над их головами прозудели пули, заквохтал с другого берега пулемет. Народ разом отхлынул.

— Дурачье! — опять рявкнул Горячев. — Если обманом пробьетесь, я вас возверну под конвоем. Сказано, жрать нечего, набежали тыщи людей, а дорог для снабжения нету. Спекулянская сволочь набивает торока государственным золотом. Немедля разойдитесь, и чтобы утречком ни одного тут не было. Когда назреет нужда и будет пропитание, милости просим подсоблять в добыче валюты. Все! Разговор окончен! — Он соскочил с валуна и ступил на паром. Захлюпали шесты, вода отделила чекиста от притихшей в растерянности толпы.

Мужики долго митинговали, сорвали глотки до хрипа, но ничего не поделаешь, пришлось ставить палатки и ночевать. Ефим Мотовилов утром предложил обойти заставу кружным путем, мол, коль дотащимся до прииска, оттуда уж не прогонят. Только двое отказались, а к артельке еще присоединилось человек тридцать. Как только перевалили через склон сопки, то двинулись к далеким гольцам Станового хребта. Переночевали на старом прииске, и там выяснилось, что никто из приставших к артельке людей не знает дороги к Незаметному. Решили положиться на везение и попутную реку. Сначала шли вдоль ее берега, потом оторвались от воды и вступили в тайгу.

Вскоре ударили ранние заморозки. Исхудавшие от бескормицы и тяжелого пути через болота, стали падать одна за другой лошади. Да и люди уже притомились, не слышно стало у костра веселых разговоров по вечерам, переливов гармони, которую упорно волок один разудалый парень в расползшихся яловых сапогах. Последнюю лошадь догадались прирезать, мясо переварили в котелках и разобрали по сидорам. Тайга становилась все более мрачной: только звериные тропы вились в гущине непролазных стлаников. Семеро артельщиков Мотовилова держались кучно, полагаясь на опыт своего старшинки. На ночевках старатели питались уже одной заварухой — болтушкой из муки и сухарей. Как на грех, никто не взял с собой ружья. Один раз выперли откуда-то дикие олени, люди только проводили их недобрыми взглядами.

Однажды налетел ледяной злобы буран. Зима вступила в свои права. Старатели жались к кострам, в палатке без печки спать ознобисто. Ночью то на одном, то на другом загоралась одежда от искр, ее тушили и опять тянули руки к огню. Поутру вставали и плелись неведомо куда по глубокому снегу, а его подваливало все больше и больше. Передовые быстро уставали, натаптывая тропу, их молча обходили другие и шли дальше.

Начались раздоры на биваках. Один здоровый, кривой на правый глаз мужик, с исклеванным оспой лицом, по прозвищу Шилом Бритый, сплотил вокруг себя людей и потребовал немедленно судить Мотовилова, увлекшего их всех на погибель. Ефим здорово струхнул, но старшинку отстояли его верные артельщики.

Колька совсем изнемог в пути, он с трудом переставлял натертые до кровяных мозолей ноги в мокрых ичигах. На одной из ночевок их у него украли, а когда Торкунов обнаружил пропажу, то увидел, что прихвостни Шилом Бритого таскают из котелков ломти сыромятины,

закусывая их мхом. Ефим отдал парню свои запасные олочи и тайно осведомил членов артельки, что надо уходить от рябого, ибо хорошо знал, до чего можно додуматься, когда все ичиги будут съедены. Но уйти не успели, созрел и разгорелся бунт. Шилом Бритый с подручными тихонько подкрался ночью к спящим и удавил кушаком Ефима. Промозглым рассветом, вращая красным от дыма глазом, рябой верзила истерично орал и проклинал старика. У него клекотно булькала в горле простуда, его шатало, да и остальные еле передвигались. Трое вовсе не пошли от костров, не смогли подняться.

Новый атаман повел людей совсем в другую сторону. Шли за ним недружно, садились в снег, обливаясь холодным потом, некоторые блажили в бабьем рыде, прощаясь с белым светом и проклиная судьбу. С каждым днем цепочка людей таяла, и настало такое время, когда все для них потеряло смысл. Отупляющее безразличие парализовало лица. Мужиков кружило, кидало в снег. На нем было мягко, тепло. Сами слипались глаза. Рябой вывел к берегу какой-то замерзшей речки всего пятнадцать человек, худющих до черноты, в прогоревшей до тел одежде, с обмороженными руками и ногами. Кое-как доходяги натаскали дров и сделали общий балаган из лапника.

Колька в непосильной усталости хлебал из котелка пустой кипяток, жевал мох и уже ничего не страшился. Какая-то неведомая сила еще поддерживала его.

Рябой неожиданно поднялся от костра и, вприщур оглядывая всех, проговорил:

— Один выход, братки, жребий тянуть надо. А так мы все тут утром не встанем.

Колька судорожно сглотнул комок мха и прошептал: «Нет, нет... только не это...» Но шапка с бумажками уже ползла по кругу, многие еще не понимали, что к чему, машинально совали руку, раскатывали трубочку и жадно раглядывали листок. Крестик выпал белобрысому парню. Колька оставшуюся бумажку брать не стал. Тогда рябой обратился к вытащившему крестик:

— Ты, белесый, проиграл жизнь свою.

— Как так? — недоуменно прохрипел тот и посилился подняться. Он только сейчас стал понимать, в чем заключается смысл этой жуткой игры: — Я, я не согласный... у меня невеста на Иртыше... Я должен вернуться, — он натужно засмеялся, ища сочувствия.

— А тебя никто не спрашивает, — вытер глаз рябой и, неожиданно для всех, хлестко ударил парня обухом топора в лоб.

Дикий, замораживающий душу крик, захлебнувшийся в хрипе, вскинул всех на ноги. Вытирая топорик о снег, рябой опять хохотнул.

— Готов... Это поперва страшно, а потом забудется, — он схватил за руки парня и поволок его за выворотень. Достал нож.

Вдруг качнулся один пожилой мужик городского обличья, порылся у себя за пазухой обмороженной рукой и вынул маленький браунинг. Шагнул следом за рябым, выпустил в согнутую спину всю обойму, обернулся, ощеряя черные зубы, и прохрипел:

— П-падаль! Немедля собрать всю волю в кулак, мы обязательно выйдем. Варить хвою стланика... мы выйдем! — Он пошатнулся и упал с плачем на колени рядом с Колькой. — Кк-какой подонок! Ведь я сначала не понял, для чего эти бумажки, думал, канаемся, кому дежурить ночью у костра. А эта сволочь хотел кормить нас женихом с Иртыша... мразь! — Он выгнулся дугой, зарыдал в истерике, обгрызая губы.

Медленно кружили снежинки меж елей, черных от мха-бородача. Из-за выворотня уродливо торчал огромный сапог рябого. В гнетущей тишине еле слышно доплыл до сидящих людей храп бегущих оленей и визг полозьев нарт по застругам. Еще сжимая браунинг иссохшими пальцами, стрелявший тяжело поднял голову и приказал:

— Быстро на лед реки! Тунгусы едут, а вы мне не верили. Быстрей, могут проскочить... Скорее же!

Словно смерч смел всех от костра, дюжина осипших ртов пыталась что-то кричать, слезы текли по горячим лицам, а навстречу страдальцам хромал огромный бородатый человек в меховой дохе, с надломленным носом. Обернулся к застывшим нартам, подобно грому рявкнул:

— Лушка! Степан! Ясно дело, таборимся... ах, вы, болезные мои приискатели, у смертушки побывали. — Парфенов выпряг одного оленя и подвел к Степану: — Коли́ быстрей. Горе-то какое... К продуктам не допущать, передо̀хнут разом.

Целую неделю Игнатий отшвыривал от котла обезумевших от голода людей, поил их мясным отваром, потихоньку давал мучную болтушку и малыми порциями мясо. Один все же ночью наелся досыта, а утром испустил дух в страшных мучениях. Ландура и Лушка уверенно врачевали больных, отрезали отмороженные пальцы, смазывали раны медвежьим салом. Отогревали горемычных скитальцев в жарко натопленной палатке. Степан хмуро бродил по поляне, не доводилось еще ему видеть столько людей, чуть не пропавших по собственной глупости. Как можно идти в тайгу, не зная пути? Это было ему непонятно. Дети пугливо шарахались от страшных незнакомцев, но усердно помогали родителям. Когда был съеден третий олень, приискатели начали оживать. Только застреливший рябого все еще метался в бреду. Его раздели, и оказалось, что гангрена багрово расползлась выше колен. И всем стало ясно, что человек обречен.

Кольке Торкунову повезло — лишь облезла на щеках кожа. Неодолимым здоровьем наделила его природа. На мясном харче он скоро набрался сил. Когда пришел в себя, то признал в спасителе легендарного на всю Зею приискателя Сохача. Сказал об этом. Игнатий удивленно вскинулся и облапил земляка.

— А ты чей будешь?

— Ивана Торкунова, старшой сын.

— Ванькин сын! От так встреча! Да ить мы с твоим папашей пропасть земли перевернули на Золотой горе. Уж он теперь от магарыча не отвертится, так ему и отпиши. Пущай ожидает в гости. Завтра поведу вас на прииск, совсем в другую сторону вы перли. Если бы нас не встретили, хана... Ох, долюшка-доля... неприветная.

26

Бешено сверкая глазами и пронзая корявым пальцем воздух, верткий и черный, как жук, секретарь ячейки ВКП(б) Максим Якушев горячо выступал на первой окружной партийной конференции в Незаметном.

— Всего год назад никто не был убежден в реальности существования золотой промышленности тут, — он ткнул пальцем под ноги и громко топнул, — но она крепнет и даже принимает мировое значение! Хищники капитала тянут к нам свои паучьи лапы. В мае этого года американцы вышли с предложением о концессии Алдана, но якутское правительство резко отвергло его как неприемлемое. И на том спасибо! Из Москвы сулятся прислать английского инженера на предмет изучения россыпей для другой концессии. Черта два у них пролезет этот номер! Хватит и того, что концессионеры на Бадайбо разгоняют горняков и сидят на золоте, как собака на сене, сам не гам и другому не дам.

Якушев прервался, глотнул из мятой кружки холодной воды и опять вонзил палец в пространство, так он привык митинговать, будучи комиссаром партизанского отряда.

— Мы создадим свой, большевистский прииск, но прежде мы обязаны перевоспитать отсталую массу, идущую к нам из всех концов страны. Эта стихийная масса должна обрести революционный дух и опыт строительства мирового социализма. Мы объявляем беспощад-

ную войну неграмотности, гнилым пережиткам старого, дореволюционного быта, пьянству и разврату. Чтобы увести людей из этого болота, нужно развернуть культурный фронт, нужно строить клубы, библиотеки, избы-читальни, а не отделываться общими фразами. Посмотрите, какое скверное жилье у наших рабочих: грязь, теснота, сырость. С этим надо кончáть раз и навсегда! Немедля надо мобилизовать грамотных комсомольцев и партийцев в окопы ликбеза. Только за один день праздников в Незаметном продано пять бочек спирта, пропиты тысячи рублей, еще больше спущено в карты. Многие люди, пришедшие к нам, имеют правильное пролетарское чутье. Они должны видеть, что партия и Соввласть, стоящие во главе их рядов, ведут их к светлому будущему. Они должны быть уверены, что вооруженный идеями Ленина пролетариат победит. А между тем враги обворовывают пролетарское государство, льют золотой поток на мельницу классового врага! Мы обязаны помнить, что каждый наш сверхплановый золотник, отданный в надежные руки пролетарского государства, — сокрушительный удар по противникам строящегося социализма, каждый лишний фунт — это станок, трактор, нужная машина или вагон хлеба голодающим районам. Мы же скованы оппортунистической медлительностью и неповоротливостью, неумением организовать массы. Нужны большевистские темпы добычи металла, а каждый чинуша, сующий палку бюрократизма в колесо истории, должен считаться саботажником, врагом революции и наказываться вплоть до высшей меры социальной защиты!

Около полусотни коммунистов сидят в этом зале, мы боевое ядро, которое вдребезги разобьет мечту капитала загрести рабоче-крестьянское золото. Боевую смену мы видим в комсомольцах, их сейчас чуть больше нас, около семидесяти человек, они молоды и решительны. Мы совместно не должны терять революционную перспективу, в смысле уяснения текущего момента, мы обязаны поддерживать деловую связь, ликвидировать общую и практическую отсталость актива и нежелание работать над собой. Каждый из нас обязан зорко видеть очередные задачи партии и власти, бояться отрыва от общественной работы и широких слоев трудящихся...

Игнатий Парфенов застыл в первом ряду, на новой скамье новой конторы треста «Алданзолото». Да и все было кругом новым. Его, не державшего никогда в руках книжки и ставившего вместо фамилии крест, совсем недавно единогласно приняла в партию ячейка ВКП(б) прииска Незаметный, по рекомендации Бергина. Вольдемар уговорил Игнатия стать вольным разведчиком, так как нужны были новые россыпи. И Парфенов нашел их. Теперь артели старателей работали уже на Гусиной речке.

Сейчас, слушая напористую речь партийца Якушева, Парфенов понимал, что теперь он не бросовый копач Игнаха Сохатый, а опора и надежда Советской власти, большевик. Прииски росли как грибы в летней тайге. Налаживалось и снабжение продовольствием. Теперь уже не отмеряли за стакан соли стакан золота, а стоимость пуда муки упала в семь раз. Баснословные цены на провиант резко пошли вниз. Пароходы доставили в Укулан десятки тысяч пудов груза. Старатели перенесли их на своих плечах к приискам за восемьдесят верст.

...Игнатий был ошарашен переменами, когда робко заявился к месту работы первой трудовой артели на Незаметном ключе. Ревниво приглядываясь, обошел все делянки. Нудно скрипели колодезные журавли, извлекая из глубоких ям бадьи с породой и золотоносным песком, гремели и скрежетали бутары. Артельские мамки пекли хлеб в очередь в срубленной из бревен и обложенной изнутри камнем печи. Хлебушко пах обворaживающе. Игнатий примечал все: земляческую сбособленность бодайбинцев и амурцев, их самоуверенное желание выделиться фартовыми причудами. Он хмыкал радостно в бороду и прихрамывал дальше, забавляя душеньку открывшейся глазам карти-

ной. Старатели орудовали обстоятельно, со знанием дела. Игнатий радостно ощерился, вот наконец-то дожил до заветного дня...

Парфенов очнулся от воспоминаний и опять жадно вслушался в заковыристую речь Якушева.

— Долой шатания и колебания! Мы поведем решительную борьбу супротив чуждых классу и отсталых уклонов, дадим бой всему, что противоречит организации добычи золота и труддисциплины. Хитители народного добра тащат ценный продукт, горный надзор из рук вон плохо следит за съемкой золота на бутарах. Некие ухари наловчились делать тайники на дне бутар, путем выбивания сучков в досках во время промывки. Десятки пудов уходят через ювелирные мастерские, какой-то умник разрешил их открыть официально, и это не пресекается. Мы вынуждены скупать у старателей всего двадцать процентов металла, а остальное возвращать из-за отсутствия денег на приисках. Восемьдесят процентов расходуются кому как вздумается. Наторена контрабандная тропа к границе, и золото идет в Маньчжурию, вместо того чтобы лечь слитками в сундуки пролетарского государства. Преступная и неоправданная медлительность! В самый пик голода, большими трудами от Лены, с пристани Саныяхтах была доставлена по зимнику за триста верст мука крупчатка. И что же? Подлый враг сумел под носом ГПУ, уже на складе, залить ее керосином. Рабочие едят вонючий хлеб и плюются на нашу тутошнюю власть, на меня и на тебя, товарищ Горячев. Ты ловишь бандитов не там, где надо, придираешься к встречному-поперечному, а враг смеется над тобой и пакостит.

— Не твоя печаль меня учить! — грубо оборвал его Горячев, — особо не мути народ, а то гляди... Дотрепешься языком.

— Горячев! Тебе не давали слова, — постучал председатель по медному чайнику.

— Я сам себе дал! — хмуро огрызнулся чекист и пустил желваки по скулам, — по три часа в сутки сплю и виноватый кругом. Я в ваши дела не лезу, не лезьте и вы в мои.

— У нас общее дело, — после небольшой заминки вновь заговорил Якушев. — Товарищи! У меня вопрос к инженеру Пушнареву, возглавившему наши горные разведки. Почему ключ Американский был так разведан, что, когда заложили две пробные шахты и вспомогательные шурфы, обещанного золотоносного пласта не оказалось? Трест понес убытки: более двухсот тысяч рублей. На группе Ороченских приисков контуры фактической отработки оказались совершенно вне проектного плана. Старатели сами нащупали струю, а хотели совсем бросить работы. Вы же старый и опытный геолог, как так выходит, что разведка крутится возле мест добычи и нету перспективы разработок? Петр Афанасьевич, раз вы посланы из самой Москвы, а значит, вас считают дельным и нужным специалистом, объясните. Специально для такого вопроса мы пригласили вас на конференцию.

Пушнарева охватило смятение. Все, о чем его спрашивали, натворил главный инженер треста Сенечкин, и Пушнарев растерялся.

— Гм-м... Дьявольщина получилась, нет кадров, нет в нужном количестве буровых станков «Эмпайр» и «Кийстон», дабы проводить разведку должным образом. Вода заливает, а помп не хватает. Люди разбегаются на добычу золота и не желают за малую плату бить шурфы на разведках. Я в свои преклонные годы мотаюсь по приискам в седле и не поспеваю за всем следить.

Петр Афанасьевич первый раз в жизни лгал, выкручивался. Его прошибло мерзким липким потом. До нутра продирали десятки пар глаз, смотревших тревожно и выжидательно на него. На одних лицах он видел улыбки снисхождения к старорежимным кадрам, на других — понятливое сочувствие к старости, а иные каменели открытой злобой. Петр Афанасьевич смутился и сел.

Тогда встал Сенечкин. Говорил он веско, убедительно, держался этаким строгим и солидным человеком, отметающим малейшие крити-

ческие выпады в адрес Пушнарева. А Петр Аафанасьевич от такой поддержки еще больше сник, противная усталость сморила его болезненной немочью. Он вдруг почувствовал, что многие к нему относятся как к врагу.

А Якушев не унимался, обвиняя теперь представителей горного надзора в нерасторопности. Когда некоторые из них стали оправдываться и возмущаться, он заговорил еще напористее:

— Самокритика нам нужна как воздух! Я слышу тут опасливые голоса, как бы самокритика не достала их шкуры. Это вредная политика! Некоторые обюрократившиеся начальники докатились по отношению к возмущенным старателям до зарифмованных угроз: «Я тебе покажу кузькину мать, как заявление писать!» Это запугивание приводит к тому, что рабочие боятся изобличить недостатки в быту и на производстве. Думают: а вдруг сделаю не так, как нужно? Этим подрывается доверие к тресту, а самое страшное—к нашей партии. Этим мы вырабатываем вредные взгляды в отсталой среде и препятствуем рождению сознательности, этим мы толкаем рабочих в объятия «зеленого змия» и в разные притоны «хитрушек», дискредитируем Советскую власть. Такие зажимщики критики должны считаться антипартийными элементами, со всеми вытекающими отсель мерами. А ведь мы должны исполнять роль собирателей масс, воспитателей в духе революционной борьбы и создавать в дикой тайге новые силы для пролетарского авангарда золотой промышленности, для победы Мирового Октября. Да здравствует стальное единство Ленинских рядов! Поведем беспощадную борьбу с ликвидаторами и оппортунистами! Разгромим затаившуюся в наших рядах белогвардейскую сволочь! Возьмем жесткий курс на изжитие неэтичных поступков! Дадим родной стране назло врагам сотни пудов золота!

...Пушнарев был невольно захвачен общим энтузиазмом выступающих, каких-то особых людей, неведомых его пониманию, целеустремленных до ярости.

Удивляться Пушнарев начал от самой Москвы, когда сел в транссибирский поезд. С невольным стариковским любопытством он глядел через простреленное стекло купе на железнодорожные станции, оживающие города и села. Всюду кипела работа, на платформах кучились штабеля леса, обдавая сладким смольем тайги, ехали куда-то повозки, пыхтели маневровые паровозы — «кукушки», мелькали возбужденные лица, слышались песни, у Байкала, как и в прежние времена, торговали омулем с душком. Везде что-то строилось, высились ажурные леса у зданий, из труб деревенских изб валил дым, и, казалось, доплывает из русских печей до промерзшего вагона запах румяного хлеба.

Обремененный профессорскими привычками, беззаветно преданный геологии, он был кастовым интеллигентом и, когда вырывался из далеких экспедиций, как истинный москвич любил роскошь Москвы, изобилие яств ее ресторанов. Но чрезмерная кичливость была ему чужда, как любому увлеченному своим делом человеку. Петр Афанасьевич сталкивался с простыми людьми по долгу службы, и ему казалось, что он знал их. Обновление России, происходящее без его участия, было пронзительно интересно и неожиданно. В дороге часто хмыкал в бородку, удивленный тем или иным непривычным явлением.

А жизнь била ключом, он это видел, начиная сомневаться в реализации той программы, которую разработали в Москве старые «спецы» — противники Советской власти. Но, согласившись с ними сотрудничать, Пушнарев, будучи человеком слова, стал действовать в соответствии с полученной инструкцией. Он не был трусом, но и... смельчаком. Коварство и поднаторенность в интригах чиновников из горного ведомства отучили Петра Афанасьевича, превратившегося в мягкотелого исполнителя чужой воли, рисковать и выделяться.

По прибытии в Незаметный Петр Афанасьвич неторопливо взялся за привычное дело. Главный инженер Сенечкин был уже уведомлен о Пушнареве и с нетерпением стал расспрашивать о Москве, изголодав-

шись по новостям. Сенечкин — холеный, плечистый мужчина лет сорока пяти, много лет проработал на енисейских частных промыслах. На его мясистом лице неприязненно отсвечивали стальные глаза. Был он высокомерен и речист не в меру. Приезд Пушнарева воспринял как проявление недоверия к себе московских руководителей «центра». Петр Афанасьевич видел насквозь этого человека, который с чудовищным вожделением жаждал власти, мечтал перебраться из глухой провинции в Москву.

Сейчас, приглашенный на партийную конференцию, Пушнарев вслушивался в дерзновенные речи большевиков, в их необузданную веру в свою правоту и свои планы. Энергия так и рвалась из каждого слова, каждого замысла. Все было на удивление просто и непринужденно, без заумных фраз и скрытой обманчивости. Они ломили напрямик, отметая мусор сомнений. Петр Афанасьевич невольно подумал: «Это здесь-то, в тайге... а в других менее глухих районах России что творят такие одержимые кадры? Трудно представить». Вот против кого ему на старости лет надлежит бороться, строить козни, подменять эффективную разведку золота канцелярской рутиной.

Пушнарев негромко вздохнул. А рядом... кряхтели, курили и сжимали тяжелые руки в кулаки сильные духом люди, полуграмотные, полуголодные, но наделенные лютым желанием достичь порядка и ясности на приисках.

Роль, которую предстояло сыграть Пушнареву среди этих простоватых мужиков, была непростительно бесстыдна. Как поступить в нетипичной ситуации? Пушнарев с ужасом представил, как его арестуют в случае провала «центра». Петр Афанасьевич боязливо огляделся по сторонам и наткнулся взглядом на угрюмое лицо Горячева, казалось, смотревшего именно на него.

Геолог так задумался, что, когда все разом встали, замешкался и вдруг услышал:

— Что, дед, «Интернационал» петь не желаешь? А ну, встань!

Пушнарев торопливо вскочил. Шатнулись стены от грома сотни глоток. Не зная слов, он мычал срывающимся дискантом и до боли жалел себя...

Парфенов тоже впервые гудел низким басом эту непривычную песню, тоже не знал слов. Но он воспринимал ее как свою, родную, душевную, словно ее про него сложили, про его искореженную приискательскую судьбу. И он был готов идти в этот последний и решительный бой, дабы не вернулось старое: вшивые казармы и голод, смерти и банды, горе и лишения. Он верил песне: род людской воспрянет.

27

Из-за невероятного стечения обстоятельств попала Тоня Гусевская из поселка Бучуг в туманный от мороза Якутск. Ее дед по отцу был поляком-политкаторжанином, бабушка — тунгуска, а саму Тоню в метриках записали русской по материнской кержацкой родове. Три разные национальности сшиблись, и явилось на свет удивительное создание, до обморочи непонятное и совершенное в красоте. Славянская закваска пересилила смуглость таежного народа. Толстая коса у Тони отросла золотисто-пепельной, лишь чуть раскосые глаза на молочно-белом лице напоминали о ее бабке-охотнице. От величавых полек шляхетских кровей унаследовала она осиную талию. Уже с тринадцати лет Гусевская нагоняла своим видом хмельной туман в головы мужиков. От ухажеров отбоя не было, и так надоели они девке, что та наловчилась по-кержацки просто дубасить приставал нешутейным образом, благо силушкой бог не обделил.

Бучуг расположился на бойком месте на обоих берегах просторной и величавой реки Лены. Может, и влияла ее могучесть на диковатую Тоньку. Однажды девка повергла в грязь троих пьяных прииска-

телей, хотевших по разгульности своей утащить ее в лодку и увезти. В общем, характер у Антошки, так ее стали звать с той поры даже дома, был неуправляем. Любила до самозабвения лошадей, загоняла в скачках их до мыла на боках, ловила с братанами рыбу, на спор переплывала Лену, косила сено почище мужика, терпеть не могла девок. И первой записалась в неведомый никому комсомол.

Уполномоченный, прибывший из Иркутска для организации ячейки в Бучуге, собрал молодежь и произнес зажигательную речь, погрозив кулаком какой-то Контре (девке, должно быть). Тонька презирала бабьи проказы, пожалела мосластого и худющего паренька и подумала: видать, спокинула его та самая Контра-изменчица, дак от горя не может угомониться. Когда Антошка смело подошла к столу, крытому кумачом, и решительно потребовала записать в этот самый комсомол, приезжий неожиданно обмяк от ее вида и вовсе забыл слова. Лупал глазами и что-то мямлил, как паралитик.

— Царица небесная! И этот такой же, как все, — невпопад вырвалось у Тоньки, и она еще раз повторила свою фамилию.

Ребята загоготали, ревниво оглядывая свою наипервейшую красавицу и бунтарку. На ней просторная чесучовая юбка, на плечах кашемировая шаль. Комсомолист быстро оправился от смущения, поблагодарил товарища Гусевскую за проявленную инициативу «в вопросе союзной и общественной работы и отрыв от старого мира». За Антошкой потянулись к столу записываться все ее тайные воздыхатели, еще не ведая, какая им будет трепка дома на почве религиозных разногласий с отцами и дедами. Но дело было сделано, и уполномоченный пошел провожать вновь избранного секретаря ячейки Антонину, да более близкому их знакомству помешало ее полное политическое и культурное невежество. Когда он, весь подрагивая от волнения, стал ей читать стихи про любовь, говорить возвышенно и умно, представляя, какой эффект это произведет на деревенскую девушку, а потом осмелился ее обнять, Антошка по дурной привычке саданула кулаком промеж глаз кавалера и помела юбкой к своим воротам. Обернулась и в испуге прошептала: «Дак он, сердешный, лежит пластом и ногой не дрыгнет!»

Кинулась к нему бегом. Упала на коленки и давай сердце слушать, а этот вражина — хвать за шею, да и поцеловал накрепко в губы.

— Ребятам своим в Иркутске расскажу, со смеху помрут, ну и девка! Красного бойца с ног смахнула, — встал, смеясь и отряхивая пыль.

Тонька, возмущенная обманом, дернула рукой, но поцелуй отнял всю волюшку и силу, вскружилась голова. Умопомрачение накатило, воедино сплелись и стыд и радость какая-то неведомая. Она вдруг ощутила материнскую заботливость к этому едва знакомому парню. Уже примиряюще и гордо заявила:

— Одурачил, басурман, надо было еще тебя стебануть за такое, да жалко, ить убить сдуру могла.

— Я крепкий. Дмитрии все крепкие. Колчак бил не добил, а от девки смерть не приму. Дай я тебя еще поцелую, прям не могу как охота!

— Но-но, не больно-то, — посуровела Антонина, — и откуда ты взялся такой баский, наш бы местный век не решился. Топай на фатеру, я тебе не маруха какая-нибудь, а секретарь тепереча. Никак нельзя мне баловством заниматься, че люди скажут.

— Тю-тю, дуреха, это жизнь, супротив ее не попрешь при любом звании, поцелуи вне классовой борьбы состоят. Ты глянь! Ктой-то из ворот твоих выглянул...

Тоня обернулась, и в тот же миг малохольный парень впился в ее губы, да так и пристыл к ним. Когда она опамятовала, отпихнулась и сама не своя поплыла над землей, то ощутила, как что-то сладко подрагивает внутри.

— Уйди от греха, — сонно выдохнула она и опрометью кинулась к темным воротам.

Только дома хватилась, что позабыла спросить об энтой самой Контре-изменчице, и нешутейная ревность полыхнула в груди. Два дня никуда не выходила, кобель изошелся ночами до хрипа, отгоняя от ворот позднего гостя. А когда Митрий уехал, чуть не заголосила по нем. Так и не могла затушить огня, зажженного им, так и не сумела забыть непутевого, неугомонного и худосочного парня в старенькой красноармейской шинельке и кожаной кепке. А через полгода пришло ей письмо из Якутска.

Писал ей Митрий, что гоняет банды по Якутии в составе летучего отряда, шлет пламенный комсомольский привет и желает немедленно на ней жениться, потому как любит ее крепко. «Ишь ты-ы...» — недоверчиво прошептала Тоня. Митрий так же сообщал, что сейчас командует взводом, что теряет друзей, гибнут они в боях... Как только вернется из похода, то женится на Тоне и заживут они семьей. «Ишь ты-ы!» — уже громко проговорила она и вдруг ощутила, как огнем вспыхнули щеки. И дунула из дому бегом к реке, чтобы никто не мешал перечитывать ее первое в жизни письмо.

Работа в ячейке шла полным ходом, принимали все новых ребят. Девки потянулись за ухажерами следом в комсомол, жутко ревнуя к сероглазой разлучнице, надевшей мужские штаны и модную кожанку с ремнями. Антошка посуровела еще больше от непосильной ноши работы. Два раза в Гусевскую уже стреляли и не единожды грозились спровадить в могилу. Непокорная Антошка до охрипа громила на собраниях врагов новой власти и, разгоряченная, становилась потрясающе красивой в своей бабьей необузданности. Отец, мать, братаны сделали робкую попытку угомонить взбесившуюся девку, но были вынуждены покориться, выслушав лекцию о задачах комсомола в свете решений Третьего Всероссийского съезда РКСМ.

Получив письмо, она долго не раздумывала, сдала бумаги своему заместителю и решительно собрала вещи. К тому времени возчики по льду Лены уже пробили в Якутск зимник, и Тоня пристроилась в один обоз, отдав все наличные деньги, какие были в запасе. Ехали долго, ночевали гуртом в станках-избушках, мужики косились на нее и норовили подладиться, но натыкались на такой яростный взгляд, что враз пропадала всякая охота к ухаживаниям.

На место прибыла без харчей и без гроша в кармане. Ошалело бродила по городу, не ведая, где и как сыскать Митрия, ведь даже фамилии его не знала. Кто-то посоветовал сходить в губчека, раз суженый воюет, там укажут, в каких он местах корежит ненавистную контру. Тоня долго толклась в приемной, пока не достигла самого главного командира. Выслушав ее сбивчивый рассказ, седой человек с алой розеткой под орденом Красного Знамени на гимнастерке раздумчиво поглядел в окно и велел помощнику принести кипятку. Тоня обрадовалась, наконец узнав фамилию Митрия — Самохин. Сидела, повторяя ее про себя и думая о том, что и она скоро станет Самохиной. Строгий командир встал и подошел к окну. Потом медленно и глухо проговорил:

— Мужайтесь, товарищ Тоня...

Она вдруг сжалась от нехорошего предчувствия и отставила стакан с недопитым чаем.

— Че? Где он?

— Мужайтесь, мне выпала доля поведать вам о его героической гибели. Враги страшно надругались над ним. Дмитрий Самохин был настоящим бойцом революции.

— Ладно вам брехать, — отмахнулась она и вдруг поняла, что слышит правду, дикую и несуразную правду: Мити больше нет. Сурово подобралась, сдерживая слезы. — Говорите все, не жалейте меня, товарищ, я хочу знать.

— Они прошлым летом остановились на ночевку в телеграфной конторе тракта Якутск—Аян. Банда есаула Бочкарева окружила их и держала несколько дней в осаде. У них кончились патроны, бандиты захватили раненых красных бойцов. Зверски пытали, а затем распяли гвоздями на стенах, а кишки из вспоротых животов развесили по проводам. Я не стал сглаживать суть, чтобы вы помнили Дмитрия и знали, какие еще нам предстоят тяжелые бои, чтобы вытравить белогвардейскую нечисть. Бандиты беспощадны... Будем и мы беспощадны к извергам!

— Он похоронен там? — выдохнула Тоня.

— Да.

— Мне не верится! Не верю... — она вздрогнула, — даже представить не могу, что они способны на такие зверства. Дайте мне винтовку и зачислите в отряд. Я хочу отомстить за него.

— Работу мы вам дадим. Но пока нет необходимости воевать женщине. У нас сил достаточно.

— Что же мне делать? Я комсомолка и должна приносить пользу. Я думала, что с Митей на пару мы горы своротим.

— Можете остаться в городе, жилье подыщем. А можете отправиться на очень трудный и нужный участок...

— Куда?

— В Алданской тайге организован прииск Незаметный. Туда мобилизованы более тридцати комсомольцев для налаживания работы. Я порекомендую вас — и поезжайте. Там сейчас главный фронт, стране нужно золото, чем больше, тем лучше.

28

Егор Быков пришел к шумливому прииску. Пропасть людей кипела по долинам ручья и реки, стучали топоры, горели костры, и тайга медленно отступала к сопкам. Ее оттесняли рубленые дома, конторы, золотоскупка, магазины, частные лавки, харчевни, общие бараки...

С краю неба хмарились грозовые тучи. Не страшась их сердитого рокота, слепящее солнце обжаривало все вокруг. Духота стояла неимоверная, как всегда бывает перед летним дождем. Егор вытер рукавом взмокший лоб, устало присел на горячий от солнца валун. Десятки бабочек самой причудливой окраски порхали в разжиженном от зноя воздухе, кучками сидели в мокрых бочажниках. Русло ключа Незаметный чудовищно разворочено горными выработками и отвалами. Быкова охватила тревожная радость новизны. Не искал Егор манны небесной в этих краях, лишь горячо желал остаться, жить своим трудом, позабыть напрочь о чужбине. Измученный неопределенностью своего существования, непокоем и странствиями, он жаждал утешения и крепкой духовной опоры. Только бы не отвергли его эти люди и дозволили быть с ними рядом. Найти бы Парфенова... Егор жадно припал губами к светлому ручейку, струящемуся из-под валуна, и поднялся на ноги. Попутчики, пришедшие за восемьдесят верст с ним вместе от пристани Укулан, уже сгинули, только Артур Калмас, с которым Егор подружился в дороге, все еще маячил впереди. Егор догнал горного инженера у крайнего барака. Калмас весело улыбнулся ему и обнадеживающе подмигнул.

— Ну что, парень, пойдем определяться на постой да на работу.

— Примут ли? — улыбнулся Егор.

— Я поручусь за тебя, — уверенно заключил Калмас, — по всем статьям ты наш товарищ, гнилье бы я давно почуял. Покажешь себя на работе. Пошли!

В конторе пахло стружкой и свежей краской, суетливо бегали люди с бумажками в руках, несколько приискателей сидели на корточках вдоль стены в ожидании решения своих нужд. Калмас уверенно отыскал кабинет главного инженера треста, без стука скрылся за

дверью, попросив Егора побыть в коридоре. Находился Артур там недолго, вышел чем-то озабоченный и хмуро обронил:

— Как попал на это место старорежимный махровый бюрократ? Ну ничего, идем к секретарю окружкома партии Якушеву. С него и надо было начинать.

Егор пошел следом за инженером. Якушева встретили в коридоре соседнего здания, он что-то горячо доказывал глыбастому мужику в просторной сатиновой рубахе, стоящему спиной к вошедшим. У Егора екнуло сердце, и в подтверждение радостной догадки узнал он знакомый бас.

— Ясно дело, Максим Палыч, разведки дальних ключей нам позарез нужны, только этот Пушнарев правит воз не в ту степь.

— Игнатий?! — не стерпел Егор и кинулся обнимать Парфенова. Тот ошалело выставился на него и весело прогудел:

— Игорка, лешачья морда, ты как тут оказался? — Обернулся к Якушеву: — Во, Максим, это мой компаньон по Гусиной речке, теперь мы с ним зачнем вольный поиск. Ты глянь, как с неба выпал! А я уж думал, что не свидимся боле. Ну, здоров! — он облапил своими железными граблями Егора так, что у того хрустнули кости.

Якушев привел всю компанию к себе. Егору он понравился сразу. Молодцеватый, чернявый мужик с усталыми глазами. На столе аккуратными стопками сложены бумаги, газеты, на стене висят конторские счеты. Он освободил стол и принялся разливать гостям чай по граненым стаканам. Артур Калмас заговорил первым:

— Я к вам прибыл по решению Совнаркома для скорейшего внедрения механизации на приисках. В Укулане уже работает мой помощник механик Недзвецкий, делает опись частей драг, доставленных водным путем с Олекмы.

— Знаю, — утвердительно кивнул Якушев, — мы вас ждали, товарищ Калмас. Рад, что в Москве проявляют заботу о нашем глухом угле. Какая помощь требуется от нас? Подумайте хорошенько и изложите свои соображения в письменном виде для обсуждения на бюро.

— Хорошо, завтра вы получите эти бумаги. Мне не понравился главный инженер треста Сенечкин. Этот лежачий камень не чует дыхания времени. Он стал меня уверять, что драги — пустое дело, дескать, надо положиться на испытанную старательскую добычу.

— Мы его расшевелим. К сожалению, у нас пока нет специалистов его уровня. Сенечкин имеет большой опыт в золотодобыче,— нахмурился секретарь.— Я хочу поставить вас в известность, что он яростно отстаивает позицию инженера Пушнарева, руководящего разведками и являющегося полномочным представителем Москвы. Они без ведома окружкома партии и якутского правительства отправили в столицу бумагу с проектом добычи золота на год. Их план явно нереален, он втрое превышает количество металла, которое мы можем добыть и скупить в следующем сезоне 1926 года. Москва план немедля утвердила, так что придется засучить рукава и сделать невозможное. Самое страшное заключается в том, что план добычи не обоснован разведанными запасами россыпей. Все их расчеты зиждутся на голой науке и домыслах.

— Вот, вот! — прогудел Парфенов, — толкаемся вокруг старых разработок. Пушнарев понавыдумывал столько инструкций, что люди занимаются только писаниной.

— Пушнарев, несмотря на солидный возраст, сутками не вылазит из седла, — вступился за геолога Якушев. — Завышенный план — это инициатива Сенечкина, тот еще до приезда Пушнарева порывался его взвинтить. Ну что ж, раз они считают возможным добыть за год четыреста пятьдесят пудов, поверим и мы. Время покажет, кто прав. Для этого нужны механизмы, шахты, драги, гидравлики* и немедленное

* Гидравлики — промывочные приборы.

решение водоснабжения промывок для всех артелей. Можете положиться на поддержку окружкома в этом вопросе, товарищ Калмас, делайте все, на что способны. Делайте даже невозможное! Директор треста против спущенного плана, я тоже. Бергин, как узнал в Якутске о нем, со всей прямотой обозвал этот шаг авантюрой. Но отступать нельзя, партия требует от нас золота, мы его дадим! Игнатий, сколоти артельки вольных разведчиков, и щупайте, пытайте ключи вокруг Незаметного и далее. Пока наука раскачается, вы должны опередить ее.

— Максим Павлович, — Калмас достал из портфеля засургученный пакет и вручил его Якушеву, — я уполномочен вам сообщить, что правление союзного треста «Алданзолото» сюда направляет ревизионную комиссию для проверки реальности плана добычи золота по протесту от вас. Вижу, что план действительно завышен, и надо глубоко разобраться в возможности его реализации. Но... Тем не менее коллегия ВСНХ под председательством самого Дзержинского и с участием академика Обручева рассмотрела этот план, наметила ряд мероприятий для оказания помощи и утвердила его. Вам не надо объяснять причин. Там все понимают и верят, что руководство треста, партийные и комсомольские органы на местах сплотятся воедино с массами рабочих с целью реализации плана. По настоянию коллегии Якутское пароходство в сложнейших условиях доставило части двух драг на мелкосидящих судах в Укулан. К нам отгружены десятки локомобилей-электростанций, паровых лебедок, насосов, частей для гидравлик и отпущены миллионные средства. Со всех концов страны мобилизованы специалисты. Этим вопросом лично занимаются Феликс Дзержинский и Серго Орджоникидзе. Не позже как через год первая драга обязана дать промышленное золото. Немедленно развернем шахты, обеспечим надежной работой тысячи старателей на разведанных площадях и любой ценой выполним план. Правительство СССР верит в нас.

— Мы все понимаем и готовимся к этому рывку, — раздумчиво ответил Якушев, — прииск Золотой уже развернут на государственную добычу, построена кулибина, получено несколько буров «Эмпайр». Ну что ж, товарищи, за дело! Мы обязаны выполнить решение коллегии ВСНХ.

— Тут еще один маленький вопрос, — поднялся Артур от стола,— я желаю поручиться за этого молодого человека, — он кивнул на Быкова, — у него нет документов.

— Я тоже ручаюсь, — поддержал Игнатий, — знаю Егорку давно, наш парень. Мы с им ишшо не один ключик золотой сыщем. Слово партейца, это наш человек.

— Гм-м... Вы же знаете, что без документов мы уже людей не берем и отсылаем в жилуху в течение двадцати четырех часов. Нужна особая проверка, чтобы на месте дать документы.

— Есть проверка, вот она, — Парфенов достал из кармана серебряные часы и щелкнул крышкой, — читай, Палыч, что там нацарапано.

Якушев подвинулся к окну и вслух прочитал:

— «Товарищу Быкову Егору Михеевичу за выполнение особого задания ОГПУ».— Недоуменно посмотрел на сидящего парня: — Что за особое задание?

— Это нам, Палыч, знать не надо, — вступился Парфенов. — За него пущай Горячев разузнает в Зее у тамошнего начальника Балахина и справит документы. Говорю наш, значит, наш. Проверил на своей шкуре, он меня от смерти спас.

— В таком случае разрешите, товарищ Быков, от имени всех присутствующих и окружкома ВКП(б) поздравить вас с высоким доверием и вручить часы.

— Спасибо, — еле вымолвил Егор. Все было, как во сне, настолько нереально, что Быков смутился. Горько колыхнулась в памяти Марико, это ее презент он получил, ее награду за сожженное ею гнездо

агентуры, за документы всех резидентов Кацумато. — Спасибо, т-товарищи, — выдавил непривычное слово, — все силы отдам, чтобы не подвести вас, и буду работать не покладая рук.

Егор понимал, что ему невероятно повезло: теперь все сомнения и страхи отметены, прошлого не существует. Часы тикали в его сжатом кулаке, ведя отсчет новой жизни. Игнатий довольно похмыкивал в бороду, от Якушева потащил Егора к себе домой. Приискатель срубил небольшую избенку на окраине поселка и теперь задорно прихрамывал впереди Быкова, размахивая руками и вещая тому о своей устоявшейся жизни.

— Лукерья моя, ясно дело, в избе проживать не могет, шляется со своими невесть в каких тайгах, зимой обещается прикатить. Родила второго мальца, теперь я богатый.

Игнатий жил не один. Около окошка чеботарил какой-то худоликий парень, встретивший вошедших робкой улыбкой.

— Вот, Егор, принимай в друзья Кольку Торкунова. Прошлой зимой в тайге его нашел чудом, отходил. Видать, желудок попортил, все никак не оклемается. Наловчился сапожному рукомеслу, ниче-о, выходится.

Егор подал руку и приветливо обнял паренька.

— Откуда будешь?

— Зейские мы оба, — ответил за Кольку Парфенов. — С отцом ево мы крепко дружковали, хаты наши через улицу стоят. Беда с земляком вышла. Они ить че удумали? Зима пристигла, так один уголовный хмырь решился людей изводить на прокорм. Мы вовремя подоспели, отпоили живых мясным отваром, вывели на прииск. Беда-а... Ладно поминать горе, давайте вечерять и чаи гонять. Завтра с тобой, Егор, двинем на одну речку, в прошлом годе там якут нащупал россыпь. Артельку я уже приспособил бить разведочные шурфы. Ежель откроется верное золото, надо добывать спешно. Слыхал, как дело обстоит? Позарез нужно выполнить энтот большущий план, чтобы в нас веру правительство не стеряло. Позарез надо дать! Вот и дожил я до светлых времен, как лет на двадцать помолодел, прям из нутра рвется желание действо творить, бегать по тайге и выворачивать ие наизнанку для обчей нужды. Худо вот, ногу попортил.

— Игнатий, а где часы-то эти добыл? — спросил Егор.

— Дак приезжал намедни наш друг, велел тебе эту награду отдать, коли объявишься. Балахин знает о гибели Кацумато, о секретных документах, письмо на твое имя и кожаный мешок забрал у Мартыныча от твоей зазнобы-японки. Крышка вышла осиному гнезду. А где она, девка-то?

— Утопла, Игнатий, — вздохнул Егор, — Фомин порог принял ее. Ночью гнала по незнакомой реке, только плот и нашел, а в вещах письмо.

— Жалко, — погрустнел Игнатий, — верно, была добрая баба, коль на такие ужасти решилась.

— Жалко — не то слово, Игнат... — помрачнел Егор. — Часовенку поставил рядом с тремя братьями. Как она сумела Мартыныча обдурить и сговорила плот дать, вот диво. Как с Кацумато справилась? У него там все было ухоронено под семью замками, однако сделала она дело.

— Бабы, они, брат, гораздо умней нас и настырней. Хоть мы это не желаем признавать и глумимся над ними. Если любит, ради сволво милого сквозь гору пройдет, ни огонь ее не страшит, ни вода кипучая. Это ить надо, по тем порогам не всякий мужик решится плыть, а она пошла. Вот отчаюга!

— Я жениться на ней собирался, а оно вон как обернулось. Что теперь поделаешь, перед смертью человек бессилен, — закручинился Егор.

— Дома-то как дела, с отцом, матерью виделся?

— Мать померла, батяня с моей суженой уже в открытую живет.

Братана бы с сестрой отбить в станицу, пропадут они с ним. Отец зверь зверем, неймется ему... Эх, Марико, Марико...

— Не убивайся шибко, с такой непомерной женщиной судьба свела и благодари за это. Что ж поделаешь теперь. Ничего. Надо жить и не терять голову. Ведьмы все женщины исстари, от слова древнего — ведать. Так-то, брат. Хотя бы моя разлюбезная Лушка — ведьма же. Ей хоть кол на голове теши, а от задуманного не отвратишь. Если уж баба решилась любить — тут все-е.

29

На Укуланскую резиденцию на берегу реки Алдан, через многочисленные пороги и частые мели, мелкосидящие пароходы «Повстанец», «Звездоносец» и «Верхоленец» с неимоверными трудностями доставили части разобранных драг с далекой Олекмы. Огромные груды металла высились на берегу в страшном беспорядке. Не было к ним ни описи, ни документов, все увезли прежние хозяева. Никто не знал, как собирать эти машины.

Хромоватый невысокий человек кружил возле ржавого железа полный световой день, составляя реестр и мучаясь в догадках, для какой надобности необходима та или иная деталь. Это и был помощник Калмаса — Александр Александрович Недзвецкий, белорусский крестьянин, с пятнадцати лет увлекшийся техникой. Работал он в давние годы помощником машиниста на пароходе, ходившем по Двине, потом служил на флоте трюмным машинистом, в десятом году за особые способности был направлен в военно-морскую школу Кронштадта. Там за революционную деятельность отсидел восемь месяцев в плавучей тюрьме. В семнадцатом году вступил в партию большевиков и стал в гражданскую войну комиссаром линкора «Республика». Был ранен в ногу. И с Волховстроя его экстренно направили в качестве главного механика на Алдан.

У Недзвецкого голова шла кругом от обилия привозимого оборудования для приисков. Кроме частей драг, валялись в грязи токарные и сверлильные станки, комплекты буров «Эмпайр» и «Кийстон», локомобили «Ланц» и локомобильные котлы, насосы «Дуплекс» и «Вейзе Монке», котлы «Коприль» и центробеги, динамомашины и паровые лебедки, а пароходики все везли и везли до самого ледостава тысячи нужных и ненужных деталей, вплоть до огромных германских сейфов. В этом хаосе ему предстояло навести порядок и оживить мертвое железо.

Первым делом Недзвецкий создал в Укулане партийную ячейку. Возглавил ее он сам. Сознательные приискатели стали дружно ему помогать: несколько бригад рубили просеку под дорогу на прииск, другие строили мосты и гати, собирали металлические конструкции. Только одна драга весила около девяти тысяч пудов, а некоторые ее части — свыше четырехсот пудов.

Наконец, после долгих сомнений и дебатов, к весне двадцать шестого года вопрос, связанный с развертыванием дражного флота, решился положительно. Сначала по расширенной дороге повезли лесопильную раму и оборудование для механической мастерской.

Артур Калмас, к тому времени назначенный управляющим трестом, не дремал. Он вызвал из далекого уральского городка плотника-самоучку Аверьяна Гребнева, когда-то рубившего понтоны для драг на Ленских приисках. Быстро организовал работы по монтажу лесопилки и кузницы, а Аверьян начал со своей вольной артелью без всяких чертежей ладить огромное сооружение. Другая артель копала рядом котлован, оттаивая мерзлоту пожогами. Дело пошло.

Недзвецкий взялся за самое трудное: за транспортировку к месту сборки по зимнику деталей драг. В Укулан нагнали сотни упряжек лошадей, сделали тяжелые волокушки из цельных бревен и впрягли в

них по восемь троек. Мужики еще корчевали пеньки, вырубали кайлами косогоры, а полозья саней, придавленные тяжелым грузом, уже натужно визжали по снегу. На них высилась заиндевевшая черпаковая рама. Близилась весна, караван за караваном ползли за восемьдесят верст, успевая проскочить до распутицы.

В середине июля благодушный и огромный, безграмотный напрочь Аверьян Гребнев спустил на воду понтон, доказав этим, что русский мужик ни в чем не уступает заграничным инженерам. Десятки тысяч на месте откованных костылей были загнаны в брусчатые борта, надежно просмоленные пазы не дали ни малейшей течи.

Началась сборка драги. Некому было склепать котел, а срочно приглашенный спец загнул непомерную цену. Недзвецкий нашел мастера среди приискателей. Не было зуборезных станков, тогда вручную сделали полутoрааршинные шестерни взамен негодных. Постепенно драга обретала свое рабочее обличье назло маловерующим.

Наконец в августе двадцать шестого года ее стальные черпаки вгрызлись в породу на устье ключа Незаметный. Толпы приискателей растерянно бродили вокруг, не веря своим глазам. Пыхтела паровая машина, валил черный дым из трубы, драга широким охватом ненасытно поглощала в свою утробу кубические сажени золотоносных песков. Топку котла механик переделал по своему разумению так, что пар твердо держался на отметке двенадцати атмосфер, бодро шевеля ожившую махину.

Тем временем Игнатий Парфенов доказал, что ключ Лебединый богат золотом, и артель из двухсот пятидесяти человек вместо десяти пудов намыла более сотни. Строились одна за другой кулибины на новых месторождениях, пробивались шахты, широко велась буровая разведка.

А Недзвецкий уже готовил к монтажу вторую драгу, выбивал заказы на Путиловском заводе, метался без сна и отдыха, мечтая уже о крупной электростанции и драгах, работающих от нее. Все словно посходили с ума. И Пушнарев, повидавший виды на дореволюционных промыслах, был поражен: творилось что-то невероятное. Эти люди, сплоченные большевиками, пытались выполнить тройной план, который Сенечкин принудил его подписать. «Центр» всеми силами хотел помешать этой вдохновенной работе: слал глупые инструкции и еще более глупые комиссии, которые писали кляузные бумаги, всё напрочь запрещали, но уже ничего не могли поделать. Словно отлаженная машина, Алданские прииски наращивали темп, ссыпая пуды золота в казну государства. Безо всяких концессий. Свое золото...

Петр Афанасьевич вернулся к себе с дальнего прииска. Усталый и голодный, он на удивление чувствовал себя молодым, полным сил. Расседлал лошадь, открыл двери и увидел за столом инженера Сенечкина. Поздоровался, снял плащ и стал шумно умываться. Гость напряженно молчал. Когда Пушнарев уселся напротив, неодобрительно усмехнулся:

— Что-то вы не в меру бодрый, глубокоуважаемый Петр Афанасьевич. Плакать надо... Проявлять чрезмерно рвение вас «центр» не уполномачивал...

— Знаете что, батенька, — расплылся в улыбке старик, — катитесь вы вместе со своим «центром»... (Далее пошли такие ядреные и заковыристые приискательские матюки, что у Сенечкина глаза полезли на лоб.) Я глубоко сожалею, что ввязался в эту неприятную историю.

— Позвольте! — заорал Сенечкин, — я немедленно доложу о ваших выходках.

— Не позволю, батенька, не позволю! — Пушнарев вскочил и яростно потряс сжатыми кулачками.— Это же святые люди! Я слишком поздно прозрел, но все равно я буду помогать большевикам, переде-

лывающим мир. Вы и ваши хозяева из «центра» архиавантюристы, а я был заворожен их красивыми словами. Пустыми словами! Ненавижу себя за это! Постараюсь отработать грехи и спокойно умереть, зная, что принес пользу России.

— России? Какой России? Вы преувеличиваете, Петр Афанасьевич, — побледнел Сенечкин. — Уже то, что вы сделали в интересах организации, для ГПУ достаточный факт, чтобы поставить вас к стенке. Не обольщайтесь.

— Кто же пойдет доносить, не вы ли? — спокойно спросил Пушнарев. — Ведь все гнусные дела вы творили сами. А если уж я заслужил расстрел, то извольте... Жизнь прожита честно, за исключением этих последних досадных месяцев. Спешите доносить, или я сам пойду к Горячеву и все ему расскажу. Спешите же!

— Не дурите, — испугался гость, — не вздумайте сделать это...

— Не пугайте, молодой человек, я пуганый. Рекомендую вам немедленно убраться отсюда к чертям собачьим или еще дальше. Спасайте шкуру, ваш пресловутый «центр» вот-вот лопнет, как мыльный пузырь. А я намерен работать. Проваливайте, вы мне надоели.

— Вы что, прогоняете меня из треста? — хохотнул Сенечкин. — Руки у вас коротки и нос не дорос.

— Пока советую, настоятельно советую. Даю вам неделю на сборы, и чтобы духу вашего здесь не было! Вот так, милейший юноша... Не хотите ли поесть? — Пушнарев набрал в кружку воды и с аппетитом принялся жевать черствый хлеб.

— Гадкий старик, — покачал головой Сенечкин. — Только не подумайте, что испугали меня. Дело в том, что из треста меня уже выкинул Якушев без согласия с Москвой. Смелый чрезмерно.

— Даже так? Каким образом вы заслужили такое внимание?

— Обвинили в неумении работать, да еще одна дура-комсомолистка, не в меру красивая девка, заявила на бюро, что я закоренелый бабник, половой маньяк и прочее... А Якушева вы знаете, у него разговор короткий: «Вот бог, а вон порог». Сняли единогласно.

— А может быть, они и правы? — многозначительно хмыкнул Пушнарев. — Работать-то вы в самом деле не можете, да и по части слабого пола за вами грешки водились, даже хитрушками не брезговали, вот и допрыгались. Ай-ай-ай! Ведь «центр» так верил в вас. Да-а... С такими людьми, как вы, великие дела не делают. Стыдно кому сказать — на бабе сгорел. Самое время от позора убраться.

— Послушай, старый ханжа! Если ты не перестанешь язвить, то...

— То-о-о, — передразнил его насмешливо геолог, — да вы тюфяк, набитый гнилой соломой, вы ни на что не годны. Отправляйтесь, мне нужно спать. Завтра на заре опять в седло. Геолог Зверев нашел признаки рудного золота неподалеку. Невероятный и интереснейший факт. Если мы откопаем рудные жилы, то-то недоброжелатели Советов на Западе и вся ваша компания, я подчеркиваю, ва-ша, ох как взвоют.

— Петр Афанасьевич, — примиряюще заговорил Сенечкин, — а может, и вам отсюда уехать? Подобру. Займетесь научной работой без лишений и холода, вас же приглашали, если мне не изменяет память, читать курс минералогии в Горной академии? А? Давайте вместе двинем в Москву!

— Не отождествляйте меня с собой, — брезгливо скривился Пушнарев. — Нет, батенька, надо исправлять свои ошибки и признавать их, а наукой я успеваю и здесь заниматься, под рукой живой материал. И знаете, прекрасно продвигается рукопись. Прощайте!

Сегодняшний разговор с Сенечкиным назрел уже давно. Пушнарев теперь окончательно и бесповоротно осознал, насколько тщетны потуги всяких авантюристов возродить старое, остановить неумолимое течение времени. Неожиданно кто-то постучал в дверь. Пушнарев нехотя поднялся и впустил в комнату прихрамывающего Игнатия Парфенова. Совместная работа на разведках россыпей не сделала их друзьями.

Игнатий досконально знал дело и верил только своему природному чутью. На работах помалкивал, в прения не вступал, прикидывался темным неучем. Сейчас Игнатий Парфенов явился к Пушнареву, побывав предварительно у Горячева, которому и высказал свои подозрения. Чекист внимательно выслушал Парфенова, что-то помечая на листке бумаги, а потом достал из сейфа тонкую папку. Игнатий с горем пополам выучился читать и писать, но, откровенно говоря, в этой докуке еще не был силен. Шевеля губами, он медленно разбирал слова:

«Фомин Иван Антонович, 1899 года рождения, сын крупного инженера и бывшего акционера — владельца рудников на Урале. Арестовывался Усть-Каменогорскими органами ОГПУ, находился под следствием. Работает на Алдане в качестве зам. зав. ГРО. До этого работал в Правлении концессии «Лена-Гольдфильс» в качестве техника по разведкам. Имеет монархические убеждения. Были намерения скрыться за границей. Вел переписку с отцом на предмет взятия в аренду приисков на Алтае. Вращается исключительно в среде антисоветского элемента. По неточным данным, вывез в Ленинград контрабандным путем 100 золотников золота, откуда пока не возвратился, и местонахождение его неизвестно.

Техник-калькулятор Матвеев Петр Николаевич, происходит из семьи пароходовладельца, торговца, спекулянта на ценных бумагах, скрывшегося неизвестно куда. Родился в 1906 году в Благовещенске, там же имеет собственный дом, беспартийный, специального образования по занимаемой должности не имеет. На работу устроен по рекомендации инженера Сенечкина, знавшего его отца по Благовещенску со времени работы в компаниях «Амурзолото».

Инженер Сенечкин Альберт Исаевич, 1880 года рождения, закончил Московскую высшую горную академию, родственник нерчинских золотопромышленников, вращается исключительно в среде антисоветского элемента. Будучи в Москве, пытался пробраться в ряды ВКП(б), скрыв свое прошлое и родственные связи. Находится в тайном знакомстве с рядом восточников, один из них Сон Зы Хын был задержан Алданским оперсектором ГПУ с тремя фунтами опия и шифрованным донесением на корейском языке. От связи с Сенечкиным отказался, хоть тот лично устраивал его на работу...»

— Да-а, — невесело усмехнулся Игнатий, отдавая папку Горячеву, — разгонять их надо отсюда, пока беды не вышло.

— Балахин тебе опять привет передал. Спрашивает, не появилась ли у тебя охота погулять в Харбине?

— Не-е, старый уж для таких дел. А что, опять что-то супротив нас затевают?

— Они формируют кадровые части из бежавших белогвардейцев. Уже сколотили несколько полков.

— Вот сволочи, неймется же им! Только все это — дохлое дело.

— Дохлое, а провокацией пахнет. На КВЖД неспокойно, убивают наших людей, разворовывают эшелоны, банды бродят у границы и крепко шалят у нас. Этот, Егор Быков, работает нормально?

— А то как же! Дай бог каждому. Насчет ево не сумлевайся, кадр надежный, владеющий японской борьбой, лично проверен.

— Так, а он не мог бы выполнить поручение Балахина?

— Подождите малость, парень только отошел от тех краев. Пущай немного отдохнет.

— Ладно... Что-то мне не нравится мышиная возня спецов. Возможно, у них есть связи в Москве.

Игнатий выслушал Горячева и со всей своей простодушностью решил начать с Пушнарева, явившись к тому ночью по собственной инициативе.

— Чем могу служить? — инженер угнездился на своей постели, указывая Парфенову на единственный стул.

— Да так, заглянул на огонек, — Игнатий сел, расстегнул пиджак. — Вот что, товарищ Пушнарев, явился я к твоей милости как партеец и старый приискатель. Не ндравятся мне твои затеи в деле разведок. Мечешься на коне, словно Аника-воин, суетишься, а работы идут через пень-колоду. Не верят тебе люди, не верю и я.

— Это почему же? Извольте объяснить.

— Да потому, что твой подсчет запасов всегда занижен, а при отработке делян золото кажет себя куда богачей. Потому, что ты зафитилил в противоречие своим подсчетам такой план на год, что исполняем мы ево чудом и с большой натугой. Опять же бумажную волокиту развел на описании шурфов, люди занимаются ненужной писаниной, а работать некогда. Скажи мне прямо, это все случайно иль с умыслом? За тем и пришел. Стращать я тебя не собираюсь, говори как на духу,— посуровел Игнатий.

— Это что, батенька, допрос? Или вы по своему разумению заявились? — запетушился геолог.

— По партейному... Говори же, иль я счас сведу тебя в ГПУ и сдам как явного врага нашенского. Доводов у меня к этому предостаточно собралось.

— Я действую согласно науке. Как меня учили и как работал всю свою жизнь. А наука, да будет вам известно, требует аккуратности. Я не вижу, батенька, особых срывов в разведках. Дело движется хоть не галопом, как вам бы хотелось, но стабильно. Россыпи вовремя сдаем для отработки, а что золота оказывается больше, чем я предполагаю, этому надо, братец мой, только радоваться.

— Не бреши, старый! — зло оборвал его Парфенов и встал, — ты лучше расскажи мне, темному, что за письма из Москвы получаешь и потом их в костерке жгешь да все оглядываешься? А вот любопытно... иль влюбился в ково на уклоне годов? Не хошь тайну раскрыть?

— Обычные деловые письма из союзного треста, — неуверенно ответил геолог.

— Так во-от. Я нечаянно перехватил одно из них. Надысь прибыл сюда один бойкий хлыщ, надрался спирту в китайской харчевне и бахвалился, что скоро концессия тут образуется. А письмишко по глупости стерял, когда его вытряхнули оттудова. Так-то... отдать ево тебе иль в ГПУ снести? Фамилия твоя на нем прописана.

— Отдайте немедленно! — Пушнарев поспешно надел пенсне. — Это неэтично! Читать чужие письма. Отдайте!

— Зато практично, — Парфенов отошел к двери и вынул из конверта листки бумаги, — читать иль как? Еле читаю, а тут мелко набисерено. Или поможешь мне?

— Не надо, — скис инженер, — влип я в мерзкую историю... Поверьте мне! Хочу честно работать и никаких писем больше не желаю получать. Поверьте!

— Выкладывай, — Игнатий схоронил листок в карман и сел рядом с геологом на койку, — выкладывай немедля, — он увидел, как у Пушнарева мелко затряслись руки, — ну! Я жду. И подробно, без забывчивости.

— В Москве существует группа лиц, заинтересованных в концессии приисков...

— Ясно дело. Кто им платит и чью волю исполняют?

— Группа Уркарта в Лондоне и парижская группа бывших владельцев золотых приисков.

— Так-так, дальше!

— Я был внедрен сюда с целью дискредитации работы по добыче золота силами СССР, но, поверьте, вскоре я понял, что выполнял глупейшую роль марионетки в чужих руках. Взвинчивание плана в три раза... В общем, меня принудил подписать этот документ один влиятельный человек треста.

— Кто?

— Я не доносчик. Это уж разбирайтесь сами.

— Ясно дело, Сенечкин.

— Хм, вы и это знаете, а простачком прикидываетесь.

— Так легче жить, паря. Гони дальше, мне страсть как любопытно это все слухать, прям аж колотья пошли в хребтине. Ну?

— Не погоняйте меня, и так больно... ну что ж, видимо, пришла пора расплачиваться, — раздумчиво и грустно проговорил Пушнарев и потянулся за кружкой воды.

— Ты не доносчик, старый, ты паразит на теле рабоче-крестьянского государства. Вошь тифозная, — не сдержался Игнатий, — вот сволочи! Куда залезли. А? Натерпелись мы от этих воровских концессий при Николашке, и счас неймется иностранцам обогатиться. Собирайся! Пошли!

— Куда?

— А как ты думаешь?

— К Горячеву?

— Конешно. Ты ж сам человек не глупой и должон понимать, что эту язву надобно лечить немедля, пока зараза не расползлась.

— Страшно...

— Ниче-е... Было б ишо страшней, коль все открылось бы не по твоей воле. А раз ты сам хочешь помочь Советской власти, партия и народ учтут добровольное покаяние и помилуют, ясно дело, помилуют. Не трусись хоть, тошно глядеть. Айда!

— Дайте опомниться и взглянуть на то злополучное письмо. Что они еще возжелали от меня. Дайте письмо.

— Ево не было вовсе. Ясно дело, сбрехал чуток.

— Как не было?

— Да так, — Игнатий вынул из кармана и протянул свернутые листки накладных на получение продуктов, — ты уж извини, Пушнарев, я малость тебя разыграл. Один раз видал, как ты опасливо сжег в костре свое письмо, и размыслил, что это неспроста.

— Но-о это же провокация и шантаж!

— Остынь, не духарись шибко-то. Твоя игра была куда страшней моей ребячьей шутки. Не прикидывайся. Пошли, браток, на суд божий. Пошли. Знать, так судьбе угодно.

— Идемте.

Игнатий осторожно поддерживал в темноте геолога под локоть и как ни в чем не бывало говорил о буровых и шурфовых разведках. Добравшись до здания ГПУ, Пушнарев немного успокоился. Горячев был на месте. Видимо, находилась ему и ночью работенка. Когда часовой ввел в кабинет двоих посетителей, Горячев, грызя кусок сухой колбасы, недовольно проворчал:

— Не спится вам, мне бы ваши заботы. С чем заявились?

— Да вот, — хмуро кивнул на инженера Парфенов, — после разговора с тобой решил посудачить вечерок со своим начальником. А он мне такое открыл, что волосья дыбом встали. Горячев, нескушный будет разговор, я тебя заверяю. — Но после первых слов Пушнарева Горячев жестом остановил инженера:

— Вы, Пушнарев, не бойтесь, рассказывайте все подробненько и с малейшими деталями. Раз явились с повинной. И молитесь богу, что не привели вас сюда под конвоем, а ведь совсем мало оставалось до такого дня.

Поначалу Пушнарев мямлил — медленно, сбивчиво, но потом разговорился:

— Извольте, я процитирую на память резолюцию, принятую на одном из заседаний торгово-промышленного союза в Лондоне в двадцать втором году. Она устанавливает тактику борьбы конспиративного «центра»: «Связи, устанавливающиеся между иностранными и русскими промышленниками на почве взаимных прав... создают предпосылки для разрешения вопроса о привлечении иностранного капитала в Россию».

«Центр» объединяет усилия представителей разных организаций, ведомств и учреждений, рассказал далее Пушнарев, которые готовят-

ся и содействуют скорому внедрению концессионного и частновладельческого капитала в СССР. Таким путем «центр» надеется повлиять на экономическую и политическую линии Советского правительства для того, чтобы концессионный и частновладельческий капитал мог свободно захватить все области хозяйства страны. Этой идеей заинтересовались бывшие владельцы приисков, заводов и компаний, находящиеся за границей, — это так называемая группа Уркарта. В его группу входит бывшая компания «Лензолото» и другие, находящиеся в Лондоне. Вторая — это парижская группа, ее составили бывшие владельцы Кончаровских и Березовских приисков, а также ряд мелких русских золотопромышленников. В Париже и Лондоне бывшие владельцы желают вновь взять в аренду свои промыслы. Есть особый консорциум, который берет на себя ответственность реализации русской платины. Но ставит условия, чтобы «центр» изыскал на месте капиталы для постановки разведки на платину и приобретения оборудования для рудников. Именно область цветной металлургии должна подвергнуться чрезвычайно мощному напору иностранного капитала, как наиболее важная в развитии любой страны, и особенно ее промышленности и обороны. Считают, будто создались благоприятные условия для широкого концессионирования всех отраслей и предприятий в этом направлении. С целью личного руководства по этому делу приезжал к нам господин Уркарт еще в июне двадцать первого года. Он сделал ставку на «центр», привожу его слова из выступления на общем собрании акционеров русско-азиатской корпорации: «Большинство нашего личного состава и технического и административного управления находятся на предприятиях и ждут нашего возвращения. Последняя обстановка концессионных переговоров целиком оправдала расчеты английского капитала».

Задача «центра» — это действия нашего личного состава любыми средствами подготовить возвращение промыслов их исконным владельцам, а также дальнейший захват своими людьми командных постов в советском аппарате и промышленности. Это трудно в случае успеха по ликвидации разрухи в стране, поэтому заговорщики способствуют развалу всех отраслей, заводов, рудников и фабрик, чтобы принудить Советы отчаяться и сдать их в концессию. Добиваться любым путем дискредитации самой идеи возрождения этих объектов своими силами. Первый этап работы «центра» нарекли концессионным. Для его полной реализации пропагандируется и убедительно создается общественное мнение о необходимости концессий.

Основную работу ведет клуб горных деятелей, как мозговой центр. А исполнительная линия — через определенные советские высшие учреждения, во главе которых стоят многие заговорщики. Еще раз повторяю, первый этап — это умышленный тормоз развития государственной промышленности. Усилиями «центра» срывается исполнение ее требований, заглушается возможность ее роста и препятствуется разведке источников сырья, полезных ископаемых, особенно золота и платины. Все работы ориентируются на безрезультатность, саботаж и волнения рабочих заводов из-за ложных и необоснованных решений, проводимых якобы правительством. Девиз «центра»: «Чем хуже — тем лучше!» Дескать, чем больше будет преград и срывов, пустого расхода средств в строительстве социализма, тем быстрее Советы начнут деградировать в указанном заговорщиками направлении экономически и политически. Они видят в этом единственно верный путь для смены власти в настоящее время, хотят, чтобы массы разуверились в своих вождях и заколебались. Они знают, что банки пусты, золотой запас подорван и развивать промышленность одним энтузиазмом страна не в силах.

Подвластная «центру» комиссия для определения суммы затрат на восстановление всей цветной промышленности СССР назвала предельно малую цифру — двадцать миллионов рублей. Этих денег хватит только на подготовку восстановления рудников. Они надеются, что сред-

ства иссякнут, правительство от бедности своей будет обязано продолжить работы с привлечением капитала концессии. Особенно «центр» настораживают вновь открытые Алданские прииски. По их мнению, здесь слишком успешно идут дела и проявляется возможность самостоятельной добычи золота. Приняты срочные меры, чтобы погасить этот стихийный очаг. Я назначен сюда техническим руководителем геологоразведок и был обязан в короткий срок поставить разведочные работы так, чтобы подорвать хозяйственное положение созданного треста «Алданзолото» и содействовать передаче всех без исключения приисков в концессию. Слава богу, что этого всего не случилось.

Пушнарев замолк и виновато посмотрел на Игнатия Парфенова, застывшего в глубоком раздумье.

Через несколько дней Пушнарева и Сенечкина увезли в Москву. Широко разветвленнная подпольная организация, возомнившая себя спасительницей России, будет разгромлена. Будет еще долгое следствие и суд над ее членами. Инженера Пушнарева простят, и он до конца своих дней станет трудиться в советской золотопромышленности.

А Парфенов и Егор Быков продолжали шастать по тайге и пытать новые ключи насчет «золотья». Егор отпустил бороду. На душе было радостно, ему безгранично верили: по рекомендательному письму от Балахина Горячев вызвал его и предложил работать в ГПУ. Егор все же кадровым сотрудником быть отказался, так как решил посвятить себя поиску новых россыпей. Быков был принят в члены комсомола, Артур Калмас и Якушев поручились за него.

30

Поздней осенью Егор вернулся с разведок ключа с мудреным названием Пансион. Помылся в бане, без сожаления сбрил бороду и нарядился в чистый костюм и теплую куртку из шинельного сукна. Оглядел себя в зеркальце и заспешил в недавно выстроенный Дворец труда на собрание, о котором Быкова оповестил Николай Торкунов. Егор вышагивал по улице и удивлялся множеству перемен, произошедших в Незаметном за лето: возведены школы, магазины, жилые крепкие дома в два этажа из смолистых бревен. Изжелта-красный закат полыхал на широких стеклах. На взгорке за ручьем вспыхнул и засветился электрическими огнями большой Дворец труда. На его постройку каждый приискатель добровольно отчислил пять золотников и принес бревно. Там вовсю наяривал духовой оркестр дивизиона ГПУ. Под фонарем на доске белело объявление:

ПЛЯСУНЫ И ЧАСТУШЕЧНИКИ!

Готовьтесь! 7 ноября в дни Октябрьской революции проводится конкурс на лучшего частушечника и плясуна!

Ниже еще одно:

ИЗВЕЩЕНИЕ

В воскресенье в 2 часа дня во «Дворце труда» назначается общее собрание женщин. После собрания экскурсия на драгу № 1 имени Ф. Э. Дзержинского, где устраивается вечер пролетарки.

Женорганизация.

Егор еще раз с интересом перечитал объявления, медленно поднялся по широким ступеням и вошел в открытые двери клуба. После тайги Быкову показалось, что здесь было до непривычности людно. В просторном зале на свежевыструганных деревянных скамейках сидели и переговаривались молодые парни, принаряженные девушки. Откуда-то появился Торкунов и поволок Егора в буфет.

— Айда перекусим, ясно дело, собрание будет долгое, в животе кишка кишке протокол пишет.

Егор, услышав парфеновскую присказку, усмехнулся, ведь и он сам когда-то старался походить во всем на опытного приискателя. Друзья

съели пирог с тайменем, выпили брусничного морса, а потом еле отыскали свободные места в переполненном зале. Егор поразился, сколько натекло в Незаметный его сверстников.

Комсомольский секретарь Бакшаев сделал доклад по международному вопросу, текущим делам и охвату союзной работой всех приисков, потом один за другим решительно лезли на трибуну выступающие, сбивчиво, но горячо призывая рушить пережитки прошлого и кавалерийской лавой идти в атаку на мировой империализм. Прения затянулись. А в конце комсомольцы постановили:

1. Организовать ячейку воинствующих безбожников, отказаться праздновать пасху и прочие религиозные праздники. В эти дни выходить на работу без дополнительной компенсации. Объявить день 2 мая комсомольской пасхой.

2. Ко дню 18 марта всем комсомольцам поголовно стать членами Международной Организации Помощи Борцам Революции, ибо МОПР является красным тылом Мирового Октября, собирателем широких масс, воспитывает в духе революционной борьбы, создавая новые силы для пролетарского авангарда.

3. Вырвать с корнем пьянство на Алдане и в самой действенной форме поставить вопрос о форсированном развертывании хозяйственных работ на добыче золота против отсталого преобладания старательского труда, примитивного и налагающего позорный отпечаток на все стороны жизни молодежи. Исключительная текучесть старательской массы, тяжелые условия работы и высокая себестоимость добываемого старателями золота хищническими способами должна сменяться на рачительную и научную госдобычу.

Егору запомнилось последнее выступление активной женделегатки, товарища Гусевской. Из первых рядов поднялась статная, красивая девушка с золотой косой через плечо. Она степенно поднялась на сцену и мягким певучим голосом стала говорить:

— Товарищи! Женщин на прииске становится все больше, но к ним нету настоящего внимания. Начну с безобразного отношения к гигиене. Хозяин частной бани Уденко совсем не соблюдает очередь. Когда в ожидании стоят несколько десятков женщин, Уденко нагло проводит в баню жен начальников и людей с «положением», а также своих знакомых. Когда женщины еще моются, банщик заходит без всякой надобности и предупреждения, под предлогом поглядеть воду в котлах, и шатается там, невзирая на крики и протесты моющихся. Надо призвать его к порядку или закрыть позорную баню. Мужчины ищут политграмоту в спирте, вместо того чтобы посещать курсы ликбеза. Грамотность среди населения поголовно низкая. Товарищ Луначарский нам указал, что грамотность есть революционный меч против темных сил!

Медпунктом на Незаметном командует лекпом Берестов, на него куча жалоб с первого дня деятельности. Он пристроил сиделкой свою знакомую хитрушку Васину, которая активно помогает ему расхищать народное достояние, увлекается развратом среди больных. А они задыхаются от зловоний, уборная от медпункта далеко, и больным нет возможности ходить туда по причине отсутствия халатов и обуви, люди бегают на парашу в чулане. Кроме этого, Берестов делал оскорбительные предложения комсомолке, работнице лекпункта Малышевой, даже писал ей любовные буржуйские записки. Когда Малышева дала ему от ворот поворот, он ее выгнал с работы. А надо немедля выгнать самого гада.

На почве того же Эроса, греческого бога разврата, комсомолка Сенина Варя сдала свой билет. Ей, видите ли, не понравилось, что честные ребята обвинили ее в половой распущенности и неправильной трате бюджета у шинкарок. Поступают зловещие сигналы относительно быта молодежи. Уже докатились до того, что рядовые пионеры заводят альбомы со страстными стишками. А ведь подрастающее поколение — это наши будущие строители социализма.

Радует, что собрание старателей артели на Орочене постановило не ругаться. Мат глубоко укоренился в наш быт, и выдрать его трудно,

Мужчины считают, что когда выматеришься, сразу станет легче работать. Женщины решительно протестуют против мата, пережитка гнилого капитала! Изживем мат из нашей среды!

Егор с любопытством глядел на девушку. Толкнул локтем рядом сидящего Кольку, прошептал ему на ухо:

— Кто это?

— Тонька-то? Тю-ю-ю... — неожиданно громко ответил Торкунов,— кто ж ие не знает! Только не пяль глаза попусту, по морде в лучшем разе схлопочешь. Это же зверь в юбке. От нее отступились ухажеры куда бойчей тебя.

— Поглядим, — неопределенно отозвался Егор и опять стал слушать.

— На фронте рабочей сознательности прорыв. Слышится очень трескотня, но мало ведется дел. Хозпрофаппарат частенько не замечает живых людей. Где общее обсуждение промфинплана? Знают ли о нем массы? Доведен ли он до прииска, забоя, артели? Нужно улучшить делопроизводство, в коем ногу сломаешь, следует изучать действенным образом запросы потребителей, знать, отчего хромает труддисциплина, и ликвидировать недостатки в этом деле. Мы не различаем зародыши классовых болезней, украсили их внешней парадностью, замели сор в углы, вместо того чтобы вымести его из избы, и вот он теперь прет из всех щелей и отравляет рабочий организм.

Изживем спекулятивную отрыжку, демагогию и пьянство, этих давнишних наших классовых врагов на культурном фронте и производстве! Ударим ураганным огнем самокритики по недостаткам нашей работы!

Колька Торкунов повернулся к Егору и радостно ощерился:

— Видал? От чешет, аш завидки берут! Бой-баба, решительный и стойкий товарищ, иным мужикам в упрек.

— Колька, познакомишь меня с ней, — неожиданно вырвалось у Егора.

— Тю-ю-у! Хоть прямо счас. Токма попусту. Охладелая она до ужасти по части нашева брата, как кремень, твердая. Не выйдет.

— Не выйдет так не выйдет. Понравилась она мне. Познакомь.

После собрания начались танцы под духовой оркестр.

Тоня о чем-то говорила с Бакшаевым, когда к ней подошли двое ребят.

— Тоня, вот мой товарищ... Быков Егор. Он хочет с тобой познакомиться. Парень хваткий, работает вольным старателем по разведке россыпей, — зачастил Торкунов.

Тоне вдруг показалось, что она знает этого парня давным-давно... Волнистый, с легкой кучерявинкой чуб был аккуратно зачесан назад, открывая просторный лоб с вертикальной складкой в переносье. Сквозь загар пробивался здоровый румянец, костюм тесно облегал широченные плечи.

— Что ж, товарищ, — проговорила она и почуяла непонятную растерянность перед этим человеком, — рада была познакомиться. Иди пляши, вон девушки заждались.

— Благодарствую. Я не умею.

— Я тоже, — вдруг улыбнулась она, — не умею, и все. Даже неудобно иной раз.

— Тогда давай пройдемся, — рискнул Егор.

— Да? Только без этих самых... я не терплю приставаний.

— Хорошо, — просто согласился Егор и зверски глянул на Торкунова, пытавшегося влезть в разговор.

Колька понял и с открытым ртом шарахнулся в сторону. Недоуменно выставился на уходящую в темень пару. Чтобы Тонька да пошла с кем-то? Этого он не помнил.

...Плыл по небу месяц, а рядом с Егором плыла холодная и недоступная девушка. Тоня была задумчива, зябко потирала ладошки. Они миновали прииск, забрались на гору, где недавно была установлена радиовышка. Егор скинул с плеч куртку, положил ее на пружинящий мох и уверенно проговорил:

— Давай посидим, Тоня. Вид уж больно разительный отсюда, нет охоты уходить.

Она насторожилась, напряглась, хотела было воспротивиться, но неожиданно для себя смирилась, села и устало вздохнула, вытянув перед собой набитые за день ноги.

— Набегалась нынче, страсть! А вид и впрямь ничего. Как у нас на Лене, взором не охватишь.

Егор примостился рядом, взял ее дрогнувшую руку и осторожно погладил.

— Бедная ты моя, видать, не сладко тащить мужицкую долю. А говорила ты сильно на собрании, я аж подпрыгивал на скамье.

— Лишь бы не попусту. Много еще надо бороться с пережитками, ох много-о. Хребтина уж трещит. Не надорваться бы...

Егор, упрежденный Торкуновым, не решался ее обнять, хотя и подмывало невозможно как. Терпел. Сидели долго, месяц уже влез на зенит, а им не хотелось вставать.

— Ну пошли, — дернулась она, — мне завтра с рассветом на службу.

Егор положил тяжелую руку на ее плечо и остановился.

— Погоди. Мне хорошо с тобой, — и прижался губами к ее сжатым губам.

Тоня сильным рывком хотела освободиться, но почувствовала свою беспомощность и затихла. Закрыла глаза... Когда перевела дух, снуло проговорила:

— Что ж ты делаешь? Не дай бог кто увидит. Я не разрешала тебе так поступать со мной. Ведь обещал же...

— Приворожила ты меня, Тонюша, вот как увидел на сцене, и башка напрочь. Нравишься ты мне.

— Опомнись! Я многим нравлюсь, так что же, со всеми целоваться? — И опять горячие мужские губи смирили ее сбивчивые слова.

Она все еще силилась оттолкнуть Егора, выгибала спину, отбрасывала его руки, расстегнувшие кожанку. И... неожиданно перестала сопротивляться. Обняла Быкова за шею, придушенно всхлипнув. Уже в горячечном, мутном забытье сама целовала его лицо...

...В ошалелых зрачках Тони осуждающе качал головой желтый месяц, и волна стыда взметнула ее, она стремительно вскочила и будто нехотя, как сраженная наповал пулей, упала поперек его груди в отчаянном рыде. Молотила кулаками по земле, запоздало каялась в страшном смятении.

— На кой дьявол я пошла с тобой! Громила девок за распутство, а сама такая же...

Егор обнял ее, успокаивая, гладил омытое слезами лицо.

Встревоженно перемигивались мерклые звезды, Тоня отрешенно глядела на них. Переполнена до краев ее душа утешением и покоем. Она и не подозревала в себе таившейся до этой ночи буйной страстности, вдруг смявшей все ее страхи. Едва внятно прошептала:

— Что же мне теперь делать, дурак ты эдакий, а, как я теперь людям в глаза гляну... не шалава ли?

— Тоня, я ить не со злым умыслом. Давай поженимся. Кроме тебя мне никто не нужен.

— А может, и впрямь? Может, ты и не дурень, что так сразу меня укротил? Может, я ждала такого... поженимся... А может, и вправду обжениться...

— Вот и ладно, — Егор опять поцеловал ее, — вот и хорошо. Я тебя буду любить, никому не отдам! Вот счастье-то подвалило, такая ты... хорошая.

— Ты мне понравился сразу, Егор. Прямо колыхнулось в голове: «Он!» Как знала, что так обернется. Надо же... непутевая я и простая баба, а корчила из себя... Не сомневайся, без оглядки пойду за тебя. Такая уж, видать, извечная бабья долюшка. Враз ты мне стал ближе всех на свете. Какая же я, оказывается, безумная. Вовсе не грезилось раньше.

Гулевой ветерок прошелестел в стланиках и нахально заголил подол юбки на ее коленях. Тоня вздрогнула, оправила подол и уж совсем потерянно прижалась головой к груди Егора.

— И откуда ты такой взялся, прыткий?

— Знать, есть какая-то сила посильнее нас, может, судьба, а скорее всего, мы давно искали друг друга и нашли. Боясь потеряться, наши с тобой души и соединились. Была у меня девушка и погибла... Марико... Что ж теперь...

— А у меня Митю белые казнили, — отозвалась Тоня, — видимо, одиночество нас и свело...

Спускались в темень к поселку, взявшись за руки и так крепко прижавшись друг к другу, что казалось, будто у них одно сердце.

Егор остановился и ошалело крикнул:

— То-о-оня-а!

— Тише ты! Оглашенный, прииск побудишь...

— Тоня! Пошли сейчас ко мне, покажу тебя Игнатию Парфенову, а завтра же сыграем свадьбу, не могу терпеть, не хочу ждать, милая ты моя... Тоня...

— Неловко ночью-то...

— Ловко! — Он подхватил ее на руки и закружился.

Игнатий и Колька давно спали. Гостей встретили с удивлением, ошалевший Колька засуетился, не зная, куда и усадить. Парфенов наконец очухался, плеснув на лицо из рукомойника, и уселся за стол. Ухмыльнулся в бороду:

— Ну, Егор, слава богу! Знаю... че счас скажешь, по тебе видать. Таку девку отхватил, что и у меня, старого, немота пошла в костях.

— Раз знаешь, — весело проговорил Егор, — то и поможешь дом срубить и свадьбу отгулять.

— Мило дело... враз возведем артелькой хучь дворец царский. Ах, Егор, ну цветешь, как барышня. Колька! Ставь чай, отпразднуем сватовство. Ты-то, девка, откель сама родом?

— Из Бучуга, с Лены...

— Как же, знаю, бывал и там не единожды. Гляди, ево не стеряй, Егорку-то. Боле такой не подвернется в жизни. Дело гутарю, не сплошай.

Колька вмерз посредине избы с чайником в руках, забыв по какой надобности его взял.

— Че зенки вылупил? — вернул к действительности парнишку голос Игнатия, — ставь чай! — Обернулся к Тоне: — Егор тебя в обиду не даст, положись на мои слова.

— Я его сама обижать не дозволю...

Пока Торкунов разжигал печку и ждал, когда закипит чайник, Игнатий вызнал у Тони все. Он глядел на молодых и думал о том, что подвалило Егору настоящее счастье, редкий семейный фарт, который выпадает не каждому. Парфенов завидовал их юности: они были чем-то похожи друг на друга, а, по старым приметам, это предвещало крепкую семью и здоровое потомство. Увидев в ее волосах отжившую хво-

инку стланика, покачал головой: «Ай да казак, ну чисто я в молодости... все галопом».

Тоня освоилась, порезала проворно мясо и хлеб, помыла чашки и даже подмела в избе.

Колька, забившись в угол на нары, размышлял: «Вот и пойми этих мудреных баб! Как лихо перерождаются! Вот это отчудил Егор! Раз — и в дамках». Даже обида нашла за такую простоту, словно обокрали его средь бела дня.

Игнатий разлил чай по кружкам и встал.

— Благословляю вас, ребята. Живите миром, дай-то бог!

31

Хмуро взирала поднебесная гора Шаман на перемены, происходящие в тайге. Несчетные дымы костров поднимались из распадков и ключей. Полчищами торопливых муравьев копошились люди у ее подножья, пронзали иглами буров и шурфовыми колодцами досель нетронутую вековечную стынь земли. Совсем позабыл старый ворон Эйнэ ее, перестал камлать на южном склоне, у священного дерева с навязанными на ветках лоскутками. Откочевал он от реки Алдан к реке Аллах-Юнь.

Седоголовая от снегов, Шаман-гора пускала по морщинам своих расщелин светлые ручьи, словно плакала их голосами о своей безутешной старости.

Из Незаметного ей откликалась урчаньем и громом уже вторая драга. Высились громоздкие промывочные кулибины, к ним бесконечной вереницей везли лошади на таратайках из открытых разрезов золотоносные пески. Разворачивались новые шахты, прииски, строились поселки. Шли пароходы по расчищенному от валунов фарватеру Алдана.

Между приисками уже налажена телефонная связь. Разведочные экспедиции осваивали новые пространства. Золотопромышленность Якутии добилась союзного значения. Из-за передачи Ленских приисков в концессию Алдан стал единственным в стране государственным трестом, решительно опровергнув действия и расчеты иностранных концессий об их влиянии на валютную самостоятельность СССР. В июне 1927 года СНК СССР организовал «Союззолото», руководящий орган всей золотой промышленности страны. Партия и Советское правительство отводили большую роль возрождению отечественной золотопромышленности, нацеливая ее на механизацию горных работ и увеличение добычи металла.

На приисках Алдана всенародно обсуждались решения треста. Размер «положения» — налогового отчисления все сокращался и наконец был отменен. Артель, открывшая новую россыпь, поощрялась выбором лучшей деляны на ней и вознаграждалась премией. Только на подготовительные работы, на помощь артелям трест затрачивал свыше миллиона рублей в год. Это все в корне меняло былое представление о старательстве. Артель, попавшаяся на утайке золота или продаже его частникам, немедленно расформировывалась. Усилился контроль горного надзора при съемке металла. Для «вольного» золота были организованы золотоскупки, на выдаваемые ими боны стало возможным купить в специальных магазинах самые дефицитные товары и продукты. В начале двадцать восьмого года были наконец прикрыты частные ювелирные мастерские. Все это позволило увеличить добычу золота в два раза.

На Алдане успешно работали экспедиции, возглавляемые видными геологами: Зверевым, Билибиным. В двадцать седьмом году экспедиция Билибина из восьми партий двинулась широким охватом на северо-восток от Незаметного, обследовав за сезон десятки тысяч квадрат-

ных верст и выявив новые золотоносные ключи. Границы влияний треста расширялись с каждым днем. В поселке Нагорном создано приисковое управление на местах работ бывшей Верхне-Амурской компании. Экспедиция Обручева в поисках платины открыла золото на Индигирке, а чуть позже экспедиция Билибина нащупала Верхне-Колымский золотой узел. Все нити к этим разведкам тянулись из Алдана, как от первой искры, оброненной Бергиным и разлетевшейся по якутской тайге золотым пожаром.

Наутро после свадьбы Егор нашел на столе записку:

«Пожалела будить, бегу на работу, приготовить не успела, приходи на обед в китайскую харчевню «Читинская», буду ждать в час. Тоня».

Он перекусил медвежьей солониной и опять прилег отдыхать. Игнатий отпустил его с шурфовки на трое суток.

К часу дня Егор подошел к харчевне. Из дверей наносило аппетитным духом жареного мяса и лука, кушанья готовить китайцы были великие мастера. Это он помнил еще по Харбину. Тоня явилась раскрасневшаяся, веселая. Егор не стерпел и чмокнул ее в нахолодавшую щеку, обходительно пропустил Тоню вперед себя, и они уселись за маленький столик. Хозяин столовой явился сам, раскланялся, принял заказ и исчез на кухне. Егор неторопливо оглядывал небольшой зал и вдруг наткнулся на пронизывающий взгляд человека, сидящего у двери. Егор вздрогнул, угадав в нем одного из учеников Кацумато. Они даже не один раз сходились в поединках. Это был наиболее сильный и верткий противник. Человек заторопился уходить, и Егор, жестом остановив щебет жены, метнулся к японцу, тот опрокинул под ноги Егора стол, но Быков в прыжке перелетел через него, и началось нечто невообразимое для Тони. Она, словно парализованная, застыла на своем месте. Замелькали ноги и руки — летели кувырком столы. Из подсобки выскочил еще какой-то человек с огромным разделочным ножом и кинулся к дерущимся, но тут же охнул и осел кулем, судорожно царапая пальцами грязный пол. Егор теснил противника от двери, норовя скрутить его, но тут опомнилась и дико закричала Тоня. Быков на мгновение отвлекся, и японец успел ударить его, а сам кувыркнулся по полу, поднял нож и, что-то гортанно выкрикнув, вспорол себе живот до самой груди. Медленно и сонно сполз спиной по стенке, придерживая руками выпирающие синевато-розовые внутренности. Блеклыми глазами все пялился на Егора, оскалив в страшной судороге рот.

Тоня, увидев эти глаза, опять завопила и кинулась к мужу. Левая рука Егора висела плетью, последний удар противник пытался нанести в сердце, но промазал.

— Не ори ты! — вдруг грубо осадил ее Быков. — Прости... Беги к Горячеву, пусть немедля сюда идет. Я знаю: тут в подполе у них опиумокурильня и в «банчок» там дуются, может, еще кто остался, я покараулю, — болезненно сморщился, качнув занемевшей рукой. — Че стоишь, беги.

— Я не оставлю тебя тут, убьют!

— Сказано, беги. Отмахаюсь, — натужно улыбнулся он. — Извини, что так вышло. Я не мог иначе, это враги.

— Враги, здесь?

— А где же им быть, как не у золота.

— Я сейчас, Егор, миленький, только больше не дерись, я мигом.

— Ладно, больше не буду, — совсем повеселел он.

Горячев явился минут через пять с десятком бойцов. Толстый хозяин что-то жалостливо лепетал по-китайски. Горячев сдернул фуражку с головы и вытер взмокший лоб.

— Так и знал! Мы только прицелились к ним, а тут два трупа.

Красноармейцы тем временем выволокли из подвала еще двух окурившихся опиума приискателей.

— Я же хотел как лучше, пытался взять японца живьем, но он отбивался, сволочь, — хмуро оправдывался Егор.

— Сейчас дуй к нашему врачу, пусть глянет, что у тебя с рукой, а я тут бумажками займусь. Знаешь что, Быков, приходи-ка к нам, подучишь молодое пополнение драться. Пригнали молодняк, понимаешь. Сопляки сплошь.

32

Пока Егор летом работал в экспедиции, в Незаметном произошло много событий... Тоне подоспело время рожать.

Однажды Тоня с вечера почувствовала неладное, долго не могла уснуть, боли в пояснице не давали покоя, и только было придремнула, как ее пробудил хрипастый петушиный крик. Спросонья она подумала, что приблазнилось, откуда взяться на прииске куриному ухажеру, ему старатели и расплодившиеся собаки враз укорот дадут, но тут опять антихристом, да с переливами, истошно завопил кочет. Тоня уже перекрестилась в забывчивости, опомнившись, толкнула локтем рядом спящую подружку, ту самую сиделку Малышеву, которой лекпом писал буржуйские любовные записки и был снят с работы после выступления Тони на комсомольском собрании. На его место приехал из Иркутска опытный врач, который делал сложные операции и в выражениях мало отличался от приискателей, здоровенный рыжий мужик. Тоня еще раз толкнула Стешку и недоверчиво промолвила:

— Ты поглянь! Петух орет иль я умом тронулась?

— Пущай орет, — сладко потянулась Стеша.

— Да ты послушай!

— Счас, счас, — она почмокала губами и залезла с головой под одеяло, приноравливаясь уснуть.

— Ну и дрыхнешь ты, — завистливо проворчала Тоня и опустила ноги на холодный пол.

Хотела встать, но тут что-то ворохнулось в ней и осадило на кровать. Остудной волной полыхнула боль.

— Степанида, Стешка! Проснись же!

— Че! — вскинулась девка, разлепляя глаза.

— Кажись, приспело... ой, мамоньки! Ой, Стенька-а...

— Счас, счас. Я мигом за врачом, Петр Николаичем, мигом.

— М-м-м... не вздумай. Какую-нибудь бабку ищи. Моисеиху зови... стыдно с чужим мужиком при таком деле. Ой, больно, Стеша-а-а!

Но ей отозвалась только прихлопнутая дверь парфеновской избенки. Тоня лихорадочно нащупала спички и зажгла лампу. Под исподней рубахой тугим клубком шевелился уродливо вспухший живот. Истошный вой оглушил шагнувшего через порог бородатого врача.

— А-атставить! Ты что, не знаешь, что сейчас бабы уже не кричат? Постановление вышло... Эко тебя раздирает, товарищ Гусевская, — уже спокойно обронил Петр Николаевич. Доктор начал не спеша полоскать руки, взвякивая стержнем умывальника, — небось, когда милуетесь, не страшно, а счас воете. Да норовите пожалобней взять... эх-ха-ха.

— Стешка-а,— промычала Тоня,— прогони этого охальника, чтоб не измывался. Не то счас встану. Я тебя за кем послала? — еле слышно просипела она, кусая губы, пытаясь залезть под одеяло и схорониться от срама.

— Я те встану! Отпрыгалась, девка,— рванул подол рубахи врач, заголяя живот.

Тоня дернулась, с потугой влезла спиной на подушку, бешено сверкая глазами и ловя его руки.

— Уйди! Нет у тебя правов касаться меня.

— Есть, матушка, есть. Степанида! Придержи эту недотепу, ибо я счас начну матюкаться на чем свет стоит. Да я на ваши «кормилицы» нагляделся до ряби в глазах, такую оскомину набил, что жениться доселе не могу. Не интересно. Не ты первая, не ты последняя. Дура! Подохнуть хочешь? Сдыхай, а дитя губить не дозволю, по закону Гиппократа. А ну! Сползи вниз и убери свои лапки, не то счас свяжу. Расслабься... вот та-ак. Воды уже отошли, счас мы тебя, товарищ Гусевская, из активистки произведем в наипервейшие мамаши. Мило дело! Благодарить еще будешь и в ножки кланяться. Это сперва страшно, а потом, при твоей бабьей стати, зачнешь детей катать как курочка яички. Вот та-а-ак...

Стеша испуганно жалась к столу, расширенными от ужаса глазами следила за клещатыми ручищами врача. Им бы в кузнице наворачивать пудовой кувалдой. Он говорил ласковые слова ополоумевшей Тоне, а потом как-то разом рявкнул с нею вместе и поднял вяло шевелящееся дитя.

— Есть один! Степанида! Прими, мне некогда, там еще один активист понужает. Ты глянь! Этот куда бойчей, угребается руками, как моряк.

Сдвоенно шибанул в уши забывшейся роженице крик младенцев. Она открыла глаза, сквозь слезливую мглу увидела в свете лампы на руках у Стешки и врача два темно-розовых комочка. Благим матом опять заорал петух.

— Ну, Тонька! — ворковал бородач, умело вытирая чистым рушником детей. — Перестарались вы с мужем. Оттого двойной приплод организовался. Да как по заказу, парень и девка. Ну вражина! Эт уметь надо же так угадать.

— Дак что? Двойня? — невнятно прошептала она черствыми покусанными губами.

— Хо-хо-хо! Стешка, мамаша глазам своим не верит. А коль еще так лихо станешь баловать с мужиком, и от тройни не гарантирую, — залился смехом врач, задрав свою бороду, — ой, уморила-а! Хо-о, хо-хо-хо-о.

Следом зашлась рыдающим смехом Стешка, а потом уж дернулись в слабой улыбке губы матери.

За стеной избы сатанел петух на возбудителей спокойствия в своих не в меру огромных владениях. С этой ночи прищемила нужда беспокойную Гусевскую отдалиться от горячки культпросветработы. Загубил окаянный старатель активную женделегатку и по недоразумению своему в вопросе текущего момента сотворил из нее детную бабу на радость гидре мирового капитала. А может, и на горе.

Но вот когда все отболело и настала пора радоваться, на Тоню накатила какая-то сухая злоба по отношению к еще вчера желанному Егору, бросившему ее одну в таком положении и скитавшемуся невесть где.

Потом так же внезапно с еще большей силой обуяла ее глубокая любовь к мужу и детям, к их нежному молочному запаху, к заспанным мордашкам. Они и глазки-то открывали лишь когда жадно сосали грудь, растопыривая маленькие пальчики, от прикосновения которых мать испытывала небывалое наслаждение. Ребята оказались на удивление спокойными, совсем не ревели, даже пугали ее этим. Ей все еще не верилось, что это она, Антошка Гусевская, явила на белый свет такое великое чудо.

Она отчетливо помнила себя в последние месяцы перед их рождением. Свою дурноту лица, его водянистую отечность и кирпичные пятна по щекам, свои ощущения в ожидании последнего дня. Она уже тог-

да жила не для себя, а для них. Лихорадочно и неумело кроила распашонки, какие-то несуразные штанишки, все это без конца перебирала, вздыхала и опять шила, словно намеревалась одеть целый детский приют.

И тут ей захотелось похвалиться детьми, вот, мол, глядите! И порадуйтесь! Через две недели она запеленала детишек, перекинула сутунками через обе руки и понесла в окружком. Шла осторожно, огибая ямы, еще более покрасивевшее лицо излучало заботливый восторг. Ловила взгляды встречных людей и видела в них понимание, безукорную шутливость, доброе удивление.

С обеда работа окружкома была сорвана. Все собрались в ее кабинете, тормошили спокойных детишек, открывали их и опять пеленали, тащили из магазина подарки, а к вечеру все переругались, выбирая близняшкам имена. Какие только не выносили на обсуждение! Но тут же отвергали, предлагали новые. Уборщица, та самая дородная Моисеиха, приволокла от своего деда святцы и сунулась было с ними к счастливой от такого внимания мамаше, но была вынуждена ретироваться от мгновенно сплотившихся в негодующем крике «воинствующих безбожников». Наконец Бакшаев выдвинул на голосование свое предложение:

— Товарищи! Ввиду того, что комсомольская семья выросла в два раза, пополнилась членами будущего социалистического общества, дети не могут иметь аполитичные имена, потому что являются продолжателями революции. Я предлагаю назвать Тониного сына — Рево, а дочь — Люция. Революция! Кто «за», прошу голосовать. Так, принято единогласно. Все! Вопрос дня закрыт. Быковы Рево и Люция с пеленок усвоят идейную убежденность рабочего класса и станут достойными гражданами нашего государства. Митинг закрывается, комсомольское крещение считаю законченным. Без святцев разобрались. А заместо поповских крестиков вручаю им от имени окружкома красноармейские звездочки как пропуск в новую жизнь.

Он достал из кармана две красные эмалевые зведочки и приколол их на тугие свертки, которые лежали посреди Тониного стола.

Тоня отозвала в коридор Бакшаева.

— Вот что, секретарь. Без работы прокисать я не могу. Дай какую-нибудь бумажную работенку на дом, пока твои крестники не зачнут бегать ножками.

— Что я тебе могу дать? Только сюда с ними не являйся, сорвешь работу окружкома. Ты глянь, как все ополоумели, особенно женщины. Так что сиди дома, вот закончим строительство детсадика, и тогда милости прошу к нашему шалашу.

— Товарищ Бакшаев, я не намерена с тобой играть в бирюльки и прошу немедля решить вопрос. Или каждый день буду тебя осаждать с ними вместе. Не отступлюсь.

— Ты не отступишься, — усмехнулся секретарь, — ох, Тоня, что же тебе поручить посильное. — Он задумался. — Вот что, смонтирована типография. Через недельку выйдет долгожданный номер газеты «Алданский рабочий». Мобилизую тебя на скорейший подбор заметок. Можешь посиживать дома, я буду направлять к тебе рабкоров, а ты готовь материалы к печати. Сойдет?

— Сгодится. Только дома я не шибко усижу, уже договорилась с Моисеихой, она приглядит за детьми, когда отлучусь.

— Не сидится же тебе. Да, вот что, Торкунов запурхался с отчетом по политпросвету и охвату культработой, забирай его с бумагами вместе домой и помоги.

Колька такому мероприятию обрадовался, давно уже приударял за Стешей Малышевой, появился повод побыть с ней целый вечер вместе. Когда отчет закончили, Стеша ушла его провожать и долго не возвращалась. Наконец влетела в избенку, как сумасшедшая.

— Ой, Тонька, как хорошо на улице, такая лунная ночь, а ты сидишь взаперти, — она обняла подругу за плечи, и Тоня почуяла торопливый стук ее сердца.

— Задушишь, отвяжись. Небось нацеловалась с Колькой досыта?

— Ну тебя! — Стеша зарделась и отвела глаза.

— Да я же без укора. Дело молодое.

— Зовет он меня замуж, не знаю, что и делать. Страшно ведь! Тоня, присоветуй...

— А чего бояться? Раз зовет, иди, если любишь. Парень самостоятельный и работящий. Я вот как ни боялась, а очутилась в женах.

— Так в армию его забирают.

— Кольку?!

— Ну да, я ему сама говорю, давай распишемся до призыва, но он потом засомневался. Мол, подождем до возвращения, на КВЖД неспокойно, не дай бог бои будут, станешь, мол, потом вдовицей молодой.

— Молодец! Жалеет тебя. Завидую я тебе, Стеша, все у тебя только начинается, а у меня трах, бах и свадьба. И где же мой непуть шляется, неужто забыл меня и прилабунился к какой-нибудь бабе?

— Не оговаривай, что ты! Он так любит тебя, Тоня. Скоро прибежит. Егор твой куда видней моего, я прям в него влюбленная, — скосила усмешливые глаза на подругу.

— Ты, девка, не шути, — построжела Тоня и подозрительно оглядела Стешу, — не то враз прогоню от себя, не погляжу, что подруга. И глазки не вздумай строить. Гляди...

— Да не ревнуй ты, поддразнила я тебя. Колька мой намного лучше. Бойчей на слово.

— Прямо уж! До моего Егорушки ему не достать. Вот расхвалились мужиками! — засмеялась она и накрест обхватила Стешку сильными руками, — мой-то как обнимет, и дух не перевести. Соскучилась я по нему, прямо сил нет. Оттого и злюсь. Больше никуда от себя не отпущу, ни на шаг.

— Отпустишь, куда ты денешься. Мой дед говорил, что собаку и мужика надо изредка отпускать погулять, тогда они свой дом шибче ценят. Я своего мужа не буду сдерживать, где бы ни гулял, а лучше меня не сыщет. А если найдет, значит, я маху дала, не баба.

33

Утренняя звезда Чолбон* медленно гасла над прииском. На востоке словно взлетел якутский стерх — каталык**. Солнце бесшумно распахнуло крылья, взмахнуло перьями своих лучей над тайгой и гольцами, вознесло день.

Егор спешил на занятия в горный техникум, в который сразу поступил после возвращения из Учурской экспедиции инженера Бризанта.

Вечером Быков попал на комсомольское собрание прииска. Опять разгоряченная, кажущаяся чужой и недоступной для Егора, его жена Тоня неистово громила всех подряд, невзирая на должности критикуемых:

— В начале лета мы проведем межприисковый слет групп «легкой кавалерии». В самый решительный момент начала золотодобычи соберутся во Дворце труда «кавалеристы» подсчитать свои трофеи в борьбе против лодырей, вредителей и бюрократов, засевших в канцеляриях госаппарата, сующих палки в колеса социалистического строительства. Копья «кавалеристов» не должны тупиться, они должны быть

* Чолбон — Венера (якут.).
** Каталык — журавль-стерх (якут.).

готовыми к новым боям. Кончится чистка госаппарата, железной метлой мы выметем мусор, гниющий по углам, обволакивающий в бюрократическую паутину и заскорузлую скорлупу бумажной волокиты инициативу, творчество и революционный размах рабочих масс... Но даже самая тщательная чистка не избавит нас от аппаратного мусора, чуждого и вредного. Бюрократы, лодыри и тайные враги вновь станут высовывать свои змеиные головы, шипеть и плеваться ядом, умышленно будут мешать нам работать на воздвигнутых лесах социалистической стройки. Классовый враг, выброшенный из теплых кабинетов, вновь будет ползти в них через любые щели с целью подорвать изнутри наше общее дело, надев для отвода глаз искусственные маски стопроцентных пролетариев... Служащий Амотдела милиционер Игнатенко — страстный любитель «зеленого змия» и затаившихся от высылки в жилые места хитрушек. Танцует пьяный по ночам у шинкарок, вместо того чтобы привлечь их к суду за подпольную торговлю спиртом. Продавец мясной лавки Васильев лучшие куски мяса прячет для знакомых и людей с «положением», а рабочим остаются рожки да ножки и голые ребра, которые они метко зовут абажурами. Механик выписал бочку спирта для строящейся Селигдарской электростанции, якобы для моторов, ее тут же растащили кто чем мог, и два дня никто не работал. Стройка важной электростанции должна быть закончена в этом году. Нужен строжайший пролетарский контроль за выполнением графика монтажа. Строительство движется чрезвычайно плохо, сменилось больше десятка начальников, а толку нет. Мы не должны оставаться в стороне и обязаны мобилизовать туда лучшие силы комсомола.

Все наши достижения и недостатки, всю работу — на смотр, на критику, на проверку масс! Братский привет томящимся в застенках узникам империализма от Алданской комсомолии! Беспощадная борьба правым и троцкистским ликвидаторам!

Тоня после каждого лозунга яростно махала сжатым кулаком, словно в нем была зажата шашка, разящая врага.

Какой-то незнакомый парень разборчиво сказал соседу:

— И как ее мужик не боится? Это же чистая сатана в женском обличье!

— Говорят, поколачивает она мужика-то. В прошлом году, кажись, даже руку переломала. Не-е-е... С такой бабой спать страшно. Зарубит топором и не моргнет.

— Да ну?! Неужто руку сломала? Вот это дури у бабы!

Одна из тщательно продуманных вредительских акций на Алдане — выбор места для строительства Селигдарской электростанции. Только в самый разгар промывочного сезона стала очевидна допущенная оплошность. Ударно смонтированные Недзвецким две плавающие «золотые» фабрики-электродраги простояли без энергии почти весь сезон, недодав многие пуды металла. Станцию пришлось вновь перестраивать, а потом кончились поблизости дрова. Запас их, согласно проекту, должен был обеспечить СЭС в течение двадцати лет, а кончился в год.

Станция обошлась в два миллиона рублей. Котлован умышленно вырыли на стыке таликов и мерзлоты, что грозило обвалом и осадкой, но никто тогда не придал значения выбору места. Строительство велось по карандашным эскизам, набросанным тут же, без планов и чертежей. Сменилось пятнадцать руководителей строительства. Локомобиль Вольфа доставили с разбитым генератором, с погнутыми кувалдой катушками, его долго искали в Саныяхтахе, а привезли совсем с другой стороны, из Невера. Для починки израсходовано свыше четырех тысяч рублей плюс тысяча долларов на заграничные части. Монтаж консультировали иностранные инженеры Майер Стрижевский и Джек Робертс.

Люди жили в землянках и палатках, над котлованом натянули

сплошной брезент от морозов, установили печи. Не хватало квалифицированных специалистов. Первый агрегат собирали полгода из-за утери в дороге многих деталей.

Наконец все готово, электростанция подключена к драге № 3, вывешены флаги и лозунги. На торжественное собрание, посвященное пуску самой мощной в Якутии электростанции, собрался празднично одетый народ, заиграл духовой оркестр. Но агрегат № 1 в первую же минуту потерпел серьезную аварию. Задрало и разбило поршень. Вскоре под топками сгорают деревянные ряжи, залитые известью, устроенные вместо надежного бетонного фундамента. Это угрожает обвалом пода зольника. От осадки перекосило машины. Начали повторное бурение и на глубине трех метров под основанием станции бур провалился в толщу жидкой глины. Оказалось, что оба агрегата плавают на болоте, первоначальное бурение было остановлено как по заказу перед его границей. Начинать все снова и переносить машины в другое место никто бы не позволил, нашли выход, закачали в это болото бетонную подушку под всю станцию, и опять: монтаж, капитальные ремонты, аварии.

А драгам требовалась энергия... Люди сутками не отходили от машин, учась на ошибках. Промерзали насквозь стены и отказывал водопровод, застывали приемные водяные колодцы, лопались насосы. Тогда день и ночь изможденные люди по цепочке передавали ведра со снегом, и машины оживали, гнали по проводам электричество к шахтам и драгам.

Казалось, не киловатты текли по проводам, а кровь и пот падающих с ног от усталости полубезграмотных, полуголодных, но злых в своей вере рабочих. Рядом со станцией рос поселок. Сотни лесорубов валили лес для прожорливых топок. Бревна надобно было распилить и расколоть на чурки метровой длины, а дров уходило огромное количество, до трехсот кубометров в сутки. Едва все наладилось, как машинист Павловский, имевший до революции свои мастерские, на полном ходу сливает воду из котла, и тот корежится от адского жара, потом он же, Павловский, заплавляет в подшипники баббит с песочком и делает ремонт так, что вскоре машины разлетаются вдребезги. И опять все сначала... Опять позорное знамя из рогожи полощется над крышей, снова занесены на «черную доску». Опять не заготовлены летом дрова по чьему-то злому умыслу или разгильдяйству, снова одна за другой прогорают топки, и положение кажется отчаянным, безвыходным, страшным...

Выходят все жители поселка после основной работы, а к ним присоединяются посланцы приисков. Егор и его сокурсники бредут по грудь в снегу и тащат на плечах мерзлые бревна к станции. День и ночь густой дым рвется из труб над тайгой. Перемешались в едином порыве комсомольцы, партийцы и спецпоселенцы, еще недавно стрелявшие в таких же людей из обрезов, поджигавшие колхозные амбары. Строится подвесная дорога в дальние распадки, летом сплавляются пятьдесят тысяч кубов бревен, и все равно получают рогожное знамя треста, укоры и сомнения. Красноармейцы ГПУ уводят Павловского и посменно дежурят у машин.

Сколько лошадей переломали ноги в каменных россыпях! Сколько их пало от надрывной работы, сколько затрачено труда и сил — не счесть вовек. Но драги начали ритмично и неутомимо работать, работать, работать. Черная ночь. Грязь. Дождь. А они светятся, грызут полигоны, и струей льется желанное золото в ларь пятилетки.

— Враги? Черт с ними! Лишь бы не задохнулась станция. Шахты под угрозой затопления, если остановим подачу дровишек, подачу тока. Ты коммунист? Значит, нельзя спать в такое время, выспимся на том свете.

Лошади опять тонут в болоте и кричат страшными человеческими голосами, они истощены, как и люди, ползущие рядом в освободив-

шихся постромках. За ними тянутся залепленные грязью бревна: свет, жизнь, золото... Кулак из дальней соловьиной губернии вдруг раскатисто смеется, хлопает Егора по мокрому плечу и блаженно орет: «Ешкина мать! Ведь я вконец тут опролетарился, ну его к лешему, дом, тут житуха веселей!»

У сучкобоя Маруси выпал топор из скрюченных, с кровяными мозолями пальцев. Она горько плачет от злости и дырявым сапогом крушит сучки, наваливается на крупные ветки всем телом, ее отбрасывает как белку. Наконец пушистая ветка сосны покоряется, ломаясь гулким выстрелом. А драги работают, лезут настырно вверх по ручьям. И вот уже вместо трех кубометров лесоруб успевает дать пять, десять, налажена подвесная дорога, пришли на подмогу тракторы и грузовики. Механический колун пластает метрового диаметра чурки как семечки, открыты магазины и столовые на лесоделянах, в просторных домах поселка Селигдар светло, сытно, открыта школа. И одолели прорыв. Горячка спадает. К черту рогожное знамя!

Над станцией реет красное полотнище, отвоеванное в бою.

Уже планируется строительство Якокутской станции на паровых турбинах, из камня и бетона, с паркетным полом, в десятки раз мощнее энергетического первенца Алдана. На Селигдаре уже пыхтят семь машин. Из них две отечественные, построенные на своих заводах, не уступающие ни в чем иностранным. Аварий почти не стало. Научились. Набили шишек, набрались опыта, знаний. Пришли к машинам свои инженеры и механики.

34

Откуда этот ферт выискался в Незаметном, никто толком не знал. Даже Игнатий, увидав его впервые, опешил в недоумении. Здоровенный, белобрысый детина, лет за тридцать, с ярко-голубыми глазами и до неприличия красивым лицом, форсил так, что старый приискатель поразился подобной бесшабашности. Парня словно поместили в ледник, когда царили буйные времена разгула фарта, а потом разморозили и выпустили на свет божий в укор нынешним старателям за их скромность. На нем топорщились непомерной бабьей юбкой новехонькие плисовые шаровары с множеством стрелок, пошло на них не менее штуки материала. Алела атласная рубаха с позолоченными или золотыми пуговками. Кособочилась на голове пижонская клетчатая кепка с лаковым козырьком. На поясе, обкрученном длиннющим шелковым кушаком с кистями, золотились цепи, ныряли к часам в два кармана. Разило от франта за версту наипервейшими духами, напоминало Парфенову легендарные «золотые алтари», волчьи драмы приискательства, мытарства золотишника настоящих кровей.

Но Игнатий угадал под этим внешним лоском истинного карымца*, выкованного, как стальное кайло, в горниле бед и невзгод, горячего и необузданного в достижении любой цели. Такие люди могут спать на голой земле, презирают алчность людишек из «жилухи», случайных при золоте. Карымцы умеют и могут — все!

Лениво, с крайне обиженной миной на лице, в показной тоске и скуке на недостойную суету вокруг, вышагивал он по дороге, поигрывая кистями нарядного кушака. Парфенов молча залюбовался породистым экземпляром копача из своей молодости. Не стерпел, окликнул:

— Эй, варнак! Откель ты выискался такой нарядный? — Он подошел и стал трогать одежду парня: — Вот это удивил! Да двое часов на нем, да кушак расписной, да хромовые сапожки со скрипом. Ну и ну-у-у...

— Отвяжись, дед. Знай свое предназначение в жизни, топай куда шел,— досадливо огрызнулся тот и опять поскучнел.

* Карымец — опытный и уважаемый до революции старатель родом с реки Карым.

— Да-а... знатно одет, видать, пожива добрая была, промотать скорей норовишь и полететь с сидором опять за сопочки.

— Я — царь природы — Петюнчик Вагин, имею смертельную ненависть к дензнакам и намерен их перевести насовсем.

— Ишь ты-ы! — развеселился Игнатий,— да ты, оказывается, самородно-красноречивый, в философиях кумекаешь. А я-то думал, дурень старый, что ты какой-то карнах, напыжился, срамотит приискательское дело в бабьих нарядах. Где пошил обновы?

— Тебе какое дело, сказано, катись,— ловко сплюнул через зубы Петюнчик и раскурил дорогую папироску.

— Так шьет только одна модистка в Иркутске, Софа Кривая.

— А ты откель знаешь? — В подернутых ленивой истомой глазах парня мелькнула искорка заинтересованности.

— Гиблое твое дело, раз у Софки шитво заказывал, ободрала она тебя напрочь. Гульбанили, небось, у ее подруги Ритки? По прозвищу Золотая Сиська.

— Гульбанили,— совсем уж удивился Петя,— все верно говоришь. Но только я не авантюрист и проходимец какой-то, а владыка природы и фарта... Ты че, дед, Вагина досель не знаешь?

— Сохача знаю, Вагина нет.

— Тю-ю, нашел чем хвалиться, мы с Сохачом дружки гробовые, кто же его не знает. Дюже фартовый, дюжей меня, владыки тайги.

— Колоритная личность с классовой гнильцой — вот кто ты,— хохотнул Игнатий, потом разом посуровел: — Раз ты с Сохачом водился, то покажь немедля документы. А ну покажь!

— Ты кто такой, чтобы требовать?! Счас как долбану меж рог — и копыта на стороны отлетят,— устало отпихнулся Петя.

Парфенов со вздохом вынул мандат ГПУ и все же проверил документы. Они оказались в порядке.

— Значит, Бодайбо гуляет,— покачал головой и хотел уйти, но теперь уж Вагин хватанул его за грудки.

— Ты по какому праву оскорбил меня подозрением? Хоть ты и ЧК, но не забывайся.— От его рывка у Игнатия расстегнулась на груди рубаха и открылся ревущий сохатый на скале.— Откуда у тебя такая наколка? — поднял удивленные глаза Петя,— подобная лишь у Сохача имеется.

— Я и есть Сохач, ты ж видал: в мандате прописано Игнаха Парфенов. Это фамилия Сохатого.

— П-правильно,— Петя с ужасом глядел на прихрамывающего здоровенного старика, по рассказам угадывая в нем легендарного приискателя. От брехни, что дружил с Сохачом, покраснел и неуверенно промямлил: — Пойдем для знакомства вмажем по сотке спиртика.

— По должности не могу, да и с тобой рядом от вони сдохнешь. Сколь зазря бабьих духов перевел, ужасть!

— Нет, ты мне скажи, откедова знаешь Софку Кривую и Ритку? Неужто и Сохач к ним залетал?

— Хэ! — Игнатий рассеянно почесал затылок,— ясно дело, лет эдак с десяток назад тоже обнову у Софки шил. Опосля этого очухался под Читой в телячьем вагоне, среди навоза. Гол как сокол и башка чугунная, чем они меня опоили, досе не знаю.

— Точно! — возрадовался Петя,— вот стервы наглющие! Со мной такая же история вышла, слава богу, что эти обновки заранее с другом в гостиницу отправил. Вот идиётки, сколь же они за все годы нашева брата облапошили?!

— Ладно, айда ко мне в гости, раз молошными братьями оказались. Ты ведь только с дороги и жить не приспособился где?

— Точно! — оскалил ровные и белые зубы Петя,— как ты обо всем знаешь, ума не приложу.

— Ладно, пошли, владыко штанов, пристрою на ночь. Тут землячество бодайбинцев широкое, завтра сведу с ними, иди работай.

Судьбе было угодно подружить Егора с этим непутевым. Надо было кормить семью, и он, продолжая учиться в техникуме, пошел работать на шахту. Вначале было непривычно и тяжело: Егор катал по темному штреку тачку с тяжелыми песками к подъемной бадье, а в конце смены не чуял рук от усталости. Со временем обвыкся. Шахтное поле тянулось метров на четыреста, захватывало русло ключа отработкой в шестьдесят метров шириной. На глубине четырех-шести метров, над плотико́м — коренной породой — залегал золотоносный пласт в рост человека. Полотно шахты поднималось на десять градусов к бортам, а через всю россыпь вниз убегал вассер-штрек, по нему сливалась вода со всех участков и бежала в зумпф к насосам «Дуплекс» и «Вейзе Монке», едва успева́ли откачивать ее приток. Начальствовал в шахте старый бодайбинец Фома Гордеич, он не вылазил из-под земли сутками, обучая новеньких завешиванию огнив — установке деревянного крепления из леса, показывал, как ловчей управлять тачками на скользких дощатых выкатах. Со всех сторон давили плывуны, трещала от натуги крепь, талая вода лилась на голову и спину, от одежды шел беспрерывно пар. Тускло горели редкие огни освещения. Особого рвения к такой работе забойщики и откатчики не проявляли, так как из-за уравниловки, введенной кем-то, они получали столько же, сколько и «верхние» рабочие, нежившиеся на привольном солнышке. Егор быстро сошелся с бодайбинцем Симоном Васильевым, тоже откатчиком. Симон был не только трудолюбивым, но и до крайности любопытным к делу. Ко всему приглядывался, все выспрашивал у старых горняков и вскоре за свое трудолюбие был выдвинут в забойщики. На его месю взяли Петю Вагина, тот даже обрадовался встрече с Егором и приветливо с ним поздоровался. Одет Петя уже был в рванье, свои наряды и часы он прокутил, азартно подначивал Симона за отстающий забой, назойливо лез с советами, поучал.

Симон Васильев скоро начал выдавать такие рекордные «кубы», что Егор и Вагин работали как лошади, откатывая пески, и все равно не успевали за ударником. Симон изобрел новый способ проходки — подкалку. Раньше били с плеча кайлом, отваливая небольшие пласты галечника и песка, Васильев же начал выкайливать снизу полуметровую щель над скалой-постелью, потом все легко обрушивалось, не имея опоры. Даже большие валуны сами выпадали под ноги. В других забоях в смену едва завешивали три-четыре деревянных огнива (рамы), а Симон стал завешивать до десяти. Поначалу никто не верил, приходили со всех шахт смотреть, сомневались, считали и делали свои метки на огнивах, а после смены забой уверенно уходил вперед на пару метров.

Двое откатчиков уже не справлялись. Симон по-своему реорганизовал бригаду, она стала регулярно перекрывать норму в два раза. К этому времени уравниловку в зарплате упразднили, более квалифицированные рабочие стали получать больше, те, кто сачковал,— меньше. Эти лодыри быстренько разбежались с шахты.

Васильев доброжелательно учил откатчиков своим приемам, считая, что взаимозаменяемость в бригаде должна быть полной. Самолюбивый Петя Вагин завидовал Васильеву, суетился с кайлом, старался обогнать передовика и «кумполил» забой, из-за отставания крепи сверху обрушивалась масса породы, приходилось бесплатно ее катать всю смену. На другой день Петюнчик снова кидался в атаку на забой как бешеный и опять «кумполил». От него сбегали откатчики, но все же он научился работать без аварийных сбоев. Когда о подкалке узнали в тресте, то инженер по технике безопасности немедленно запретил такой прием, только благодаря вмешательству окружкома партии были отменены все старые инструкции и поддержано новаторство. Егор активно помогал Васильеву во внедрении новых, прогрессивных методов труда и потом даже написал о подкалке письмо Артуру Калмасу в Москву, где тот учился в институте Красной Профессуры. И ударники

перебороли отсталые настроения — во всех шахтах стали осуществлять на практике передовые идеи.

Только одна шахта упорно работала по-старому, горняки оправдывались тем, что у них сухие забои и подкалка не пойдет. Тогда направили буксирную бригаду, в которую входили Вагин, Васильев и Быков. Вокруг ударников поднялась буря ехидных насмешек, рабочие шахты были уверены в провале буксировщиков и терпеливо ожидали результатов, не уходя после смены домой. Забои были действительно плохие и запущенные нерадивой работой, выката́ по всему пути завалены песками, их никто не подчищал, не убирал камни. Симон взглянул на своих помощников и весело подмигнул:

— Ну, робята, утрем нос безверным!

— Обязательно утрем,— уверенно отозвался Вагин,— лишь бы откатчики не сбились с темпа.

Васильев расставил людей по забоям и дал сигнал к началу смены. В неярком свете лампы перед Егором тускло мерцала спрессованная сухая галька. Он ощупал руками забой, пару раз ударил кайлом, приноравливаясь к новой породе, и послал своих откатчиков за крепежным лесом, а сам начал подкайливать. Кайла звенела, застревала между камнями, сыпались трухой пески. Егор разделся до пояса. Когда он пробил снизу глубокую щель и начал рушить породу, то тяжелые камни посыпались с глухим стуком. Забегали с тачками откатчики, уже были навешены первые огнива, а Егор, не останавливаясь, так же размеренно кайлил. Спина его блестела от пота, заливало глаза, судорогой сводило уставшие руки, но он не сбавлял темп. Потом, словно пришло второе дыхание, применился к породе и уже знал, где и с какой силой надо ударить, где подобрать верх под огниво. Откатчики не успевали, бегом носились по штреку к подъемнику. Перед самым концом смены Егор подвесил двенадцатое огниво.

— Молодец, Быков,— похвалил Симон,— ты даже меня обскакал. Выполнил норму на двести сорок процентов. От это работа, я понимаю!

В забое собралась шумная толпа горняков шахты, которые пригляделись и увидели двухметровую проходку, разом стихли, крякали, страшно удивляясь и не веря своим глазам. Некоторые уже загорелись новшеством, просили показать новые способы кайления. Егору пришлось остаться на вторую смену. Неделю работала буксирная бригада, и многие местные забойщики научились подкалке не хуже пришлых ударников.

Когда Петька Вагин прочел о себе в газете статью, ликованию его не было предела. Один недоброжелательный дедок ехидно проговорил:

— Для орденка жилы рвешь, парниша?

— А че?! — разулыбался Вагин.— На моей наковальне он бы не помешал,— и хлопнул себя кулаком по широкой груди,— а ты, старорежимная гнида, уходь подобру с моего пути, невзначай кайлом зашибу. Я теперь ударник, могу ударить так, что от тебя только мокрое место останется.

Дедок бочком шарахнулся от дурня.

Егора наградили за отличную работу швейной машинкой, ей Тоня была рада до пляса, а потом — патефоном, фотоаппаратом. А осенью премировали свиньей в центнер весом. Дома уже были куры, Тоня при своей заполошной работе умудрилась не поморить их голодом, а свинью держать наотрез отказалась, объявив это действие оппортунизмом и возвращением к частной собственности. Пришлось хрюшку забить к праздникам.

Тоню радовало, что муж нашел себе дело по душе под боком у семьи. Каждый день приходит домой, играет с детьми, «паровозом» катает их по полу. Рево и Люция в восторге от своего батяни, ничем не оторвешь. Но тут пополз слух, что будет организована по заявке Бергина большущая экспедиция из двенадцати поисковых партий на Джуг-

джур. Затомилось у Егора сердце по волюшке. К этому времени, по рекомендации того же Бергина, Быкова приняли в члены ВКП(б) (Тоня стала партийной годом раньше).

Вольдемар Бергин удрал от высоких должностей из Якутска и возглавил отдаленное приисковое управление на Тырканде. Оттуда он и послал свою заявку, в которой говорилось, что летом 1921 года он проходил с отрядом красных партизан по тракту Аян—Якутск от Охотского моря, через Джугджур. На привале у одной реки, где он был в ночном боевом охранении, вспомнил историю, что на эту реку еще в прошлом веке золотопромышленник Сибиряков посылал своих разведчиков-хищников. Утром Бергин вырыл на косе охотничьим ножом ямку-езенк и промыл пески обычной чашкой. Сначала попадались только знаки — «бус», как их зовут восточники, а потом в одной пробе явилось весовое золото, годное для добычи. Первооткрыватель Незаметного настаивал в своей заявке, чтобы якутское отделение союзного треста «Золоторазведка» послало туда экспедицию для поисков россыпей.

Руководить джугджурской экспедицией было поручено Зайцеву. Он уже перед этим нашел золото на юге Якутии, где не раз лазили разведчики Ивана Опарина и ничего не обнаружили. Теперь геологу предстояло штурмовать неведомый Джугджур, продолжение Станового хребта, отделяющий на востоке Охотское море от Алданского нагорья. Николай Зайцев знал Быкова и взял его без долгих разговоров практикантом-коллектором. Тоне Егор пока не признавался, что готовит походное снаряжение. Игнатий услышал от него об экспедиции и тоже решил тряхнуть стариной.

35

Партии разбрелись по разным сторонам от базы, исследуя реки и ключи. Спешно наверстывали упущенное в начале сезона время. Егору и Парфенову, как опытным сплавщикам, поручили особое дело. С одной из партий они должны были подняться в верховья Аллаха и там сделать лодки-утюги и сплавным маршрутом идти вниз, останавливаясь в устьях притоков и обследуя их.

Вскоре геологам открылась река, прозрачная и буйная, шириной до двухсот метров, с множеством перекатов, сменяющихся тихими плесами. Перепад высот колебался от полутора до двух километров, местами попадались чрезвычайно обрывистые гребни. Как-то наткнулись на наледь длиной в пятнадцать километров, с мощностью льда свыше пяти метров.

— Мод! Мод! Мод! — торопил проводник растянувшийся в аргише вьючный караван. Олени идут устало, рядом с матками семенят ножками тугуты, пугливо шарахаются от людей и жалобно кричат, потеряв из вида маток. Те отзываются призывным хорканьем, рвутся назад, путая связки. Поисковики часто берутся за топоры, рубят проходы в густом стланике. По озерам кормятся утки. Зыбуны болот скрываются травяными коврами. Те колышутся под ногами, порой с треском прорывается ненадежный покров и жидкая грязь противно засасывает сапоги. Парует мокрая одежда от затянувшегося мелкого дождя. Вьется туча паутов, безжалостно с лету они пронзают кожу оленей и откладывают в ранку яички. Вскоре черви-личинки величиной с добрый окурок начинают прогрызать шкуры животных, доводят их до безумия от боли. Шкура, снятая с такого оленя, вся изрешечена, словно ее прострелили крупной картечью. Людям достается от гнуса, вечерами выручают только дымокуры да прохладные ветры с дальних гольцов. На биваках олени залезают в дымокурные шалаши.

Чем выше продвигались геологи в верховья, тем более низкорослыми становились деревья, угнетенные и перекореженные зимней стужей и буранами, тем ближе горы подступали к реке, и тем чаще по-

падались вздыбленные развалы камней, где и человеку трудно пролезть, а оленю с грузом и подавно не пройти. Останавливались на каждом притоке. Били шурфы, промывальщики орудовали лотками и осторожно ссыпали шлихи в бумажные капсулы для лабораторных анализов. Но и без них было ясно, что золота нет. Парфенов не унывал, безмерно суетился, позабыв о больной ноге; все кудесничал с лотком, но ничего путного так и не обнаруживал. Всех охватил прямо-таки лихорадочный поисковый азарт, вечерами люди в изнеможении падали на хвойную подстилку в палатках и засыпали, позабыв о еде. Потрачено столько трудов и все впустую? Стыдно будет показаться в Незаметном, засмеют. Начальник партии студент-геолог нервничал, неудовлетворенный пустыми шлихами. Но ничего не поделаешь, отрицательный результат — тоже результат, это ему успели внушить в институте. Больше всех сокрушался проводник-тунгус, чувствуя себя виноватым за родную тайгу, обижающую людей.

Наконец увидели такие каменные завалы по реке, через которые сплавом не пройти. Поэтому решили повернуть обратно и стали делать две лодки. Установили бревенчатые козлы, напилили толстых досок. Парфенов сам взялся делать карбасы. И вскоре суденышки уже плескались на воде. Плоскодонки на удивление были устойчивы, даже человек, ставший на борт, не мог их опрокинуть.

Игнатий сел рулевым на передовую лодку, сплав начался. Проводник помахал им вслед рукой и погнал облегченных оленей на базу. Стремительная река бойко несла поисковиков. Они часто останавливались, обследовали берега, заходили далеко в верховья ключей, возвращались ни с чем и опять плыли. Километрах в пятидесяти выше впадения речушки, на которой Бергин обнаружил золотоносность, неожиданно встретили лагерь геолога Соловьева. Он уже обследовал район, где девять лет назад партизаны брали пробы, и вышел на Аллах. Россыпи оказались слабого содержания, но Соловьев уже знал, что начальник другой партии Веретин открыл два богатых ключа с промышленным золотом. Отряды Суворинова и Семенова нашли россыпи еще в нескольких ручьях, а в последнем подняли прямо из воды пяток крупных самородков. Якуты-проводники Соловьева — братья Аксеновы и Прудецкий — предостерегли Парфенова, что ниже по течению есть два опасных места: Шамайские пороги и Чертово улово, подробности о которых они велели узнать у эвенкийского князька Шамая, живущего перед началом порогов. Эти препятствия считались у местного населения дурными и непреодолимыми.

Скоро путников принял настоящий князь, жизнь которого практически никак не изменилась после революции, потому что в дикой глухомани затерялось его родовое стойбище. Да и ничем не напоминал он эксплуататора, а скорее был похож на старого простого тунгуса-охотника. В своей первобытной общине он, можно сказать, исполнял обязанности вождя. Это были остатки некогда большого эвенкийского поселения скотоводов, которые вели натуральное хозяйство. Встретил Шамай геологов по-княжески, радушно. В хотоне из бревен, стоящих шалашом и обмазанных глиной, горел камелек. Дрова в нем наставлены вертикально под самый дымоход, медленно подгорали и оседали вниз. Князь приоделся, настрогал от плиточного китайского чая заварки, степенно расспросил гостей о новостях. После обильной чаевки сам заколол оленя и поднес почему-то Парфенову горячую кровь в деревянной чашке, как дань особого уважения. Игнатий ее привычно выпил, больше никто не рискнул, только Егор пригубил лакомство таежников и съел кусок сырой печенки. Целый день гости отъедались мясом.

У старика было два сына и дочь, старший уже работал проводником, младший оказался глухонемым, но, несмотря на это, славился как лучший охотник в округе. Еще в детстве упавшей лесиной его зацепило по голове, он оглох и перестал говорить. Дочь и старик сносно понимали русский язык, умоляли гостей не плыть дальше, считая это безуми-

ем. К вечеру Шамай повел их к порогам. Егор, глядя на беснующуюся реку, увидел, что словно кто умышленно разбросал на ее середине в шахматном порядке огромные острые глыбы. Вода с ревом кипела меж «опечков», как назвал их Игнатий, показывая дорогу среди камней. По его словам выходило, что надо плыть по белым бурунам пены, именно они обозначают струю. Но все равно не верилось, что можно пройти на лодках через эту жуткую мешанину камней и бешеных валов кипящей воды. Глухонемой сын Шамая что-то знаками объяснял ему: оказалось, что он вызвался быть лоцманом на первой лодке. С ним поплыли Игнатий и Егор, следом отчалили остальные. Игнатий выруливал в струю, а Егор отпихивался шестом от летящих навстречу опечков, лодку заливало водой, швыряло и ставило на дыбы. Вдруг сзади хлестанул крик: «То-о-нем!» — вторая лодка накренилась — в борту открылась рваная пробоина.

— Заткните ее мешком с мукой! — заорал Игнатий.

Кругом громоздились вылизанные стены, пристать к берегу было невозможно. Наконец лодки вынеслись к широкой косе. Ремонтом поврежденного карбаса сплавщики занимались дотемна. Глухонемой за ночь сбегал к себе в хотон за одеждой и ружьем, поскольку решил сопровождать партию и дальше. Это было очень кстати, так как он знал Чертово улово: эвенк что-то мычал, рисуя прутиком на песке подобие двухскатной крыши, и на ее гребне изобразил две лодки, показывая на весла и как надо сильно грести. Многие отмахивались, но Парфенов упорно добивался от него истины, толмачил, что перед самым уловом надо сильно грести, иначе затянет в боковую воронку и потопит.

Но то, что поисковики увидели на реке, превзошло их самые мрачные ожидания. Огромные массы воды метались среди гладких стен-берегов и схлестывались на середине трехметровым островерхим гребнем длиной в пятьдесят метров. Левый берег навис отвесной скалой у самого улова, на правом — каменный завал. Игнатий вскочил на корме и яростно закричал, наведя в лица гребцов ружье:

— Не оглядываться! Идем по гребню! Грести сильнее! Грести! Грести! — а сам кинул длинную веревку с привязанной палкой на заднюю лодку и стал править, не опуская ружье.— Грести! Кому говорю!

Егор видел с носа лодки, что их ждало впереди, и у него все занемело. В конце гребня, по обе его стороны, вились огромные воронки глубиной в рост человека и шириной метров в пять. Кружился в них толстый кряж и стоймя ушел в воду. Лодка чудом неслась по гребню. Люди со страхом глядели на ружье, решив, что кормчий взбесился, и работали веслами изо всех сил. Как с высокой горы, карбас плюхнулся в тихую заводь плеса, и только тогда сплавщики осознали, какие препятствия они преодолели. Растеряйся Парфенов хоть на мгновение — и все бы погибли. Задняя лодка все же сошла с гребня, ее кинуло в воронку у левого берега, с размаху шибануло о скалу так, что полетели щепки. Игнатий опять дико заорал:

— Хватайтесь за веревку!

Из лодки посыпались мешки, ящики, а люди неуклюже падали в воду. Гребцы первой лодки наконец выволокли на тихое место своих обезумевших товарищей. Матюкаясь и кашляя, те по очереди переваливались через борта.

Откуда-то из бездонья медленно всплывали раздробленная, словно изгрызенная зубами чудовища-водяного лодка, весла и порванный мешок с палаткой.

— Ну как там, у налимов в гостях? — весело поглядел Игнатий на искупавшихся в дьявольской купели.

Шамаев, как окрестили мужики глухонемого на русский лад, тоже радостно улыбался и показывал рукой на просторный бревенчатый балаган, угнездившийся у скалы...

Егор вздрогнул от неожиданности, когда загремели во тьме смутно знакомые колокольчики, догадка полыхнула в голове и тут же над кустами угадал шапку Бергесе с корявыми рогами, затем всплыл, словно привидение, сплошь белый олень, и шаман Эйнэ сполз с него в полном великолепии своих одежд.

— Капсе, дагора-товарисса! — махнул рогами колдун в легком поклоне.

Эйнэ небрежно бросил Шамаеву повод оленя, важно прошел к огню и уселся, раскуривая причудливую, примерно с детский кулак трубку, которая была вырезана в форме головы ревущего медведя. В глазных впадинах деревянного зверюги мерцали кристаллы горного хрусталя, они свирепо блестели в бликах костра. По груди шамана, как и прежде, плыли утки из голубоватого металла. Геолог, начальник партии, только мельком взглянул на них, кинулся к старику:

— Платина! Братцы, самородная платина! Вы только посмотрите!

Эйнэ испуганно закрыл гагар руками, пытаясь отстраниться от возбужденного лючи.

— Зачем кричишь, как ворон на падаль. Сам знаю, что платина. Эк невидаль! Таежные люди из нее пули к берданам делают. Шибко хорошие пульки.

— Еще бы, даже королям такое бы не пришло в голову — стрелять платиной. Но как же вы ее расплавляете, ведь нужна температура под две тысячи градусов?

— Однахо, плавим, мало-мало. Эк невидаль! У меня нож тоже платиновый,— он вытащил узкий клинок из ножен и подал его геологу.— Шибко хорошее железо! Собсем ржавчина не грызет.

— Да, старик, ты прав, это уже ферроплатина, а утки сделаны из иридистой платины, совсем с другого месторождения. Где ты подобрал это «шибко хорошее железо», покажи место!

— Э-э-э-э... большой грех, нельзя,— и тут Эйнэ узнал сидящего в сторонке Парфенова, зло сплюнул,— зачем ЧК тайга ходит? Плохой люди шибко стреляй тебя, пропади собсем.

— Я заговоренный таким же брехуном, как ты, попом,— усмехнулся Игнатий,— можа только платиновой пулькой прошибешь. А будешь пужать, конфискую твоих птичек и ножичек в казну государства.

— Эйнэ больше не шаман! Эйнэ красный купеса. Зачем обижать старика? Тайга место много, туда-сюда ходи, не трогай Эйнэ.

— Так где платину поднял? — спросил Парфенов.

— Дед моего деда поднял, не знаю где. Шибко давно было,— Эйнэ взглянул на бородатого Егора и опять изумился,— твоя пропади нету? А ты не верил, что долго жить будешь. Хозяин Чертова улова тебя не кушай, Эйнэ так велел.

— А зачем же стреляли тогда в меня? — спросил Быков.

— Э-э-э, Васька собсем дикий тунгус, думал, сохатый плывет по реке, однахо,— Эйнэ встал, принес потки* и вынул банчок спирта,— мало-мало сладкая водка пей, зачем ругаться.

Рабочие взбодрились и загомонили, мигом опорожнили от чая кружки. Парфенов подсунул свою первым и заметил, как дрогнула рука Эйнэ с банчком. Игнатий понюхал спирт: в нос шибанул знакомый дух опия. Протянул полную кружку шаману.

— Пей!

— Моя собсем не кушай водка, духи не велят. Живот собсем старый, слабый. Я спирт у китайца большие деньги купил, кушай, шибко хороший водка.

— Пей, сволочь! Отравить нас захотел и сонных в улово скинуть? Пей, гад!

Игнатий хотел только попугать старика, но тот рывком выхватил кружку и сделал большой глоток.

---

* Потки — переметные сумки для оленей.

— Кушай, собсем хороший спирт,— шаман взял ломоть мяса и вгрызся в него зубами,— собсем зря обижаешь старого человека, нельзя так, исправник.

— Исправников давно нет, а теперь поглядим, чем ты нас подивишь. Я такую водку у китайского купеса пробовал, а потом голым уползал.

Эйнэ торопливо жевал оленину, заедая ломтями лепешки. Глядел на огонь. Зрачки его глаз все больше расширялись, голова стала дергаться, из глотки вырвались хриплые, заунывные слова песни. Он не камлал, он пел, забыв обо всем, размягченный подмешанным в спирт дурманом. Игнатий тихонько переводил:

О-о! Горе мне, Улахан Эйнэ.
Гонят меня, как паршивого пса,
В безлюдные скалы, глухие леса.
О-о! Горе мне! О-о-о, горе мне...
Железными клювами землю грызут,
Проклятое золото ищут везде.
О! Тяжко мне-е. О-о, больно мне!
Из нижнего мира черти ползут.
По ущельям темным, горным хребтам,
По чащобам родных лесов
Бегу я от них бездомным псом.
Устал я, бедный Эйнэ, устал...
Я стал убогим, великий шаман.
Чуо-чуо-чууи! Дай пальму * мне,
Убить врагов в этом страшном сне,
Иль я сойду с ума...

Парфенов миролюбиво обнял эвенка и проговорил:

— Эйнэ, расскажи нам легенду о красавице Кэр и слезах солнца. Любопытно послухать давнюю историю.

Шаман, пытаясь диким усилием воли стряхнуть оцепенение, злобно зашипел:

— Заберите все золото в тайге, но вам не найти слез солнца,— и засунул погасшую трубку под камлейку,— вам не найти их. Только великий Эйнэ знает место, где плакало солнце.

— Брешешь ты все, выживший из ума колдун,— засмеялся Игнатий.

Шаман возмущенно рванул руку из-под мехов и ткнул грязным пальцем в светящиеся глаза медведя.

— Вот они, слезы солнца,— вяло откинулся навзничь и захрапел.

Геолог поднял оброненную трубку и наклонился к свету. Долго разглядывал, царапал медвежьим глазом по ножу и стеклу компаса.

— Друзья, или я сошел с ума, или у меня в руках два природных кристалла алмаза первого порядка. Настоящие октаэдры. Но откуда они у старца?! Не из Африки же он их привез на своем олене!

Трубка пошла по рукам, ярко взблескивали в свете костра чистейшей воды каменья. Неожиданно Эйнэ поднялся, тряхнул головой и попросил трубку, неторопливо набил ее табаком. Раскурил от уголька. Его качало и клонило к земле. Сделав несколько крепких затяжек, он швырнул трубку на середину реки и радостно засмеялся.

— Вам не найти слез солнца,— опять упал на мох и сонно вздохнул.

— Видали! — Игнатий взял банчок спирта, кинул его вслед за трубкой в Чертово улово,— кабы всю рыбу не вытравить. А по этому добренькому колдуну давно скучает домзак. Завтра разберемся. Обдурил вражина, закинул каменья, поди теперь их сыщи в такой стремнине. Ну, погоди у меня.

* Пальма — копье с широким длинным лезвием.

Но утром Эйнэ как сквозь землю провалился вместе со своим оленем. Даже потки свои с барахлом утащил прокудливый шаман из-под носа придремнувшего дежурного. Только на большом пеньке перед балаганом оставил клочок бумаги, придавленный берданочной пулей с клеймом медвежьей головы. На листке было нацарапано углем: «Такая пуля найдет твое сердце, хромая собака ЧК».

Парфенов покрутил кусочек металла в пальцах и отдал Егору:

— Оказывается, грамотный шаманишка. Улизнул, черт лохматый! Возьми пульку, это пока что самый дорогой образец в нашей разведке. Стыд и срам! Уже месяц шастаем, плаваем, а ничего не нашли путного.

В устье небольшой речки, впадающей с левого борта, наконец-то изыскатели обнаружили золото. Весовое, крупное. Через неделю со своей партией подошел на подмогу Зайцев. В каждом ключе натыкались на золото. Воодушевленным удачей людям не хватало светового дня работы. Помолодевший Игнатий летал впереди лохматым медведем, размечая шурфы, которые садились точно в струю россыпи.

В конце августа Николай Зайцев вызвал Егора.

— Товарищ Быков,— неожиданно обратился он к Егору официально,— я не могу приказывать, слишком необычное дело. Трудное и опасное. Нам позарез нужно провести рекогносцировочный маршрут через водораздел на Юдому, сплавиться по ней до устья, а дальше — по Мае в Алдан. Там никто из геологов еще не был. Я предполагаю, что мы открыли богатейший золотоносный район, нужно знать входы и выходы из него. В пути не увлекайтесь, занимайтесь только составлением схематической карты: зарисовывайте водную сеть, хребты, фарватеры рек, отмели и пороги. Нужно знать, судоходна ли Юдома хоть частью для мелкосидящих судов. Пойдешь?

— Пойду.

— Назначаю тебя начальником партии. Выбери спутников. На устье Маи вас будут ждать эвенки с оленьими нартами. Они вас вывезут в Незаметный по льду Алдана. Желаю удачи!

36

Обнажения... Обнажения... В других краях геологи не могут добраться к ним через толщу наносов, а над рекой иссеченные дождями и ветрами скалы подпирали тучи, словно бахвалясь своими сокровищами. Гляди, исследуй сколько влезет... Тут тебе и граниты, и туфогенные песчаники, и кремнисто-глинистые сланцы, пятиметровой ширины жилы кварца, топырятся прозрачные пальцы хрустальных друз, взблескивают правильные кубики пирита. А возможно где-то и золото по ключам, только нет времени бить шурфики и брать пески на лоток. Юдома гораздо шире Аллаха и многоводней, просторная ее долина заболочена, здесь великое множество озер...

Прощай, Джугджур! Огромная горная страна с десятками хребтов и отрогов, рек и ручьев. До встречи, Джугджур! Спасибо за щедрые твои дары.

Два плота стремительно неслись вниз по течению. Временами сплавщики приставали к берегу и таборились на короткое время. Егор залазил на ближайшую сопку и рисовал схему местности. Зайцев подарил ему на прощанье свой морской бинокль и горный компас для определения азимута при составлении карты. С одного наиболее высокого кряжа Егор увидел Облачный голец Станового хребта, который они наблюдали с Учура. По левую руку от Быкова, стоящего на гребне останца, зубрился стеной и застил Охотское море Джугджур, сзади белели гольцы Юдомского хребта, а вниз по течению реки, у самого горизонта, темнели будто ровно срезанные огромным ножом сопки Алданского нагорья. Свистел упругий ветер в камнях, внизу дыбились ги-

гантские глыбы курумов, обросшие мхами и карликовой краснолистой березкой. Даже Игнатий потащился на скалы за Егором, старый приискатель долго озирал в бинокль дальние горы, подернутые голубенькой дымкой, и только покряхтывал от удовольствия. В солнечный и ясный день на горах даже без бинокля были видны каждая расщелина, изгибы снежников и причудливые башни останцев. Тайга полыхала осенним разноцветьем: преобладали апельсиновые и лимонные тона — это листвяги. Кое-где зеленели гривки ельников. Пятнами крови рдели островки осинника. Пахло сырым мхом, мертвой прелью колодин и грибниц, смольем стлаников, медовым духом от зарослей смородины-каменушки. Игнатий украдкой смахивает нечаянно набежавшую слезу. «От ветра, должно быть»,— растроганно думает он и касается плеча Егора.

— Ты только поглянь, в какую волю я, старый дурак, тебя заволок. Си-и-идел бы ты счас в своей паршивой Маньчжурии да от скуки ханшин жрал. А тут... ты глянь! Какое страшное буйство камня для глазу. Какие же силы были у земли, чтобы вздыбить все это и так ловко для удовольствия нам разложить! А? Как же не жить, когда такое тебя окружает. Горы и горы, нет им конца и краю... Провалы, пропасти, реки, леса. Все живет и дышит теплой грудью. Гос-с-споди-и... Как же мне помирать теперь, когда это все опосля останется... и будет шуметь дальше, пахнуть, сиять? Как же уходить от такой красоты, а? Господи! Дай ишшо один срок! Чтобы насытиться вдосталь. Не хватает жизнюшки, не хватает. Дай, коль есть?! Тогда поверю в тебя, храм возведу своими руками на этом гольце... эх, ты-ы... молчишь...— и опять непрошеная слеза ожгла его щеку горячей стежкой и остыла на потрескавшихся губах.

— Спасибо тебе за все, Игнатий,— глухо отозвался Егор,— никогда я эти края не покину, ни на что не сменяю... Спустимся вниз, надо плыть. Удастся ли когда еще взойти на эту высоту?

— Тебе удастся, ясно дело, а мне вряд ли. Пошли, Егорка. Говорят, перед смертью не надышишься. Пошли, компаньон ты мой приветный...

Идти вниз куда трудней, чем залезать наверх. Голец сплошняком обвален шаткими плитами камня в поросли мхов и лишайников. Кругом — угрюмые провалы пещерок. Громоздятся в причудливых позах выветрелые останцы, словно вздыбленные чудовищные медведи и застывшие в прыжке сохатые. Громадные глыбы навалены над обрывами, казалось, чуть толкни их, и все мгновенно загрохочет. Хромому Игнатию особенно тяжело идти. Но он не жалуется. Ниже курумников ноги до колен утопают в мягких болотистых мхах террас. Сюда уже снизу добегают стланики, заросли ерника, кустарниковая ольха и еще хилые, закрученные винтом лиственницы...

Трое рабочих уже затомились в ожидании. Они наловили рыбы и теперь трапезничали у костра. Хорошо промявшись, Егор с Парфеновым набросились на жирных ленков. Хлеб кончался, надо было выпекать новый. Решили этим заняться на ближайшей ночевке, а пока обошлись ржаными сухарями. Игнатий ел и не мог остановиться. Наконец отвалился на спину, расстроенно махнул рукой:

— Ну ее к чертям, эту рыбу. Ешь, ешь — а через час кишка кишке мяукает в тоске. Надо мяска добыть. С гольца я приметил внизу по реке хорошие мари, должон сохатый выходить на пастьбу. Счас он отъедается, скоро гон начнется, обычным делом в конце сентября ревут и хлещутся рогами за маток. Может на болотине и олешек подвернуться, мило дело.

Схема, которую чертил Егор, все более усложнялась. По-прежнему приходилось подниматься на господствующие высоты и разбираться в хитросплетениях долин, скал и сопок. Как-то Егор с Игнатием увидели

в прибрежном сосняке старые пни, а за ними — похилившуюся избушку. Приметили они ее случайно, когда взобрались на сопочку, чтобы оглядеться. Возвращаясь к паромам, сплавщики сделали крюк и осторожно подкрались к зимовью. Но свежих следов не обнаружили. Старое кострище чернело у входа, ржавый топор торчал в стволе дерева да кругом валялись зеленые винтовочные гильзы. Игнатий открыл с трудом тяжелую дверь и вошел в избу. Пахнуло плесенью и гнилью. Из двух щелястых окошек, похожих на устроенные бойницы, падал слабый свет.

На широких нарах, на полу — скелеты, винтовки, шашки, а у самой двери, на широкой печке из дикого камня — в хлопьях ржавчины станковый пулемет «Максим» с вправленной полупустой лентой. За щитком виделся череп в офицерской папахе, продырявленный пулей.

— Ешкина мать! — отшатнулся Игнатий с перепугу и перекрестился, — ты поглянь, что тут творится! Не меньше взвода, сердешных...

Егор пролез внутрь и, ничего не понимая, обернулся к Парфенову. Тот неспешно выкатывал через порог пулемет.

— Что за люди, откуда они, Игнат?

— Пепеляевцы, кто же ишо будет. Как раз на реке Мае, куда мы плывем, красный командир дедушка Курашов в двадцать втором году начисто разбил войска Пепеляева. Видать, эти люди спаслись из генеральской армии и забились в тайгу, а когда их голод прихватил, меж ними что-то стрялось. Оружие ить все целое, знать, не побили их пришлые, а сами перестрелялись,— Парфенов вернулся в избушку, оглядел стены и потыкал в них пальцем.— Думаю, дело было так, чем-то допекли они офицера, он их с пулемета и положил сонных, гляди вон, чуть выше нар все стены порублены пулями. А кто-то раненый, видать, его кокнул. Так все и смирились. Винтовки и шашки надо позабирать, не дай бог еще попадут бандитам в руки, горя не оберешься... Следует захоронить останки, все же русские люди, православной веры. Грех так бросать. Крестик поставим, пущай на нас лиха не держат.

Они вырыли неглубокую яму, стащили в нее более двух десятков скелетов, собрали истлевшие документы. В офицеровой кожаной сумке Егор нашел серебряный портсигар с монограммой, в нем лежали расшитый кружевами платочек и письмо, написанное каллиграфическим почерком. Егор развернул пожелтевший листок бумаги:

«Здравствуйте, глубокоуважаемая, милостивая государыня Елизавета Сергеевна!

Пишу Вам на обрывках амбарной книги, взятой мною в одной из телеграфных контор тракта Аян—Якутск. Всю остальную бумагу солдаты извели на самокрутки. Пишу и не знаю, удастся ли когда отослать эти строки, дойдут ли они к Вам. Весьма неблагополучно начался наш поход на Якутск. Еще в Охотске я начал сомневаться в его целесообразности. Там же был назначен командиром роты в армии генерала Пепеляева. Он планировал штурмом взять Якутск и восстановить в этих диких краях монархию.

Кругом лед и лютая смерть поджидали нас, много обмороженных и цинготников, зубы выплевываются, как семечки. В случае, если погибну, я обязан Вас уведомить, что страстно любил Вас и люблю до сих пор. Молитесь за Броню-гимназиста, к которому Вы были так равнодушны, что отказывались танцевать с ним на балах купца Самаринова. Уверяю Вас, что, ежели вырвусь во здравии отсюда, Вы будете моей женой, что бы ни стояло на моем пути. Простите за самоуверенность, нахожусь я на грани отчаянья. Провизия кончается. В кругу солдат брожение, ловлю на себе злобные взгляды свирепых мужиков. И хочется бежать куда глаза глядят. Это уже не армия, а сброд жестоких зверей, жаждущих крови. Прапорщика Игнатьева во сне запороли штыком, сволочи повально дезертируют, дерутся до смертоубийства. Нет сил сдерживать разложение. Неделю тому назад был страшный бой, мы в панике бежали от регулярной армии красных. Собрал я по лесам около взвода под свое начало и решил выходить к Охотску. Наскоро срубили избушку, чтобы передохнуть, заготовить на дорогу дичь. По Юдоме выйдем через верховья на

тракт и будем пробиваться к побережью. Возможно, скоро буду дома в Благовещенске. Не забывайте меня, Лиза! Хотелось бы знать, жива ли еще моя матушка Ксения Гавриловна.

Пользуясь случаем, прошу принять уверения в совершенном почтении и любви.

Ваш навеки Бронислав».

Ниже, уже корявым почерком, было дописано:

«Лиза! Если бы Вы только знали, что такое цинга: ломящая боль в конечностях, все тело опухает и появляются багровые пятна на ногах. Разрыхляются и кровоточат десны. Изо ртов быдла, которое меня окружает, идет гнилостный запах, который может свести с ума. Человек буквально загнивает живьем. Мы загнили, Лиза, загнили давно, вся наша интеллигенция и дворянство... Народ отторг нас, чтобы не заразиться трупным ядом. Мне уже никогда Вас не увидеть, суровая девушка. Прощайте! Солдаты решили идти сдаваться на Амгу, а меня наутро будут судить за все грехи. Я сам устрою им страшный суд! Как я их ненавижу! Все!»

Теперь они плыли по Мае, полноводной и широкой реке. Вода Юдомы с отрогов Джугджура сплеталась с мощным потоком, бегущим от Станового хребта. Тут путников и пристигла ранняя зима. С севера наволокло снеговых туч, зашелся в дикой пляске буран и принудил поисковиков затабориться на берегу. Они видели, как по реке густым валом катилась зеленоватая шуга слипшегося в комья снега, как она костенела заберегами. Жгучий холодный ветер рвал дым из жестяной трубы печурки. Палатку придавило снегом, в ней темно, сыро от капели, сочащейся через брезент. На четвертое утро пурга притихла, и они опять поплыли.

Подмораживало. В иных местах тонкий лед уже перехватил реку. Пробивались через него при помощи шестов на тихих плесах и двигались дальше к берегам Алдана. Но зима все же опередила сплавщиков. Вморозила паромы посреди реки: на зыбкий лед не ступишь, до дна шестом не достанешь. Пленники реки всю ночь дрожали от холода, завернувшись в палатку. К середине второго дня самый легкий из рабочих, опираясь грудью о шесты, как на лыжах, выполз к берегу, нарубил и настлал к паромам жердей по тонкому льду. По ним выбрались остальные. Решили идти пешком вниз вдоль реки до ее устья. Все лишнее схоронили в приметном месте, сделали пару легких нарт, увязали на них груз и впряглись в лямки. Для Егора все знакомо, все повторялось — напомнило о былых скитаниях по дебрям тайги.

К Алдану выбрались уже зимним путем. На устье Маи весело плескался дымок из чума, бродили олени по склону сопки, копытили из-под снега ягель. Когда путники подошли ближе, то дурниной взревели почуявшие их собаки. Вылезла на белый свет из жилья круглолицая, улыбающаяся Лушка. Парфенов оторопел.

— Ядри ее в корень! Супруженция встречает, вот так диво!

— Насяльник шибко большой нас послал, сказал: «Игнаска собсем пропадай»,— спокойно отозвалась Лукерья,— пошли цай пить.

Николай Зайцев писал отчет: «Шестьдесят пять дней настоящей, хорошей работы решили судьбу района. Покрыты топографической и геологической съемкой около восьми тысяч квадратных километров. Сделано семьсот семьдесят километров сплавных маршрутов, выявлены десятки золотоносных ключей. В итоге открыт крупный золотоносный район на востоке Якутии».

За окном лютовала зима...

37

— Товарищи! Ленин нас учил, что настоящими руководителями-большевиками могут быть лишь такие люди, которые умеют не только учить рабочих и крестьян, но и учиться у них. Что же мы имеем на

приисках Алдана? Мы имеем яростное сопротивление консервативного техперсонала ко всем новшествам, исходящим из пролетарской среды горняков. Вспомните, когда мы внедряли подкалку и метод спаренных забоев, какой поднялся визг зааппаратившихся чиновников. На забойщиков устроили гонения, а Чернова и Васильева чуть не уволили из шахты насовсем. Некоторые несознательные рабочие тоже травили ударников. Только благодаря вмешательству партийных органов правое дело восторжествовало, мы сейчас даем золота в два, в три раза больше, наперекор саботажникам и врагам.

— Ты погляди, как он ловко чешет! — шепнул Парфенов на ухо Егору Быкову,— вот тебе и Петюнчик Вагин, вот тебе и былой обормот. Где разжился умом, ну-у-у, диво-о...

Да! На трибуне Дворца труда стоял Петя Вагин, бывший «фартовый парень и царь природы». Одет он в строгий синий костюм. На груди поблескивал орден Ленина, который вручил Вагину сам Михаил Иванович Калинин в Москве. Такие же ордена получили Чернов, Васильев, еще несколько горняков-ударников и Недзвецкий за рекордный монтаж драг. Щедро и справедливо отметила страна их самозабвенный труд. В самом деле, Петр Вагин здорово переменился. Если и выпадало теперь свободное время, то он не в ресторане шумел среди собутыльников, а сидел в библиотеке над головоломными книжками, учился в техникуме, а утром, толком не выспавшись, спешил на смену в шахту. Стал он проще и степеннее. Сейчас Вагин врубал каждое слово как стальное кайло в породу. Это был новый человек, перекованный тут, на этой земле. А с полгода назад он потряс всех знавших его раньше, выступив в клубе с интереснейшим докладом на читательской конференции «Пушкин и современность». Многие не могли поверить, что Вагин осилил всего Пушкина и сам писал доклад. А на следующий день Петя был приглашен в органы УНКВД для уточнения соцпроисхождения.

Петр Вагин только что вернулся с первого Всесоюзного совещания стахановцев. Он еще был под впечатлением встреч в Москве с людьми, установившими неимоверные рекорды производительности труда.

— Товарищи! — Вагин со всей силы жахнул чугунными кулачищами по трибуне,— вот, к примеру, кто я есть такой? Как я жизнь свою прожигал задарма — вспомнить муторно и стыдно! Бедовал на приисках в грязи, пьянстве и драках, шлялся невесть где в поисках счастья, книжки умные на самокрутки распускал, околачивался при жизни фартовщиком. И вот мне вручают высший орден имени самого Ленина. Это все случилось благодаря революции, это она повернула так нашу жизнь, что каждый способен делать своими руками не только свою судьбу, но и всего государства. Не будь революции, сгинул бы Петька Вагин от пьянки, как сгинули мой отец и его братья, пропал бы от непосильной работы на хозяина.

Товарищи! Ударничество у нас на Алдане приняло массовый размах, мы резко повысили производительность труда и считали, что достигли больших высот, а Стаханов взлетел еще выше, пламя его почина охватило все фабрики, рудники, заводы и колхозы. За Стахановым поставили рекорды и другие новаторы. Все они научились владеть новой техникой, а старые нормы, рассчитанные на безграмотных рабочих, отжили свой век.— Вагин опять грохнул кулаком по трибуне.— Стахановское движение есть промышленная революция, которая ведет нас к социализму скорым путем и даст зажиточную жизнь всему народу. Поднялся культурно-технический уровень у простых рабочих почти до инженерного уровня. Молодежь овладевает техникой, не терпит консерватизма и бюрократизма, пошла вперед, ломая устоявшиеся, старорежимные взгляды. Все началось снизу, стихийно, как и у нас открылись подкалка и спаренные забои. А чего бы не поработать от души, товарищи? Чего бы не учиться? У нас все есть: теплое жилье,

питание от пуза, веселые клубы, радио гремит, интересные книги под рукой каждого. Мы осознаем, что вкалываем не на толстозадого хозяина, а на самих себя, на свое рабочее общество. Я призываю партийные органы и руководителей треста немедля включиться в стахановское движение, без раскачки и волокиты. Создадим стахановские бригады и докажем всему свету, чего стоят алданские горняки. Беру обязательство своей бригадой дать за смену пять норм. И призываю вас всех потягаться с нами. Вот это будет ответ мировым буржуям! — Петя напоследок все же проломил кулаком доску трибуны и, смутившись (это Вагин-то!), спустился в зал.

На трибуну после него вышел из президиума пугающе-громадный управляющий трестом Купреев. В его пальцах стакан воды показался наперстком, одним глотком он осушил его и неожиданно улыбнулся. Такого за ним не примечалось.

— Товарищи! Тут Петро Вагин насыпал нам перцу под хвост за якобы бездеятельность и непонимание важности стахановского движения. Должен признать, есть у нас недостатки и проявления бюрократизма, но в основе он не прав. Партийное и управленческое ядро треста, да и всех приисков, в первую голову заинтересовано в ударничестве, тем паче в стахановских бригадах. А чтобы не говорить зря, не быть голословным, зачитаю вам только что полученный приказ «Главзолота» за номером четыреста тридцать пять, составленный специально для нас с вами, то есть для приисков Незаметного.

Купреев откашлялся, развернул бумаги:

— Первое: в течение октября месяца все Алданские рудники перевести на новые стахановские методы работы и, согласно приказу нашего наркома товарища Орджоникидзе, обеспечить дальнейшее повышение производительности труда, увеличение добычи золота и снижение себестоимости.— Купреев опять весело ухмыльнулся и поглядел в зал на Вагина: — Дальше, Петро, идет как по твоему заказу.

Второе: всем директорам предприятий обеспечить на рудниках необходимые производственно-организационные и технические условия для развития стахановского движения. Всем саботажникам,— Купреев взметнул свой голос до медвежьего рева,— давать самый резкий отпор, передавая дела о них прокуратуре и ставя вопрос перед партийными организациями об исключении саботажников из партии. Самую упорную борьбу вести с техническим консерватизмом, со старыми негодными навыками в горных выработках и разработках россыпей.

Третье, — управляющий ткнул пальцем в сторону сидящего рядом главного инженера треста,— вот ему предписано ли-и-ично-о возглавить борьбу за овладение новой техникой, лично знать всех лучших работников, раскрыть все их способности, заинтересовать их в развертывании работы, умело связывать их личные выгоды с выгодами треста.

Четвертое — это уж пункт приказа для меня, товарищ Вагин,— директорам и управляющим, вместе с умением заставлять всех подчиненных четко и производительно работать и выжимать из техники максимум возможного, не забывать о человеческом отношении к людям, заботясь о них, вникая в их нужды, нужды семей и детей. Директорам лично следить за тем, чтобы жизнь инженеров и рабочих на приисках была культурно организована и ничем не отличалась от жизни в больших городах.

Пятое — это уже касается всех вас, дорогие мои помощнички, не все же директорам отдуваться,— всем инженерам, заведующим шахтами, сменным мастерам меньше заниматься писаниной. Быстро давать практические указания забойщикам, устанавливать нормы на месте, правильно расставлять людей по забоям, следить за тем, чтобы все необходимое для четкой и безостановочной работы было заблаговременно подано и организовано. Лично знать каждого подземного рабочего, следить за его производительностью, за его заработком, для луч-

ших рабочих установить индивидуальные оклады с начислением премий, что по раз установленным нормам давало бы возможность заработков без ограничений, без каких-либо подгонов и регулирования. Рабочие могут развить какую угодно производительность труда и соответственно с этим получить прогрессивную оплату с премией за свою перевыработку. Равняться на лучшие рудники Донбасса и Криворожья! Правильный приказ, Вагин? — опять посмотрел в зал Купреев.

— Правильный,— кивнул забойщик,— особо верно про писанину. Забьется техперсонал по своим конторкам и шуршит весь день бумагой, как мышь в сене. А мы сами по себе. Ба-а-ашкатый мужик этот приказ составил, в точку угодил.

— Ну вот,— довольно приосанился управляющий,— должна происходить смычка верхов и низов, а не грызня во вред делу. Предупреждаю! Каждый из вас распишется под этим приказом и... не дай бог! Кто пойдет против или станет саботировать, я лично, как писано в этой бумаге, буду иметь с ним дело. Вопросы есть?

38

Косаревка... Шахта названа в честь генерального секретаря Цекамола — Александра Косарева. Как на буденовке, на островерхой шапке деревянного копра день и ночь горит электрическая красная звезда трудовых побед.

Косаревка — фронт. Передовая позиция новых людей. Идет бой за металл. Стахановец Васильев за смену накайлил сто четыре кубометра песков, норма выполнена на четыреста процентов, его рекорд перекрыли Вагин и двое горняков. Через год на шахтах Алдана уже было более двух тысяч стахановцев, а производительность труда на приисках выросла на сорок процентов.

Нет, это не было погоней за рекордами, аллилуйщиной и показухой, как боязливо говорили осторожные спецы.

Стахановское движение окрылило всех людей Косаревки, и шахта стала передовой в системе «Главзолото». Уже в марте тридцать шестого года приказом наркома Орджоникидзе награждены восемьдесят четыре алданских горняка знаком «Стахановец золотоплатиновой промышленности». Прибывают учиться на Алдан горняки с Амура и Бодайбо. А в результате затраты рабочего времени на промывку одного кубометра песка за год сократились на треть. Это не фунт изюму, это экономия миллионов рублей.

Окончив техникум, Егор Быков стал геологом на Косаревке. Он еще бредит просторами Джугджура, рвется в тайгу, но дела на прииске не пускают.

Егор медленно идет по штреку. В левой руке он несет жестяной фонарь — бленду. Урчит транспортер, унося к колодцу шахты галечники и пески. В отнорках тяжело дышат помпы-пульсометры, выгоняя по трубам на поверхность таликовую воду. По орт-поперечным выработкам громыхают тачками откатчики. От напора многометровых толщ породы потрескивает крепь. Кое-где выступает вечная мерзлота, ноги скользят по ней. Работает нацсмена. На Алдан прибыли десятки якутов — скотоводов и охотников. Поначалу они в ужасе убегали от трактора, спущенные в шахту, боялись тачечного скрипа, но со временем привыкли и теперь трудятся по-ударному. Несколько девушек якуток пошли в откатчицы, их отговаривали от тяжелого труда, но они добились своего и легко справляются с нормой. Бывшие батрачки у богачей-тойонов, привыкшие работать, они не отставали от мужчин в деле.

В одной из просечек возилась с тачкой Феклуша Павлова. Отвалилось колесо. Егор помог ей исправить поломку. Маленькая, крепкая

девушка благодарно улыбнулась, сверкнула узкими глазами в свете бленды.

— Пасиба, осень пасиба,— говорила она по-русски еще плохо.

Егор знал, что Фекла круглая сирота, выросла в нищете. За пять лет работы на Алдане она стала ударницей и членом ЯЦИК.

Петр Вагин кайлит сразу в четырех забоях. Обрушит в одном гору песков, пока откатчики их вывозят и завешивают огнива, он успевает сделать то же самое еще в трех и без передыху возвращается в первый. Петя спокойно и уверенно делает подкалку над скалой-полотном: со стуком валятся под ноги мокрые валуны, пески сами рушатся под точными и, казалось бы, не сильными ударами кайла.

Егор повесил бленду на стойку крепления и тронул Вагина за плечо.

— Дай помахаю, вспомню забойское дело.

Петя весело ощерился, нехотя протянул кайло.

— Давай, гони без сбоя, по-стахановски. Эх, Егор! — он потянулся и мечтательно проговорил: — Насмотрелся я в столице таких чудес, даже и не верю сейчас, что все это со мной было. Видывал парад на Красной площади, в небе стаи аэропланов, вожди с мавзолея Ленина мне махали рукой...

— Прям уж тебе!

— А кому же еще? Потом нас возили на экскурсии по заводам, катали в метро. Вот где красотища! Наши шахты по сравнению с ними — мышиные норы. Там механизация высшая. Потом с самим Орджоникидзе вот как с тобой говорил, руку ему жал. А после на курорт нас в Крым отправили: музыка, пальмы кругом, барышни нарядные гуляют по бережку. Ух, думаю, ай да Вагин! До какой жизни ты поднялся... Да, браток... Отвык ты от кайла, Егорша,— он выхватил из рук помощника инструмент и нанес им несколько мощных ударов, порода загрохотала, осыпаясь в большую кучу.

— Мастер! — подивился Егор.— Вот это, я понимаю, работа! Не то что я с бумаженциями вожусь.

— А ты в мою смену определяйся,— посерьезнел Вагин,— мы наворотим с тобой почище Стаханова. Отбойные молотки привезли.

В забойщики Егора отпустили с трудом. Только он начал работать в шахте, как отправили Тоню в приказном порядке на шестимесячные курсы в Москву, учиться по линии культпросвета. Пришлось ему метаться между Косаревкой и домом, забирать детей от Моисеихи после дневных смен, а после ночных — провожать в школу. Но дело пошло. Скоро добился звания стахановца. Замелькала его фамилия во всех восьмидесяти стенгазетах приисков, и несколько раз ее даже упоминали в «Алданском рабочем». Егор не только кайлил породу, но и скрупулезно изучал строение рóссыпного месторождения, вел геологические тетради, рисовал схемы залегания песков, пытался сам разобраться в секретах Тальвега — древнего русла реки, когда-то своевольно сформировавшей богатые золотые струи и надежно их упрятавшей. Постепенно, ошибаясь, мучаясь, перечитывая горы книг по геологии, Егор все отчетливее, благодаря своей интуиции, своему старательскому опыту, приобретенному с помощью таких специалистов, как Парфенов и Зайцев, постигал таинство наносных отложений. Уже не раз удивлял Быков руководителей точно выверенными прогнозами, и в конце концов он был назначен начальником отдела разведок треста.

Через неделю Егор взвыл от тоски и писания бумаг. Жизнь наверху шла размеренно. Никто никуда не спешил. Женщины трещали в камералке дни напролет о платьях и мужиках, мужики подолгу курили, трепались о чем угодно, только совершенно не интересовались служебными делами. В тресте Егор наблюдал, как крепнет чванство бюрократов, связанных круговой порукой, а работящих, честных испол-

нителей эта немногочисленная, но чрезвычайно активная группка коварно и хитро травила, используя для этого даже газету «Алданский рабочий». Какой-нибудь тип, под псевдонимом «Глаз», «Шпация» или «Юджен», мог выплеснуть ушат клеветы на безупречного во всех отношениях партийца. Потворствовал этому не кто иной, как сам редактор Оскомин.

Однажды к Егору зашел на работу Игнатий Парфенов. Поговорили, Игнатий был чем-то раздражен и напустился на Быкова с упреками.

— А ты счас,— усмехнулся он и ткнул пальцем в стол Егора,— забился вот в эту чиновничью конуру, а на все остальное наплевать?

— При чем здесь я?

— Твои работнички все глаза мне умозолили, шастают в рабочее время по магазинам и модисткам, даже кино глядят в свое удовольствие при хорошей зарплате. Беда-а, брат. Ясно дело, беда! Распускается народец потихоньку от сытой и вольной житухи, о порядке забывает напрочь. А горнячки под землей стахановскую пятилетку кайлят, жилы рвут себе, чтобы вот эти твои бездельники в рай коммунизма со всей родней въехали. Что же это такое?! А? Ить забойщики все это видят... Пыжатся, плюются и все одно прорубают кайлом им дорогу к изобилию и обжорству. Ить горняки тоже люди, хотят отдохнуть, грибков собрать, погулять другой раз с семьей. Нехорошее разделение проявилось, гнилое до жутковейности, зловредное. Вроде опять купчики и хозяйчики насели приискателям на шеи и ножки свесили. Да еще погоняют, вези, мол, резвей, коняга-работяга. Я по дурости своей спробовал пристыдить за безделье этих счетоводов-деловодов, сказал им правду в глаза. Так они такую поросячью визготню подняли все разом, да на всю контору, так оскорбленно заорали, облаяли дружно меня: троцкистом, оппортунистом, врагом народным, настрочили на службу доносы и анонимки — короче, вымазали кругом грязью, век не смыть. Сам уж не рад, что сунулся в их теплый хлев-стайку и помешал сладко жить.

— Чего же ты от меня хочешь, Игнатий? Я-то тут при чем? Ты опытный чекист, тебе и решать, как навести порядок. А своих я прижму, ты прав.

— Прижми, Егорша! Нету больше сил моих глядеть, как молодой с виду заведующий шахтой, отъевший ряху, зачинает превращаться в хозяйского деспота-смотрителя. Откуда же они берутся, эти барчуки? Ить при Советах выросли, а нутром удались в царского фельдфебеля... Не все, конечно. Заведующий Косаревкой, Рындин, мировой мужик, сам вышел из рабочего классу, учится, стремится к лучшему. И еще есть много командиров хоть куда. А вот промеж них гнилая солома проложена из чужих нашей жизни людей.

Ты будь построжей с подчиненными, Егор. Не распускай их, богом молю! Себя не жалеешь и их не щади. Помяни мое слово, как только им хвост прищемишь — сразу станут работать не на страх, а на совесть. Народу порядок нужен. Будет анархия — пропадем мы все. Буржуи сожрут нас с потрохами, в порошок сотрут, а землю поделят меж собой. Русскую землю! Об этом помни, Егор. Нельзя такого разору дозволить. А все начинается с малого: с таких вот кабинетиков, где только один начальник работает, а сотрудники балабонят, с чарки водки, выпитой с подчиненным тебе человеком, с малой услуги, потом взятки, а затем уж повального грабежа народного добра. Не дай бог разбалуется люд от всепрощения и безнаказанности, кинется в родовитость и богатство определяться, хана-а-а... Не обижайся. Дело гутарю!

— Как можно обижаться, Игнатий. Я сам уже не знаю, куда бежать от этой неволи бумажной.

— Бежать не надо, может быть, придет за этот стол после тебя вовсе пустой нутром человек. Нужно заставить работать всех по совести,— Игнатий призадумался и уставился в окно.

Егор молча глядел на его постаревшее мужественное лицо. Из глаз Парфенова исходила до удивления ясная и спокойная сила. И Быков вдруг подумал, что, дай этому самородному уму хорошее образование, обучай его с детства наукам, языкам, выведи его на простор культуры, и не сидел бы этот глыбастый мужик тут перед ним, а заворачивал делами в масштабе наркоматов.

Егор не сдержался.

— Игнатий...

— Чево? — Парфенов медленно повернулся.

— А ведь ты государственного калибра деятель. Если бы жизнь шла по твоим законам праведности, лучше и не надо.

— Хы-ы! Ударился в похвальбу. Че я тебе, девка? Что думаю, то и говорю. От этого как-то счас отучаются... А у меня болит сердце за все; гнетет, мучаюсь без сна ночами, ищу выхода. Ить так хорошо начинали, то же стахановское движение. Всколыхнулся народ, на дыбы медведем поднялся и агромадный скачок совершил. Хочется, чтобы не осклизнулось это дело на худых людях, чтобы не растеряли мы на пути своего задора. Особливо молодежь. За тебя я не боюсь, а вот как и с кем твоим детям выпадет жить, внукам нашим, земле этой? Вот об чем печаль моя, кручинушка горькая.

— Удивительно,— Егор встал,— если подойти к твоим словам трезво, Игнатий, то для иностранца будет век тебя не постичь. Простой, полуграмотный приискатель мыслит категориями члена правительства за всю страну, болит у Парфенова душа не за жратву и выпивку, не за деньги, а за отечество свое, за будущее его и настоящее.

— Во, во! Ясно дело, правильно углядел, Егорша. Ить русский человек завсегда прежде всего на этом стоял, от этого исходил. Как же не думать? Как же не делать было революции! Ить выхлестнулись махом из грязи на такой простор, аж дух захватывает. Еще лучше доля откроется при социализме, придет благость зажиточности в любой дом. Только по своему разумению я так решаю: не доведется им, нашим потомкам, барами лежать среди райских палат с угощеньями и... ни хрена не делать. Этот социализм, а потом и коммунизм могут удержаться только при случае, если все как один радостно будут работать. Прежде каждого шага настает пора — думать, а уж все предугадав, советские люди так размахнутся, что никакая сил не сдержит их движение в веках: ни бог, ни черт, ни главнейший капиталист.

— Ну, Игнатий! Тебе бы книжки писать, так складно чешешь,— подивился Егор.

— Если нужда придет — напишу. Сказано, человек на все способный, — усмехнулся Парфенов.

— Ладно... Пошли немного перекусим,— поднялся Быков,— за обеденным столом и договорим.

— Леший меня забери, ясно дело, надо подкрепиться и не отбивать тебя от дела.

Они вышли на улицу, двинулись по направлению к столовой, но Игнатий вдруг остановился и сдержал Егора за рукав.

— Ты поглянь, весна вскорости, сосульки повисли. Весна... Пахнет вовсю, прет к нам через снега дальние. Скоро забурлят реки, ручьи, опять в тайгу потянет до невозможности. Ключи, сопки... А я все о том же. Возьми к примеру ручей. Пока он бежит нетронутый и чистый — всю муть уносит, дышит и привольно живет. Но стоит на нем плотину возвести — откроется на первый взгляд широкий пруд: воды много, богато, красиво... а тихая вода вскорости ряской подернется, илом наполнится, зарастет корнями и травами и протухнет вонючим болотом на веки вечные. Не осилить даже паводку эту хлябь... Так и

люди, не могут без движения, пропадают от покоя, блажь их разная развратит, пьянка, хитрушки, наряды заграничные — очень даже просто, дети и внуки наши позарастают тиной и не станут чистыми бойцами продолжения революции... Вот беда-то...

— Слишком мрачную картину намалевал, Игнатий. Не будет так, разумных и честных людей много больше. Надо бороться с недостатками.

Только они уселись обедать, как в столовую влетел взбудораженный Вагин. В спецовке, в заляпанных грязью сагирах. Ошалело заорал:

— Братцы-ы! Косаревку топит, прорвалась вода из талика. Айда на аврал, бросайте чашки!

Не все кинулись за Петей, успел отметить на бегу Егор. И обожгло сердце безразличием этих людей. Игнатий был во многом прав. Ясно дело...

39

Неожиданно в семье Быковых начали вспыхивать ссоры. Егор терпеливо сносил мелочные упреки жены по поводу его якобы неправильных житейских «уклонов». Что с ней стряслось, он так и не понял. Попала шлея под хвост Тоне, как норовистой кобыле, и потеряла она контроль над собой, закусила удила и поперла, не разбирая правых и виноватых.

Она вдруг решила выдвинуть Егора в начальники шахты, постоянно приглашала людей с положением, которые, по ее замыслу, могли посодействовать его назначению. По-настоящему Егор обиделся тогда, когда подметил, что жена стесняется его брать с собой на всякие культурные мероприятия районного масштаба, видать, возомнила себя исключительной особой. Егор с горечью осознавал, что Тоня стала его раздражать, а когда она однажды бросилась на него с кулаками, то Егор ушел ночевать к Игнатию. С этого дня его не тянуло после работы домой, как прежде. Стряпать она перестала, считая возню с кастрюлями делом, не соответствующим своему положению в обществе, таскала детей по столовкам и норовила настроить ребятню против отца.

Вскоре ее послали в Москву на курсы культпросвета. Вернувшись оттуда, она приволокла с собой ученого. Моложавый, холеный и напыщенный мужчина лет сорока, с кучерявыми и побитыми сединой волосами, с брезгливо отвисшей нижней губой и тяжелыми глазами с поволокой. Говорил бесцеремонно, врастяг: он заручился поддержкой местных властей и нахрапом подступился к Быкову.

А дело было вот в чем. Егор как-то поведал жене о давних мытарствах в тайге, о библиотеке староверов, запрятанной в дебрях Станового хребта. Тоня рассказала об этом на курсах, и вскоре явился в общежитие Витольд Львович Осипов. Он долго выспрашивал у нее подробности. Потом стал водить Антонину по театрам, ресторанам, знакомить ее со своими коллегами, дарить ей дорогие безделушки.

Ошеломленная таким изысканным обхождением, бабья душенька размякла и... возгордилась. Поначалу ее тяготила сладкая любезность Витольда, она рассказывала ему о детях и муже, отчего он слегка морщился и целовал мокрыми губами ее ручку. Мудрый, опытный сердцебой, Осипов не торопил события и не хотел упустить своего момента. Идейная, дотоле честная и прямая Тоня совсем потеряла голову от лавины новой жизни: захваленная, заласканная вниманием, задобренная подарками...

Одним словом, в Алдан вернулась совсем другая женщина. Духовно сломанная Витольдом, научившаяся лгать себе и людям. Егор

сразу почувствовал, как она переменилась. Особенно его насторожило Тонино пристрастие к вину, которого она раньше терпеть не могла.

Витольд Львович напористо взялся обрабатывать Егора, вызнавая все о бесценной библиотеке древних рукописей. Он же хорошо знал, чего стоят староверческие тайны, какие можно заиметь деньги и какой приобрести научный капитал. Как-то они сидели за столом втроем. Рево и Люция играли во дворе. Тоня косилась то на одного, то на другого мужчину и вдруг поймала себя на мысли, что ей приятно ощущать свою власть над ними обоими, будто они, как в спектакле, распростерты у ее ног...

— Вот мандат и письмо Академии наук,— выложил гость документы,— вот распоряжение вашего начальника УНКВД о выделении двух сотрудников для охраны. Дело наиважнейшее, нужно срочно идти туда для составления каталога рукописей и отправки их в книгохранилище.

Егор молчал, вяло жевал кусок мяса, не нравилось ему это мероприятие. Он чувствовал, что расторопный ученый — человек нехороший, жестокий. И Витольд вдруг с раздражением понял, что его обаяние, покорившее Тоню, здесь оказалось беспомощным. Ученый даже растерялся перед этим неотесанным мужланом, спокойно взирающим на его суету, высокие бумаги и даже угрозы. Витольд натолкнулся на какую-то глыбу, непробиваемую стену духа и тщетно пытался навязать свое авторитетное мнение...

А Быков думал. Напряженно думал, вспоминая чуть не убившего его старика, несчетные полки с дощечками и берестяными грамотками. Заросший волосьем раскольник, с топором в жилистой руке, вдруг так явственно всплыл в памяти и прожег из того далека укорным взглядом, что Егору стало не по себе... Это был его мир! Его-о-о! Кусок его жизни, и не хотелось пускать туда чужака даже со справным мандатом. Егору порой казалось, что староверческий скит привиделся ему в горячечном сне: вот бежит взвизгивающая от радости лайка, вьется синий дымок над банькой, широкая заснеженная поляна...

— Егор Михеич,— сказала жена, возвращая его к действительности.— Это же большая честь для нас — оказать отечественной науке такую действенную помощь. Ты понимаешь, что там могут быть еще неизвестные книги, новое «Слово о полку Игореве» или еще что-то такое о жизни наших предков, что все ахнут! — Тоня взволнованно выпрямилась и заговорила с пафосом: — Я очень горжусь, что товарищ Осипов заинтересовался скитом и приехал к нам из самой Москвы!

— Помолчи! — грубо осадил жену Егор, хмуро оглядел ее удивленно застывшее лицо, никогда еще он так жестко с ней не говорил,— помолчи... А вам вот что скажу, товарищ ученый, сбрехала тебе моя баба. Нету никакой библиотеки, привиделось мне. Помирал в тайге от холода и голода, вот и привиделось.

— Все же ты хам, Егор! — как-то неестественно взвизгнула Тоня.— Как же мы теперь появимся в Москве?

— Я там ничего не потерял,— усмехнулся он,— и искать не буду.

— Сам же мне все подробно рассказывал, даже говорил о каких-то языческих богах: Перуне, Святовиде и Дажбоге, а теперь отпираешься?! Есть библиотека! Но почему ты не хочешь показать Витольду Львовичу какие-то церковные книжки? Мы сейчас по всей стране ведем активную борьбу с религией. В Москве снесли чуждый ее облику храм Христа Спасителя и прочие дурманящие народ колокольни... Должна тебя предупредить, что ты намерился совершить антипартийный поступок, не дозволяющий распознать и, возможно, уничтожить скрытое паучье гнездо подрывной религиозной литературы... И-и...

— Помолчи-и! — устало повторил Быков, искоса взглянул на гостя и уловил, как тот сурово поджал вислую губу, как напрягся и по-

бледнел,— нету библиотеки! Вот мой последний сказ! Если не верите — ищите. Смотрю я, дорогая жена, что вы спелись хорошо друг с другом и ножку твою под столом он не зря давит. До свиданья, дорогой товарищ,— повернулся Быков к Осипову,— я хорошенько подумаю, может быть, вспомню еще какую брехню, а вы опять к нам приезжайте.

— Вы за это ответите, ответите, товарищ Быков! — закипятился Витольд Львович.— Я сегодня же телеграмму в Москву дам, и вас под конвоем поведут туда, заста-авят вспомнить.

— Даже так? — Егор усмехнулся и встал.— Тогда нам не о чем больше судачить. Проваливай!

— Егор Михеич! — возмущенно взвилась голосом жена и раскраснеслась,— ты не имеешь права говорить с ученым в таком грубом и непочтительном тоне! Это некультурно! Ты поступаешь в антипартийном ракурсе. Немедленно извинись и завтра же собирайся в экспедицию!

— Эх ты-ы, приказчица... Ты ли это? Тоня? Опомнись! Видимо, ты удалась из той породы баб, кто без мужней трепки портится. Сразу на шею лезут и уздечку норовят одеть... а потом начинают презирать коня, ненавидеть люто за покорство и доброту. Скажу честно, есть библиотека! Но вам не покажу, не верю я вам...

— Поймите же наконец,— миролюбиво и податливо замаслил глазки Витольд Львович,— поймите, как это важно для науки — иметь первоисточники истории и культуры! Если там есть что-либо стоящее, я похлопочу в Москве, и ваши заслуги первооткрывателя обязательно отметят, возможно, большим орденом или премией и медалью академии.

— Понимаю, но не могу... нутром своим чую, что еще не пришло время копаться людям в тех рукописях. Так мне завещал последний хранитель-старец — ждать времени разумного. Не могу я показать, словно кто шепчет за спиной, предостерегает: «Не ходи, не смей! Грех тяжкий и неотмывный возьмешь на душу».

— Ха-ха-ха! — залилась Тоня смехом,— да ты, оказывается, религиозен! А я-то думала... я бьюсь с пережитками, людей к новой жизни лицом поворачиваю, а мужа хоть попом ставь на Алдане и церковь открывай.

— Ты замолчишь, или я за себя не ручаюсь,— тихо предостерег Егор, да так ожег ее взглядом, что Тоня осеклась на полуслове.

— Что же, до завтра, хозяева...— поднялся мрачный ученый.

Утром Быкова вызвали в райком.

Егору вручили предписание об экспедиции да хорошенько выругали за отказ в ней участвовать. Делать было нечего, запасся он картой, провиантом, а на следующий день уже сидел в кузове грузовика, мчащегося по Амуро-Якутской магистрали. Рядом уселись трое сотрудников УНКВД — для охраны ученого в тайге и оказания помощи в перевозке книг — и довольный Витольд Львович.

В Нагорном экспедицию ждали трое эвенков-проводников со связками оленей. Егор немного успокоился. Печально оглядывал дальние гольцы, за которыми было то заповедное место, где довелось спасаться от стужи и смерти в скитском приюте. Егор повел караван по правому берегу Тимптона, мимо Сухой протоки, где когда-то всласть упивался глухариным током, забирал от реки все правее в нехоженые крепи, к подножью Станового хребта.

К знакомой речушке выбрались к исходу недели. Егор давно уже признал трезубый останец, но умышленно заворачивал в сторону. Кружил по тайге, все еще не решив для себя — нужно ли идти к потайной дверце пещеры. Пришло ли время к этому? Ученый что-то заподозрил, торопил, гнал вперед людей, оброс волосьем по лицу и стал разительно походить на Иуду, памятного Егору по одному божественному лубку. Глаза Витольда Львовича алчно горели. Эвенки, очень

тонко понимающие людей, боялись его как огня, и Егор смутно понял из их разговоров меж собой, что проводники собираются убежать от страшного лючи. Быков же изнемог от душевных терзаний и все же привел караван на то место. Он велел оленеводам разбить бивак на краю поляны, а сам пошел якобы посмотреть тропу.

Там, где прежде стояли скит и банька, теперь росла трава, печь из дикого плитняка развалилась и походила на груду природного камня. Он прошел мимо пещеры и радостно отметил, что обвалившиеся на ее вход глыбы ничем примечательным не выделяются от обычных осыпей со скал. Витольд Львович не поверил Быкову и повел за ним следом людей. По каким-то только ему одному ведомым признакам определил, что тут ранее было жилье, давно сгоревшее и заросшее травой. Весело подскочил к Егору:

— Где-е? Немедленно укажи, где-е!

— Подожди, не помню. Столько лет прошло. Утром будем искать,— Быков еще раз воровато скользнул взглядом по глыбам порфиров и молча стал развьючивать оленей.

Надо было решать, решать окончательно и бесповоротно. Вроде бы и правильно, если книги попадут шелестеть в столицу, но что-то не давало Егору покоя, не верил он таким людям, как Осипов. За вечерним чаем у костра Егор решил подыграть Витольду Львовичу. Ох, напрасно залетный ученый почитал геолога за примитивного Ваньку, напрасно был так чванлив и самоуверен. И вот, вроде подобревший и сломленный, Егор стал доверительно рассказывать о том, как научился читать древнеславянское письмо в станичной гимназии и та наука помогла прочесть кое-что в случайно найденной в здешних горах староверской библиотеке, но вот смысл якобы не доходил до него, что за языческие боги там описаны и что за мудрости вещали давние летописцы... Польщенный вниманием и внезапной уступчивостью Быкова, ученый долго и витиевато объяснял библейские легенды, рассказывая о непокорности людей старой веры, поведал о корнях язычества, да так увлекся, что нечаянно проговорился о том, что совсем недавно был уполномочен делать ревизии в северных монастырях, скитах архангельских и уральских. А все книги, не имеющие отношения к его научным интересам, он бросал в костер. Подписывал акты... Егор успокоился и решил — не показывать! С этой минуты он готов был стать под дула винтовок, но своей тайны не открыл бы никогда.

Трое суток он водил ученого по дальним скалам и допек того до бешенства. Витольд Львович чувствовал, что библиотека где-то совсем рядом, а Быков прикидывается дурачком, подговаривает всех вернуться на Алдан. Тогда Осипов принудил даже эвенков искать, наорал на них, а этого делать не следовало... Витольд Львович думал, что она находится в каком-либо строении, и лазил по тайге, до рези в глазах высматривая с сопки крышу скита или лабаз и... нашел.

Однажды вечером он не вернулся на бивак. Ждали его всю ночь, потом искали два дня, а эвенки сидели на таборе и спокойно поглядывали в небо. И потом повели всех к одному распадку, куда стало слетаться воронье.

Витольд Львович напоролся на установленный кем-то самострел. Только Егор заметил, что огромный лук из цельной листвянки насторожен совсем недавно. Он подозрительно посмотрел на безучастные лица проводников и покачал головой. Они же убедительно твердили, что тетива самострела, сделанная из куска тунгусского маута, натянута еще раскольником... Двухаршинная стрела, действительно старая и даже чуть трухлявая, рассчитанная на сохатого, прошила ржавым кованым наконечником Витольда Львовича насквозь. Труп оказался нетронутым, даже медведь, видимо, побрезговал им.

Сотрудники УНКВД составили акт, закопали тело погибшего и пошли за проводниками к Нагорному.

На берегу Тимптона Егор увидел кем-то брошенный хороший плот, остановился, поджидая своих спутников, и сказал:

— Начальству своему доложите все как есть, а я поплыву на Джугджур. Продуктишек у нас еще много осталось. Никто меня в Алдане не ждет...

— У тебя же там жена с детьми! — удивленно выговорил один из оперативников.— Вон какие страсти тут бушуют, сгинешь, товарищ Быков.

— Не сгину... а насчет жены, вот, отдайте ей, нашел в сумке ученого,— он протянул фотокарточку Тони, на обороте ее рукой было красиво выведено: «Обворожительному Витольдику от его Киски!»...

Егор стоит на коленях у почерневшего от дождей и времени столбика. За его спиной оглушающе грохочет Фомин перекат, обдает холодным дыханием взвихренной в воздух воды.

Он выдирает с холмика густо вросшую траву, выдергивает упругие корни, и они с болезненным хрустом оголяют черную землю. И шепчет: «Марико-о, Марико-о, Марико-о...»

Еще никогда ему не было так бесприютно, так плохо и так смиренно-покойно, словно захлестнула его ранняя, какая-то старческая печаль. Кому же верить? Кого любить теперь? Он напоминал сам себе ослепленного тучей гнуса сохатого, который в беспамятстве ломится кругами по чащобе в поисках избавления, пока не свалится со скалы или не захряснет в болоте. «Марико-о... Марико-о...» Губы спеклись от голода, но есть не хотелось. Вытянуться бы на податливом мху да закрыть навеки глаза, усмирить смертушкой в себе думы, страданья — успокоиться навсегда.

Стояла летняя жарынь, в реке плескалась, кормилась чистоводная северная рыба, в сухой голубизне неба плавали два орлана-белохвоста и еще больше травили душу Егора своей обоюдной верностью на весь отпущенный жизнью срок. Пересилив одурманивающее безволие, Егор ступил на плот и вяло отпихнулся шестом от берега. После Гонамских порогов, которые довелось пройти в экспедиции Бризанта, Фомин перекат не принес былого наслаждения риском, не случилось былого очищения души, не окрылила радость победы над смертью, а навалилась еще большая усталость...

Безветрие... Дымная мгла зноя раскаляет все больше голову сиротливому человеку посреди гремящей жизнью реки. Отражение нависших скал в плесах пугает фантастической бездонной глубиной реки... И там, далеко-далеко под плотом, клубятся облака, уносятся к ним вершинами леса... Вот только крики орланов падают с неба, отхлестываются от воды...

— Марико-о... Марико...

На Джугджуре руководил геологоразведками старый знакомец Быкова — Вольдемар Бергин. Он принял Егора без лишних вопросов, радушно. Назначил сопровождать уходившую на поиски золотых узлов партию ученого-геолога Билибина, который выдвинул гипотезу о линейном распределении золотоносных месторождений, он даже отметил на своей карте теоретически доказанные места залегания россыпей. Совместно с геологами, сопровождавшими его, Билибин именно в обозначенных районах обнаружил богатейшие кладовые золота. Все это свидетельствовало о невероятной прозорливости ученого, перед фамилией которого еще никто не ставил слов «выдающийся геолог». Но он уже открыл ряд золоторудных провинций, в том числе на Колыме. Применив новейшие методы геофизической разведки, он же находит рудные жилы и вблизи Алдана, которых — по существовавшим геологическим канонам — просто быть не должно.

40

Быков торопливо разорвал конверт, и защемило печалью сердце от корявых строчек Игнатия Парфенова:

«Здорово, Егорша!

Сроду не писал писем, да скучаю по тебе — страсть господня. Житье у нас обныкновенное, все на местах стоит, пожару и мору нету, а это главное. А хочу я тебе сказать вот чё. Пущай и малость закомиссарилась Тонька, но уход твой в дальние края не одобряю. Кровью душенька обливается, когда завижу твоих неприкаянных горемышных деток. А по сему разумению приволоку я их всех на погляд зимней оказией. Все одно привезу. Тонька зримо присмирела, кается видать и горько жалкует за свою бабью промашку. Могёт быть вздуешь ее хорошенько да простишь? Стерпишься. Дети не виновны в ее дурости, им-то к чему в безотцовщине пропадать. Я им стал заместо деда, конфетков накуплю вдоволь, шуткую, а все одно не то. Глазенки у их со слезой застылой, печалью омытые не ребячьей. Даже смеяться разучились вовсе, молчком да молчком — чисто старички какие. Нельзя такой беды терпеть. Нету больше мочи глядеть на них, беззащитных сиротинок. Пропиши немедля, как мне быть, старому дураку, чё пересказать Тоньке, а привезу все одно, не я буду. Жди вскорости за эвтим посланием. Дела идут у нас хорошо. Петюнчик Вагин был опять аж на съезде в Москве. Вот так-то, брат. Ясно дело, нельзя совать свой нос в чужую жизнь. Поклон от меня отвесь Вольдемару Бергину, ево супруженции-матушке. На том и кончаю писать, умучился до звону в башке.

Игнаха».

А вскоре он и сам нагрянул по зимнику. Тоня ехать боялась, но Парфенов уговорил ее кое-как. Жалко ему было бабу, изменилась она на глазах, даже подалась работать в шахту откатчицей. Втихую стала попивать и сразу поблекла — пропал румянец и первые морщинки побежали около глаз. Ходила на работу, бодрилась, но враз падали руки, когда ловила на себе укорные взгляды детей, дивилась их взрослой понятливости, терзали они ее вопросами — где запропастился их тятя и когда вернется. Каждый день они ждали его, каждый час, наготовили подарков, накалились мечтаниями встречи, бешено неслись к дверям от каждого стука на крыльце. Тоня понимала, что по ее вине оборвалась крепкая бечева правды, связывающая воедино семью, и та рассыпалась вязанкой хвороста, распалась — не собрать. Тоня ехала с содроганием, неизгладимая вина жгла ей щеки, уже давно разучилась глядеть людям в глаза, а от доброго участия Игнатия Парфенова в ее судьбе изнывала пуще всего.

Егора они застали врасплох. После шумного совещания у Бергина в кабинете возбужденные геологи вывалили на улицу из новой конторы. И от неожиданного сдвоенного детского крика на мгновенье обездвижел Быков. Сорвавшись с оленьих нарт, к нему стремительно летели два закутанных в меха человечка, простирая руки над головами и судорожно крича: «Батяня-а, батя-а, батя!»

Егор скрипнул зубами, сглотнул подступивший к горлу комок, качнувшись, шагнул навстречу.

— Чево ж ты наделала, Тонька! А? — не сдержался Игнатий, вытирая слезы рукавом,— на колени стань, а прощенье вымоли. Вымоли! Не то прокляну навек, как последнюю потаскуху... Ить ты прежде всего мать! А потом уж... самка в охоте. Эх, ты-ы... идейная...

Его казнящие слова хлестанули кнутом померкшую Тоню. Егор подошел к ним сияющий — ведя за руки Рево и Люцию. Тоня медленно подняла голову и едва слышно прошептала:

— Прости, Егор, ради них прости...

— Ладно,— посуровел он.

— Не-е, Егорша. Ты отчасти сам виноватый,— благодушно перебил его Парфенов,— бабу в узде надо держать, а ты себя подмять дозволил. Ясно дело, не ты первый, не ты последний. Деды наши не дураки были, когда трепку женам давали опосля баньки кажную неделю: не так вытоплена, пар слабый, квасок не скусный... А зато жили

в мире. Да ладно уж! Чё говорить, утеряли семейскую твердость. Где твоя фатера, сказывай. Ребятишки подмерзли в путях, поспать бы им в тепле.

Парфенов на следующий день отдал засургученный пакет Бергину и остался на прииске при конном дворе. В секретном циркуляре УНКВД предписывалось управляющему недавно организованного треста «Джугджурзолото» оказывать всяческое содействие Игнатию Парфенову, срубить ему отдельный домик под жилье в самый короткий срок. Вольдемар, как и предписывалось, сжег письмо после прочтения, взглянул на Игнатия:

— Все партизанишь?

— По нужде приходится.

— Мне, конечно, не доверишься, с какой целью сюда послан?

— Почему же, кое-што могу открыть, как старому другу и партейцу, но без разглашения. Не вздумай даже во сне оговориться. Дело государственное, сам понимаешь.

— Будь уверен в этом, или не знаешь меня?

— Знаю, крутой ты мужик. Один возвернувшийся старатель жаловался мне на Алдане: подумаешь, грит, запил на два дня, а Бергин вывел за ручку к берегу Аллаха и толкует...

— Горсть пшена, два бревна и проваливай? — засмеялся Вольдемар.— Так?

— Во-во, шибко обиделся на тебя.

— Мне тут пьяницы и бездельники не нужны,— помрачнел управляющий,— нет права у меня быть добреньким. План выполнять надо. Слушаю тебя, говори...

— Так во-от... Наш старый казнитель, атаман Семенов, пишет в газетке «Голос эмигрантов», я счас прочту вслух,— Игнатий порылся за пазухой и осторожно достал вырезку,— вроде бы ничего страшного, но ты мужик толковый и вникнешь: «Нам, русским националистам, нужно проникнуться сознанием ответственного момента и не закрывать глаза на тот факт, что у нас нет другого правильного пути, как только честно и открыто идти с передовыми державами «оси» — Японией и Германией».

— Все не угомонится, сволочь,— огладил Бергин усы,— мало мы его трепали. Удрал, гад, за кордон...

— Гришка написал Гитлеру в 1933 году личное письмо, в котором приветствует и благословляет захват власти фашистами. После оккупации Маньчжурии японцами вызвал Семенова полковник Исимура, начальник второго отдела штаба Квантунской армии, и предложил ему формировать белогвардейские части для совместного нападения на СССР.

— Опять смерти нам готовят.

— Эти полки уже формируются. Ясно дело, Гришка — враг лютый. Но не это главное. Семенов состоит на службе у японской контрразведки, его подручные организовывают у нас шпионаж, диверсии, террор. Выбрали в Харбине фюрера белогвардейских фашистов Родзаевского и организовали РФС — Российский фашистский союз. Родзаевским создана секретная разведывательная школа, а этой весной, по нашим оперативным данным, две группы появятся на Алдане и Джугджуре с целью выяснения валютного потенциала и срыва золотодобычи любыми средствами. На пороге новой войны против России наше богатство им — как нож вострый под брюхо...

— Какой войны, что ты мелешь?

— Опасаться — значит предвидеть, сказал один мудрец. В тайге уже давно бродят старатели-семеновцы из Харбина, созданы потайные артели, а золото идет в казну белоэмигрантов для борьбы с нами же.

— Удивил ты меня, Игнат. Вроде простой мужик, а такими делами и словами ворочаешь при случае, даже не верится. Эко они размахнулись! Надо ухо держать востро. Да разве в одиночку ты что сделаешь?

— Я не один, есть тут наши люди и еще прибудут, но о письме не забывай, помогай чем можешь.

— Обязательно. Через три дня избушку тебе срубим. Впрочем, для такого дела могу освободить свою квартиру, а сам на время переберусь в контору. Дело безотлагательное!

— Не стоит суетиться, люди поудивятся. Сам управляющий какому-то деду жилье отдал. Домик мне неказистый нужен, неприметный. Егорка Быков поможет, еще пару человек сыщем подсобить, а топор я еще не разучился в руках держать. Ну а лесу подбрось. Ишо об одном попрошу, вскорости съедутся сюда мои дружки-тунгусы, не забижай их и не отгоняй. На них у меня главная надежа — сыскать в тайге дымки костров, следы чужаков, а потом и взять их врасплох тепленькими.

— Ясно. Ну что же... спасибо за откровенность. Пойдем ко мне чай пить, матушка пельменей настряпала. Там договорим.

Вскоре стали захаживать в избенку нового конюха незнакомые люди: возчики, тунгусы, уполномоченные госзайма и прочие командированные-пришлые. Парфенов часто выезжал невесть куда, а по возвращении тащил кучу гостинцев в дом Быковых, игрался с ребятишками, балагурил, но с болью примечал, что не срастаются опять душами их отец и мать, даже спали они раздельно. А потом Тоня ушла в общежитие. Не вынесла, не стерпелась, замкнулась в себе.

Парфенов посвятил Егора в свои планы, и они начали готовиться к весне. Игнатий отобрал лучших коней, подогнал к ним сбрую и седла, особенно тщательно проверил оружие. Его было много, на добрый партизанский отряд, даже новенький ручной пулемет таился до времени в замкнутом прирубе-кладовой.

Только стаяли снега, как примчался на прииск, запалив оленей, молодой тунгус. Игнатий бегом кинулся к Бергину, а через пару часов полтора десятка всадников, по одному, чтобы не привлечь внимания, покинули прииск. В назначенном месте собрались и тронулись караваном в сторону Юдомы. Впереди ехал эвенк, за ним — Игнатий, Егор и молодые горняки с выправкой кадровых военных. Руководил ими опытный оперативник.

Дней через десять пути в глухом таежном распадке окружили стан неизвестной артели старателей. По ключу бугрились отвалы шурфов, два крепких зимовья глядели на все стороны щелями бойниц. Командир распределил своих бойцов вокруг лагеря и велел ждать обеда, когда приискатели вылезут из шурфов и соберутся у длинного стола, что стоял между избушками. Лагерь охраняли трое часовых с японскими карабинами.

Наконец настало время обеда. Китаец-повар разлил по котелкам варево, и когда склонилось над столом десятка два голов, над ними низко просвистели пули, выпущенные из пулемета. А затем из леса со всех сторон выскочили люди с винтовками наперевес. Егор стремглав кинулся к пирамиде оружия у костра. Видя, что туда уже бросились враги, метнул две гранаты, а сам упал и откатился за ствол лиственницы.

— Сдавайтесь! — хрипло гаркнул Игнатий, медведем вышагнул из-за избы.

Оставшиеся в живых подняли руки, скучились. У костра стонали раненые. Оружие разметало взрывом, в огне жарко горела ложа арисаки.

Егор услышал стук двери за спиной Игнатия и не успел среагировать — из тьмы избушки грохнул выстрел. Игнатий покачнулся, медленно повернул голову и упал. Быков прыгнул за пень, а потом зиг-

загами бросился к зимовью и кувыркнулся в темный проем двери. Это и спасло Егора. Оглушительно бабахнул карабин, но Быков уже пригляделся, собрался и ударом ноги свалил стрелявшего. Затем выволок обмякшего человека за шиворот, машинально глянул в лицо и отпрянул. Перед ним в беспамятстве лежал отец... Постаревший, тяжелый и обрюзгший Михей Быков. Судорожно вздохнув, Егор медленно пошел к Игнатию. Тот силился подняться, но руки подламывались. На груди Парфенова расплывалось кровавое пятно.

— Все, Егорша... угораздило насмерть,— Игнатий хрипло закашлялся и сплюнул на мох алый сгусток,—в легкое угодила пулька...

Егор торопливо полоснул ножом на нем рубаху и стал туго его бинтовать, а сам с дрожью в голосе успокаивал:

— Ниче-е, Игнатий, оклемаешься... тебе ведь не впервой быть стреляным, сам сказывал... вылечим...

— Хто эт меня саданул?

— Не поверишь — батяня мой, вот где встретились...

— Живой он?

— Живой, в беспамятстве.

— Об одном прошу, не зверствуй, он твой родитель. Суд решит как быть. Не подымай руку на отца.

— Если отдышится, не трону. Приголубил я его крепко, по науке Кацумато. Вот беда, Игнатий...

Егору было жалко до слез приискателя. Он тупо и отчужденно смотрел на лежащего отца, и ничего не ворохнулось в душе: ни жалости, ни печали.

Отряд возвращался к Юдоме. Понурые пленники волокли своих раненых. Меж двух лошадей покачивались носилки с Игнатием. Руки Михея Быкова были привязаны к задней луке седла на Егоровом коне. Всю дорогу он не проронил ни слова, злобно и испытующе поглядывая на сына, и ухмылялся в бороду. У переправы через реку Парфенов велел снять себя и слабым голосом подозвал Егора. Скулы у раненого выжелтелись, заострился нос и впали щеки. Отрывисто заговорил:

— Ясно дело... не жилец я, Егорша. Богом молю тебя! Угадал я голец поблизости, с которого мы с тобой оглядывали Джугджур при экспедиции Зайцева. Тут вовсе недалече. Отнесите меня туда. Хочу напоследок все края оглядеть и помру легко... Отнесите-е...

— Не имею права, Игнатий! На прииск спешим, там фельдшер. Операция тебе нужна, пулю вынут.

— Я уже мертвый давно, Егорша... крепился для этой просьбы. Богом молю! — возвысил голос Игнатий,— это моя последняя воля,— закашлялся и прикрыл глаза,— Егорша... снесите с ребятками. Там и схороните меня, дюже место приглядное, просторное. Любо будет лежать старику, весело...

До подножия гольца довезли Парфенова на лошадях, потом вчетвером взялись за носилки. Основной отряд ждал у реки, охраняя пленных. Егор был уверен, что посмотрит Игнатий с верхотуры на тайгу, ублажит себя, а потом они быстренько вернутся и поспешат к фельдшеру на операцию. Быков даже повеселел от такой мысли.

— Ох и тяжеленный ты, Игнатий, как самородок золотой!

Парфенов вяло улыбнулся, не открывая глаз. К исходу дня приискателя уложили на плоский обомшелый камень на самом верху гольца. Игнатий поднатужился и сел, широко открытыми глазами оглядывался вокруг, и тут обожгла его пронзительная мысль: «Неужто все это со мной стряслось... неужто вот счас и помру?» И вся прошлая жизнь пробежала перед его взором, как мимолетный ветерок по вершинам стлаников. И он уже не замечал, что рассуждает вслух, тяжело выдавливая каждое слово, наставляя даже в эти мгновения Егора, ставшего ему ближе всех и родней.

— ...Вот и все-е... я-ясно дело-о... вроде и не жил, так скоро все ушло... Ясно дело, хотелось бы глянуть, кем станут детки, и твои, Егорша... уж больно я их любил. Кем будут мои дети... как Лушка теперь останется с ими... Верю... ты слышишь, Егор? Верю-ю, что жизнь будет чище, люди душами осветлеют и наша Расея придет к великой мощи... от этого и в радости помираю... Верую в идею большевиков, наказываю и тебе верить... Только не сбейся, не оступись, не замажься грязью... Кое-что и я успел сделать для этой победы... Верую... — он замолк, набираясь сил, часто хватал ртом воздух и, потом уже наспех, боясь, что не успеет, захрипел: — Спасибо тебе, сынок, что дозволил увидать отсель всю нашу землю... так неохота помирать, а надо... Прощайте, Джугджур и милый сердцу Становой хребетушка, прощевайте, ребята...

Он закашлялся, откинулся на камне. Жизнь не хотела покидать могучее тело приискателя. Смерть коробила его судорогами, ломала и выгибала спину дугой, но, даже зная о ее приходе, Игнатий не отступал. Боролся... И все же затих, вытянулся во весь свой громадный рост, раскидав широко ноги и руки, словно обнимал все небесное и земное, все, что любил и оставил жить после себя...

Егор безутешно рыдал, как малое дитя, упав за куст стланика. Безумно бормотал: «Ясно дело, ясно дело... ясно дело...»

Над могилой троекратно грохнул залп. Парфенова укрыли мягкими веточками лиственницы, забросали землей и сложили из больших камней поверх холмика высокий тур. И в глазах Егора остался облик не того Игнахи Сохача, которого он помнил по харбинскому знакомству. Постарила и выцветила его смерть, но именно через все это, через седину и бледность, от него исходила какая-то удивительная святость — свет мудрости и добра.

А только рассвело, вскарабкался на вершину гольца в перезвяке колокольцев согбенный Эйнэ. Он слышал выстрелы на сопке и решил посмотреть, зачем палили в его горах неизвестные люди. Разглядывал трахомными глазами корявые буквы на плоском камне, выцарапанные стальным ножом: «Игнаха Парфенов-Сохач». Эйнэ клекотно рассмеялся, достал из-за спины дряхлый бубен и запрыгал вокруг желанной могилы, камлая и воя...

Михею Быкову уж в который раз привиделась страшная в своей обыденности казнь в Чите... Красноармейцев и партизан согнали гуртом к скобяному складу, рубленному из свежего бруса. Пахло смолой и колесным дегтем. Звероватый вахмистр, родом из Зерентуя, повелел раздеться пленным донага, их добрую одежонку и сапоги сразу же расхватали казаки. Измученные допросами и ранами, люди безропотно подчинялись. Их разбили на три партии... Громыхнул первый залп, и навсегда запечатлелось в памяти Михея, как по-разному умирают люди. Одни, прошитые пулями, судорожно выгибались и поднимались в смертной истоме на самые кончики босых пальцев, выдирая спинами мох из пазов склада. Другие падали молчком, сраженные наповал, третьи выкрикивали проклятья... Совсем немногие плакали и молились, а молодой парнишонка, видать, в одночасье свихнувшийся, радостно щерился и напевал. Перешагивая через их еще дергающиеся в конвульсиях тела, вторая партия стала под дула винтовок, и опять грохнул залп... Ни один из красных не запросил пощады. Распаленные кровью, конвойные не сдержались, желая скорей закончить это страшное дело, налетели конями на оставшихся пленных... Хряск и сверкание шашек до сих пор снятся сотнику Быкову.

И вот он сидел на берегу Юдомы, прислонившись спиной к толстой сосне, щупая ее живую, шероховатую кору связанными сзади руками. Недавний скоротечный бой, внезапная встреча с сыном перетряхнули его душу... Михей искоса озирал вооруженных молодых лю-

дей, которые охраняли пленных: чекисты были похожи на тех, кто умирал в Чите под пулями его сотни. Простые русские лица... и тут Михей понял окончательно, что пришел все же сюда не ради мщения или золота, а для того, чтобы поглядеть, как тут стали жить.

Михей поднял глаза вверх и коснулся затылком коры дерева. Высоко в небо уходил мощный ствол вековой сосны. Дерево жило, он чуял, как оно чуть вздрагивает от ветра, как шевелятся под ним корни, вбирая соки земные... И стало Михею жалко себя. Страшное раскаяние накатило ознобом, и возник перед глазами Макарка Слепцов, единственный человек, который пытался образумить его, остановить, помочь ему жить праведно.

А когда пришли посуровевшие люди с горы, а его родной сын Егор даже не взглянул на отца, то Михей понял, что жить ему больше нельзя... Он никогда не был трусом и не боялся расплаты, он ее принимал заслуженно: но захотелось умереть самому, опаленный этой идеей, он воспрянул духом и стал лихорадочно соображать, как это сделать.

Когда его позорно, не по-казачьи, взгромоздили на лошадь и сын молчком пошел рядом, Михей тихо окликнул его. Егор не отозвался... Но все же услышал слова отца:

— Прости, сынок... я, верно, счас помру. Не поминай лихом. Все же помру на своей земле...

Егор не придал значения этому, а когда началась переправа выше буйного переката, Михей выдрал руки из веревок и сиганул в самую кипень грохочущей меж камней воды.

— Хорошую смерть обрел,— позавидовал один из пленных...

Прошло два года. Быковы опять вернулись в свой дом на Алдане. Истосковался Егор по друзьям-товарищам, не смог жить вблизи того места, где был похоронен Игнатий Парфенов, изболелся душой.

На Алдане уже работали шесть драг. Незаметный разросся и был указом наречен городом. Егор отказался от конторской работы, вспомнил о предложении Бергина и решил посвятить свою жизнь геологии, делу, которым занимался Игнатий. Война застала Быкова на курорте. За пять дней до окончания путевки он двинул в Москву. Добрался со своим деревянным сундучком до приемной НКВД и протянул дежурному майору часы с дарственной надписью, как пароль.

— Ого! От ОГПУ...

Через месяц Егор Быков уже летел за линию фронта. В тесном салоне дремали парашютисты, зажав автоматы меж колен...

Егор все дальше уносился от Якутии. Там в это время наступает утро. Он явственно представил летний рассвет над Алданом, Становым хребтом, Джугджуром, ошеломляющую чистоту красок, прохладное дуновение раннего ветерка и сокрытые легким туманом еще сонные реки. Он услышал рев Фомина переката... доплыли отчаянные крики Марико. Увидел как-то неясно испуганную Тоню на радиогоре в первый их вечер. А уж Игнаха-Сохач проявился, отпечатался в его сознании — весь, до мельчайшей волосинки в бороде, до последнего смертного хрипа: «Верую-у!» Был он почему-то с Рево и Люцией на руках, весело хохотал и щекотал их лица колючей бородой...

Быков очнулся от голоса выглянувшего из кабины летчика:

— Пошли-и, хлопцы! Пошли, братки!

— Ясно дело, пошли,— невольно вырвалось у Егора.

Он легко и тренированно прянул в темь...

Геннадий СЕРЕБРЯКОВ



Достоинство

Ситцевая радуга

Пусть мне родной фабричный край
приснится,
Что до сих пор в душе моей
храним.
И радуга из простенького ситца
Пускай легко раскинется над ним.

Войду в ее раскрытые ворота,
Вернувшись с поседелой головой.
И помолчу, задумавшись у входа,
и поклонюсь
Земле мастеровой.

Она меня кормила и растила,
Когда загинул батя на войне,
И от нее терпение и сила,
все доброе,
Что только есть во мне.

Мальчишкою, едва повыше плуга,
Я понял здесь однажды и навек,
Что честно жить на свете —
не заслуга.
Как может по-другому человек?!.

Тогда же посреди крестьянской
нивы
Познал я горечь слова «недород»
И то, что хлеб, которым люди живы,
Свое начало с пахаря берет...

А после, обо мне же беспокоясь,
Фабричной хватке обучала жизнь:
За дело взялся — выполни
на совесть,
Иначе лучше вовсе не берись!..

И памятуй всегда — возрос
не где-то,
А в крепкой пролетарской стороне,
Что родиною первого Совета
По праву почитается в стране.

Задумал слово говорить народу,
Руби с плеча всю правду про житье.
С оглядкою, кому-нибудь в угоду,
Лукаво не подлаживай ее.

Себе знай цену! Не ходи
в прислугах
И блага не проси из чьих-то рук,
Будь лучше обойденным
при заслугах,
Чем жалованным щедро
без заслуг!..

Запоминал я строгие уроки
Моей родной отеческой земли.
Ну а потом далекие дороги
Меня в края иные увели.

И было все — и радости и беды,
Но в сердце главной жизненной
струной
Звучали непреложные заветы,
С мальчишества усвоенные мной.

Случалось — ошибался, оступался,
Запальчивой горячностью дыша,
Но тем заветам верен оставался,
На них свое равнение держа.

Мне край родимый вновь ночами
снится,
Все так же учит быть самим собой,
И радуга из простенького ситца
Плывет, как прежде, над моей
судьбой.

* * *

Замешивай долю, как деды,
В просторах родимых полей.
Свои неудачи и беды
С достоинством преодолей.

А в тех неизбежных утратах,
Что не возвратятся назад,
Искать не спеши виноватых,—
Не ты ли в них сам виноват?..

Успехом чужим не терзаясь,
Приемли как благо его,
Поскольку погибельна зависть
Допрежь для себя самого.

Работай до смертного пота,
Ни сердца, ни рук не жалей,
Глядишь — и получится что-то
Из жизни непраздной твоей.

И люди, взглянув со вниманьем,
Оценят ее и поймут
И искренне, пусть с опозданьем,
Но все же добром помянут.

* * *

В тридцать втором, а не во время оно,
Приладив и заряды и запал,
Надгробную плиту Багратиона
Иуда новоявленный взрывал.

Уверенный в своей неправой силе,
Из разрушенья сделав ремесло,
Он мстил за что-то давнее России
Без суеты, расчетливо и зло.

Не где нибудь — на Бородинском поле —
Орудовал под каменной плитой,
Чтоб взрыв ударил по народной боли,
По вечной благодарности святой.

И гром взметнулся, вздрогнула равнина...
Что помышлял он, памятник губя,
В бессмертной славе русского грузина
Предвидевший помеху для себя?

Ужели то, что мы страшиться будем
Деяния его холодных рук,
И все, что он разрушил, позабудем,
Хотя бы постепенно, а не вдруг?

Ужели то, что поздно или рано
С той простотой, что хуже воровства,
Из сыновей мы вырастим Иванов,
Не помнящих ни славы, ни родства?

Но тщетны святотатства и угрозы,
И память перед ними устоит,
Поскольку крепче мрамора и бронзы,
И перед ней бессилен динамит.

Она одарит нас высокой верой
И будет чтить в одном большом ряду
Панфиловцев и стойких гренадеров,
Сражавшихся в Двенадцатом году.

И вновь на Бородинскую равнину
Ведут ее зовущие следы.
И к памятнику русскому грузину
Ложатся благодарные цветы.

* * *

Вновь в чувствах своих не вольны,
Восторженно смотрим и немо
На эти цветущие льны,
Смешавшие землю и небо.

Какой удивительный день
На радость нам выпал с тобою:
Ликует в полях голубень
И светится над головою.

Как будто навек за леса
Скатились ненастья и бури,
И заполонило глаза
Всемирной победой лазури.

А там, за далеким бугром,
Что синим плывет полукружьем,
Гремит затихающий гром
Последним на свете оружьем.



Алесь **КОЖЕДУБ**

АИСТА ВИЖУ!..

РАССКАЗ

К АИСТАМ у Мацкевича было особое отношение. Их, аистов, буслов по-белорусски, и птицами не назовешь. Величавые, какие-то недосягаемые в своих гнездах-буслянках, аисты снисходительно посматривали с высоты на людей, и, ей-богу, иной раз человек вдруг чувствовал себя лягушонком. Да, это случалось, Мацкевич никому не говорил о подобном ощущении, но оно было хорошо знакомо ему.

Рассказывают, что аист пошел от человека. В стародавние времена, еще когда бог ходил по земле, развелось страшное множество гадов, ползучих и летучих, и бог собрал их всех в один огромный мех, позвал человека, взвалил тот мех ему на спину и приказал отнести его далеко-далеко, наверное, туда, куда Макар телят не гонял. Человек пошел, а вся сволочь в мешке зашипела, зашевелилась, и человек вдруг решил поглядеть, что он такое несет. Развязал мех и остолбенел от страха. Гады же расползлись по земле, и опять на ней не ступить доброму человеку, хоть плачь. Бог, конечно, все видел, но не захотел во второй раз возиться с этой дрянью — и без того дел хватало. Он кинул порожний мех человеку и велел собирать сбежавших гадов. Но ведь не достанет человек гада на болоте или в речке, и бог немножко переделал его. Вот и ходит с той поры аист на цыбатых красных ногах, собирает жаб, змей, мышей. Очень занят он этой работой, но все же не забывает, что был когда-то человеком, не отбивается далеко от селений и совсем не боится людей, своих братьев.

Эту сказку Мацкевич слышал еще в детстве, на своем Полесье, и не забыл ее. Там, в Лисковичах, где Витик Мацкевич прожил первые десять лет своей жизни, были белые аисты, которые плавали в небесной синеве...

Немало лет минуло с той поры, немало городов объездил Мацкевич, однако полесские Лисковичи остались для него единственными и неповторимыми. Что ж тут говорить — родина! Собственно, именно там, на земле с топкими торфяниками и непроходимыми лозняками, он впервые весной увидел буську, как здесь называли аиста. Этот весенний день, день прилета аистов, ждали все дети, ибо знали: прилетит буська — обязательно принесет радость. Правда, в этот день бабка Рагозиха запрещала называть аиста буськой.

— Говорите — веселик! — чуть не ругалась она на ребятню, визжавшую под буслянкой.— Скажете по-другому, целый год журиться будете!

И это было понятно каждому: сегодня он веселик, а уже завтра обычный буська. Аисты в Лисковичах были привычны, как летний дождь. Под него попал — и кричишь, подпрыгивая: «Дождик, дождик, секани, бабу с поля прогони!» А прошел дождь — и забыл, это ж обычное дело, их вон как много, привычных вещей.

Мацкевичи уехали из Лисковичей, но аистов Витик запомнил. Он часто рассказывал о них друзьям-горожанам, только по телевизору и видевшим аистов. Мацкевич работал тележурналистом. В этой среде больше всего уважали людей находчивых, острых, так называемых анекдотчиков, но, как ни странно, истории про аистов тоже пользовались успехом. Какой-нибудь лысо-бородатый телеволк, услышав, что в голодный год аисты выкидывают из гнезда лишнее яйцо, вынимал изо рта трубку, держал долгую паузу, потом говорил:

— Н-да, эти знают!.. Матушку-природу не обманешь. Взять бы да съехать отсюда куда-нибудь в деревню... Назад надо, к землице!

И даже осветители, публика нахальная и циничная, в этот момент сочувственно молчали.

С тех пор Мацкевич в Лисковичах был только однажды. После десятого класса уговорил батьку съездить на родину, поглядеть на их хату с березами, на речку Пту. У батьки в Лисковичах остался друг, вместе с ним он начинал там работать, теперь этот друг был одним из районных начальников. И они поехали. Иван Макарович встретил хорошо, почти не выпускал из-за стола, все вспоминали молодость. А Виктор рвался на улицу. «Ну иди, — наконец разрешил Иван Макарович, — да что смотреть? Лисковичи как Лисковичи, вот только центральную площадь заасфальтировали».

Лисковичи и правда не изменились: тихие улочки, хаты в тени садов, за заборами собаки на цепи, в пыли копошатся куры. Только все как бы стало намного меньше, чем прежде. А больше всего уменьшилась хата, в которой Виктор жил, она просто вросла в землю, бедная, Мацкевич даже побоялся в нее зайти. В растерянности он походил по улицам, обошел вокруг школу-восьмилетку, в которой учился, и подался назад. Последнее дело — искать вчерашний день.

В хате Ивана Макаровича давно уже всем было весело, и никто не заметил его подавленного настроения. Вспоминали послевоенные годы, когда Иван Макарович и батька в числе «тридцатитысячников» поехали поднимать деревню, Иван Макарович — председателем, батька — бухгалтером колхоза.

— Только такие, как мы, и поехали, — говорил батька. — Которые похитрее, тут остались, отсиделись. Кто поедет? Василь да Иван. А у нас дети малые, Витику, может, год был. Сын, помнишь Денисковичи?

— Нет, — покрутил головой Виктор, — сам же говоришь — год был.

— Ты там еще с подоконника упал. — Батька стал рассказывать всем: — Мать посадила его на окно, отвернулась, а он — кувырк в палисадник! Она — за ним, тоже через окно. Так что вы думаете? Ни одной царапинки не было! Стоит в цветах и смеется. А начал ходить, так его все в деревне знали. Возле нашей хаты мужики собирались, курят, про политику там рассуждают, про самогонку, тогда как раз борьба шла, опять начали самогонщиков гонять. Покажешь, у кого аппарат, двадцать или тридцать рублей давали старыми. Так Витик идет к ним и каждому руку подает: «Драстуйте!» Мужики смеются: «От малый дак малый! Генералом будет!»

«Генерал... — мрачно думает Виктор. — Какой там генерал, хоть бы в сержанты выбиться...»

— Небось, — не стихал батька, — из районной верхушки никто не поехал, сидели, как мыши. А процент же нужен? И мы — вперед, а, Ваня, не побоялись, как некоторые? Вот на таких и возят, тянешь — на тебе еще мешок...

— Ну ты, Василь, пережимаешь, — смеялся Иван Макарович, — мы тянули, потому что больше некому было. Да и все встало на свои места: тех, кто вместо себя нас выпихивал, никто уже и не помнит. А мы вот еще сидим, работаем. Зато теперь нас никакая холера не возьмет!

— Оно так, но несправедливость, знаешь, до сих пор помнится. Поехали все, кто первому был неугоден. Я на собраниях критиковал, ты тоже не молчал, поперек становился. А они молчунов любили, послушных.

— Так и теперь не поздоровится, если будешь лишнее говорить. Однако ничего, выдержали. У тебя вон сын какой взрослый, у меня дочки на выданье. Свое сделали!

— Если б не первый, я из Лисковичей никогда бы не уехал... Однако ж бывает, что и не хочешь, а сделаешь. Ты молодчина, терпеливый, а я нет. Шапку в охапку—и ходу.

За столом говорили, а Виктор сидел, будто обиженный. Ехал, можно сказать, на праздник, а его тут и не ждали. Но понемногу он примирился с Лисковичами, нынешними и прежними, они опять слились в один полесский городок-поселок, солнце над которым светило самое яркое, а метели лютовали самые лютые и наметали сугробы вровень с заборами, и даже до застрех. Честное слово, Витик однажды катался на лыжах со своего хлева, как с горки — столько нападало снега.

Мацкевич окончил университет, учительствовал в сельской школе, потом перебрался в город, работал в научном институте — и наконец попал на телевидение, так сказать, решил не отставать от времени. На телевидении прошел по служебной лестнице от младшего редактора до старшего, и заняло все это, от университета до телевидения, пятнадцать лет. Много это или мало? Видно, не много и не мало, а как раз сколько надо. Как автор и ведущий одной из телепередач он объехал почти все республики страны. Лисковичи же просто оставались родиной. Название этого городка Мацкевич писал в анкетах, рядом с датой своего рождения.

На телевидении начался цикл передач о природе и хозяйствах Белоруссии, и Мацкевич вдруг подумал: чем его Лисковичи хуже других мест? Сделал сценарный план, для этого даже не понадобилось ехать в район, достаточно было позвонить Ивану Макаровичу, который по-прежнему работал там и уже лет двадцать был членом бюро райкома. Аграрный район, осушенные торфяники, леса с клюквенными болотами, есть крепкие хозяйства, особенно животноводческие. Ничего необычного, однако и стыдиться нечего. Ну а пейзажи... Звонкие сосновые боры, моховые болота в летнем мареве, белые от валерьяны речные берега, желтые поляны зверобоя, сиреневые — колокольчиков... Ельники и березняки, дубняки и осинники — всего было много на той земле, щедро напоенной водой. Струились чистые речушки, затаенно молчали болотца, вела счет кукушка, и кружил над лугом коршун. Но все живое признавало власть аистов, хозяевами были они. Буслянки на деревьях, на хатах, на телеграфных столбах; аистиными следами испещрены песчаные речные плесы, а на сенокосных лугах, рядом с косилками, птиц больше, чем людей, просто целые стаи идут за машинами, высматривают лягушек, не обращая внимания на дым и треск. Где люди — там и аисты.

— Хоть посмотрите, как аисты летают, — говорил Мацкевич режиссеру Трофимову, оператору Загорскому, осветителю Мише и звукорежиссеру Тамаре — членам съемочной группы. — Одежда у них, как у тамошних бабок, — белая. Белые сорочки и юбки, только на крыльях немного черного, и красные ноги. Но ведь и у бабок кофты красным вышиты. Мне всегда интересно было знать, отчего у аистят клювы черные, а у взрослых красные.

— Рака сварить — тоже красным станет, — показал свои знания Валера Загорский, хлопец, как говорили многие, недалекий, но безотказный, снимет все, что ни попросишь; Мацкевич с ним ездить любил.— Ничего, и аистов снимем — белых, красных... каких надо. У Загорского лишняя кинопленка всегда найдется, не пропадем.

Трофимов, главный режиссер их редакции, сначала отмалчивался, а потом, неожиданно для Мацкевича, сам вызвался поехать в «непрестижную» командировку — в один из далеких районов Полесья. Человек он был довольно молодой, подвижный, знающий, передача с таким режиссером только выиграет. Съемочная группа подобралась хорошая, Мацкевич был доволен. Даже пожилой шофер «рафика» Петр Петрович оказался весельчаком, охотно шутил и хохотал над анекдотами. Лишь Тамара сидела немного настороженная, да это и не удивительно, все же единственная девушка в компании мужчин.

Главный редактор, отправляя Мацкевича в командировку, предупредил:

— Ты там в мелиорацию особенно не влезай, нажимай больше на лирику, у нас ведь редакция художественная. Сними пейзажи, почитай за кадром стихи, это всем понравится. А мелиораторов и без тебя есть кому ругать, видел же интервью с директором института мелиорации и водного хозяйства?

— Видел, — согласился Мацкевич. — Не знаю только, что те мелиораторы для меня оставили... в плане пейзажей. У нас ведь главное богатство — болота. А если не будет болот — что снимать?

— Снимешь! — охотно подхватил шутку главный. — Бабульку, аиста на лугу, речечку. Полесье как ни снимай — всегда в «яблочко» попадешь. Интерьеры, так сказать, наивысшей эстетической завершенности. Я по Припяти плыл, так душа радовалась. Что места, что люди, что их язык. Все необычное — и все свое. Давай, желаю успеха.

Главный не случайно вспомнил об интервью с директором республиканского института мелиорации. Тележурналист, который брал интервью, не сдержался и начал говорить о высохших речках, пустынных полях, черных бурях и безводных ко-

лодцах. Не сдержался, в свою очередь, и директор. «Лес рубят—щепки летят, — говорил он. — Облик земли должен быть изменен, и чем быстрее, тем лучше. Необходимо остановить деятельность всяких маловеров и скептиков, которые всюду говорят и пишут о частичных издержках мелиорации. Что б там ни писали некоторые в своих романах и статьях, а Полесье изменится, станет другим, лучше и краше. Это главная задача нашего времени».

Самое странное, что после интервью больше всего досталось журналисту. Начальству не понравилась провокационность его вопросов, интервьюеру — тон разговора, друзьям-журналистам — беззубость коллеги, который не сумел врезать правду-матку, сыпануть ею, как песком в глаза.

— Надо более ответственно готовиться к таким передачам, — сказал на общестудийной летучке главный редактор программ. — Надо не забывать, что их смотрят на самом верху и они имеют большой резонанс. У журналиста на первом плане должно быть чувство такта... Проблемы были и будут, когда-нибудь о них придется говорить, но — в свое время...

Из института мелиорации передали, что больше никакого обсуждения проблем Полесья не будет, пустой болтовней воз с места не сдвинешь, а подобные разговоры только сдерживают ход дела.

— Что ты сидел как мальчик? — допытывались у несчастного Королькова друзья-журналисты. — На него кричат, а он глазами хлопает. У тебя же цифры были, факты. Урожайность на мелиорированных землях низкая, торфяники слабые, малые речки исчезли — что этим мелиораторам еще надо?! Директор на передаче и так сидел красный, как бурак, а можно было сделать, чтоб совсем испекся... Эх ты!..

Корольков лишь поправлял очки, он выговорился на передаче, теперь только слушал.

— Так ты там не очень... — еще раз предупредил на прощанье главный.— Спокойненько, без эпатажа, художественно совершенно. Гусей дразнят только дураки. Но ты журналист опытный, потому и посылаем. Побольше стихов, можно и песню какую-нибудь, народную. Я и сам бы поехал, там же все распустилось, расцвело... Но разве ж вырвешься, сижу в кабинете как прикованный. Другой раз думаю: кинуть бы все, подать заявление — и в деревню. Нету времени писать!

Главный до прихода на телевидение издал несколько книжек прозы и теперь иногда тосковал по тому времени — бедноватому, но вольному: сидел себе, писал о чем хотел, ни от кого не зависел. Теперь же сам себе не хозяин: заседает, просматривает, издает приказы. Мацкевичу и то легче, чем ему, вот на Полесье едет. Эх, доля...

Но, как говорится, кесарю кесарево.

Командировочные дела сразу пошли хорошо, да и надо сказать, Мацкевич не сомневался, что все будет именно так. Разве могло быть иначе, когда командировка на родину и там ждет Иван Макарович, такой же бодрый, как пятнадцать лет назад, ну, может, немного поседевший.

Доехали без приключений, сразу разместились в лучших номерах малечькой гостиницы. Мацкевич позвонил Ивану Макаровичу, и оказалось, что программа для них давно подготовлена и утверждена.

— Подписано, и печать на подписи! — весело говорил Иван Макарович. — Я сам не могу вами заниматься, так будете со вторым секретарем ездить. Хороший хлопец, молодой, как и ты, острый. Первый ждет послезавтра. Завтра можете по району проехать, поглядеть, что и как. Я тут прикинул, к какому председателю подъехать, с кем поговорить... В рыбхоз обязательно надо, он у нас самый большой в республике. Так что заходи, жду.

О лучшем и мечтать трудно. Не надо никуда звонить, договариваться, менять одно на другое из-за того, что кто-то вдруг заболел, а кто-то уехал. Все отлажено, катись, как по рельсам. Но Виктор радовался только первые два-три дня, потом вдруг сник.

Собственно, ничего бы не изменилось, шел бы да ехал туда, куда его подталкивали, если б однажды, на центральной площади Лисковичей, не встретил Кастуся Шабетника. По пути в рыбхоз сделали на пять минут перекур, и едва Мацкевич вышел из машины, к нему подошел человек.

— Добрый день, — сказал он, улыбаясь.

— Добрый, — ответил Виктор, всматриваясь в незнакомое, как ему показалось, лицо.

— Не узнаешь?

— Нет...

— Мацак? Витик? За станцией жил?

— Ага! — обрадовался Мацкевич, даже засмеялся, вспомнив свою уличную кличку... — Но вас... тебя что-то не узнаю...

— Из соседнего дома, Кастусь, ты еще с моим братом Игорем в одном классе учился.

— Шабетник! — с облегчением выдохнул Мацкевич. — Ну как же, в футбол вместе... на речку, в Томашевском лесу с трамплина прыгали, так ты себе чуть шею не сломал.

— А я тебя сразу узнал. Слышал, ты в Минске живешь?

— Да, в Минске... А ты тут, в Лисковичах, никуда не уехал?

— И я тут, и Игорь. Приходи, посидим, расскажешь, где ты да что. У Игоря уже трое, все хлопцы, а у меня дочка.

— Хлопцев с нашей улицы здесь много? Мишка, Ванька, Савостик...

— Нет, разъехались кто куда. Первый ты уехал, а там и другие. Что тут делать? Один промкомбинат да ПМК... Как были две школы, так и остались...

— Но городок немного расстроился... Вот площадь новая, универмаг...

— Давай, заходи! — радостно смотрел ему в глаза Кастусь, крепко пожав на прощанье руку. — Мы тебя тут иногда вспоминаем...

Эта встреча что-то стронула в Мацкевиче. В общем-то до сих пор он чувствовал себя обычным командировочным — крутился среди чужих людей, спешил побыстрее все отснять, и вдруг его точно обожгло: он же тут свой! И не чужие все вокруг, а свои, пусть и не близкая родня. И Лисковичи — не просто строка в анкете, а городок его детства.

В рыбхоз вместе со съемочной группой поехал и Иван Макарович. Райкомовская «Нива» бежала впереди, за ней спешил «рафик». Мацкевич сидел рядом с Иваном Макаровичем, слушал.

— В рыбхозе директором Мелешко, Михаил Захарович. Батька о нем тебе ничего не говорил?

— Не помню, — пожал плечами Мацкевич. — Наверно, говорил, но я не помню.

— Ну так сейчас познакомишься, интересный человек. Долгое время был председателем колхоза, теперь вот рыбой нас кормит. Мелешко, неужели Василь никогда не говорил?

Дорога шла лесом. Изредка деревья разбегались, и на чистой прогалине мелькали заброшенные хутора. Покосившиеся хаты, разрушенные хлева, одичавшие яблони и вишни, кое-где на месте хат — кучи битого кирпича, оставшегося от печей. Среди густой, буйной зелени эти прогалины были похожи на плеши. Правда, татарник и лопухи такие высоченные вымахали, что заглядывали в черные проемы окон, но и от них веяло запустением и заброшенностью.

— Сколько же они стоят? — кивнул в сторону одного из хуторов Мацкевич.— Сдается, Батыга тут не ходил, чтобы одни пепелища остались.

— После войны сселяли, — неохотно ответил Иван Макарович. — Установка была — переселять на центральные усадьбы. Батька твой знает.

— И ни у кого руки не дошли? Это ж они стоят годов по тридцать... Хоть бы на дрова разобрали.

— А кто будет разбирать? Частная собственность. Так сказать, памятники прошлому времени. Жили среди болота, белого света не видели. Раз в год выбирались в Лисковичи на кирмаш — на ярмарку. Болезни, беднота... Да что там говорить, правильно, что сселяли. Люди тут упрямые, скрытные, нам нелегко было.

— Ну и что теперь?

— А вот посмотришь. На осушенных землях такие хозяйства — не стыдно туристам показывать. Разве такими Лисковичи были? А теперь из самой глухомани на своих машинах едут. Слышал присказку: полешуку так и серп диво? Теперь они тебе такой серп покажут, ого! Нет, без мелиорации тут никуда. И без тех же сселений... Меня, как и твоего батьку, сюда на работу сразу после войны бросили. Все самое трудное на наши плечи легло. Думаешь, так легко было эти хутора корчевать?

— Да, видно, нелегко, — согласился Мацкевич. — Но какой смысл в этих пустырях? Какая-никакая, а земля, можно было жито сеять. А мы все болота осушаем. Теперь говорят, что и болото нужно.

— Нужно тому, кто его не видит. Мелиораторы у нас большие площади освоили. Я тут одну кандидатуру наметил, экскаваторщик, Герой Социалистического Труда, как раз для тебя. Две пятилетки за одну выполнил! В управлении скажут, где он сейчас работает, завтра и поедете.

— Спасибо за заботу, — сказал Мацкевич, чувствуя какую-то неловкость. — Я без вас, как без рук. Куда ни приезжаю — все всё знают, ждут... И отношение доброе. Чувствуется, вас тут уважают.

— А как же, — довольно улыбнулся Иван Макарович, — столько лет на одном месте! Твой батька уехал, а я остался. В область приглашали, на повышение, но куда я без Лисковичей? До конца буду. А то, что помогаю... Во-первых, я тебя с колыски знаю, ну и второе — район надо с лучшей стороны показать, как следует. И тебе это не все равно, как-никак — родина!

— Родина... — кивнул Виктор.

— Слушай! — вдруг обрадовался Иван Макарович, — тут недалеко одно хозяйство... опытная станция от Академии наук, клюкву выращивают. Заедем? Можно сказать, единственная в республике, какая-то новая технология.

— Давайте, — согласился Мацкевич. — Раньше, помню, мама за клюквой на болото ходила, а теперь целое хозяйство? Прогресс!

Иван Макарович сразу повел на опытный участок. По широкому полю тянулись неглубокие канавы, перегороженные металлическими решетками.

— Вот тут, в канавах, высаживаются черенки,— объяснял он.— Потом, когда клюква доспеет, пускается вода, она вот так течет — и смывает ягоды, не надо собирать. Вода стекает, а ягоды остаются на решетках. Просто и удобно. Жалко, сейчас ничего не растет, рано еще, а осенью глаз радуется.

Из служебного помещения вышел высокий чернявый человек в очках и заспешил к ним.

— Кто такие? — еще издали начал он. — В чем дело?

— Да ни в чем, мы с республиканского телевидения, — представился Мацкевич. — Заехали посмотреть, что у вас за хозяйство такое.

— Исследовательская станция, — сказал человек, все еще подозрительно поглядывая на Загорского с кинокамерой. У того, правду сказать, всегда был вид человека, собирающегося что-нибудь стащить. — Я заведующий участком.

— А где вы саженцы берете? — спросил Трофимов. — На болоте?

— Ну, если Америка болото... — криво усмехнулся заведующий участком, — тогда там. За валюту покупаем, в США и Канаде.

— Вот как?! — уставились все в пустые канавы.

— Можно посмотреть ваш сценарий? — голос человека в очках опять приобрел начальственные нотки. — Надо же знать, какие у вас задачи...

— Ничего мы тут снимать не будем, — махнул рукой Мацкевич. — Пошли в машину.

— От так всегда,— забубнил сзади Загорский,— тягаешься с кинокамерой как ишак, а работы пшик... Мацкевич, где аисты?!

Аистов пока не было видно. Правда, в первые дни съемочная группа толклась в городе, и если и выезжала из него, то недалеко. А ведь аисты любят простор, луга, речные плесы.

— Эта станция нам не подчиняется... — оправдываясь, сказал Иван Макарович, когда долговязый человек в очках скрылся из виду. — Ученые, вот и покупают черенки в Америке.

— Дожили, — подал голос Загорский, — мало того, что пшеницу оттуда возим, так еще и клюкву. А я думаю — что это на базаре и капуста без клюквы, и так не купишь? Теперь, значит, за золото...

— А вы говорите, — повернулся Мацкевич к Ивану Макаровичу, — болото не нужно.

Через полчаса они были на территории рыбхоза. До самого горизонта блестели под солнцем большие пруды, над ними метались чайки, кружили вороны, пролетели две цапли.

— Побегу воду поснимаю, птиц! — крикнул Загорский. — Смотрите, сколько их тут. Тоже рыбку любят, вместе вон с теми...

На дороге, что пролегла меж двух прудов, стояли два «уазика», «Нива» и «Волга», водители которых сошлись в кружок, пока их начальство решало свои дела в конторе.

— Может, мы не вовремя? — спросил Мацкевич у Ивана Макаровича.

— Ты тут всегда будешь вовремя, — загадочно улыбнулся тот, — пошли.

Действительно, ждать почти не пришлось. Один за другим из директорского кабинета с важным видом вышли три человека, и Иван Макарович подтолкнул Виктора к двери.

— Ну как, Михась, узнаешь сына Мацкевича? — похаживал по кабинету Иван Макарович, потирая от удовольствия руки. — А он тебя совсем не помнит!

— Ну откуда же, — тоже улыбнулся Мелешко — человек одних лет с Иваном Макаровичем и чем-то похожий на него: обветренное лицо, сильные руки, грузная фигура, даже глаза одного цвета — серые. — Ему тогда года три было, не больше.

— Ну что, Виктор, так ничего и не понял?

Мацкевич пожал плечами.

— Да ведь вы жили у Мелешек, когда батьку послали в Денисковичи бухгалтером в колхоз, — наконец сжалился Иван Макарович. — У них вот на квартире стояли... Жалко, твоего батьки тут нет, — добавил Иван Макарович. — Мы его часто вспоминаем.

Мелешко отвернулся к окну, словно высматривая что-то на прудах.

— Посадили меня на эту рыбу, — пожаловался он, — так теперь ночами не сплю. Лезут в пруды как за своим, откуда только не приезжают. На прошлой неделе машину из Минска задержали. А цапли, наверно, со всего Полесья летят. Все за рыбой!..

— Нам рыбы не надо, — с легкостью вздохнул Мацкевич, — у нас съемки.

Иван Макарович остался у Мелешки, а съемочная группа полетела дальше, в соседний колхоз.

— Там уже ждут, — сказал Иван Макарович, провожая их, — председатель колхоза молодой, энергичный. На осушенных землях такой комплекс поставил — ахнешь. Там же и пообедаете. Завтра звони мне с утра, помозгуем насчет дальнейшего.

— С такой организацией мы можем отсняться раньше чем думали, — сказал Трофимов.— Этот Иван Макарович — хозяин каких мало. Вишь, как все взял в свои руки. Попробуй тут вылези с инициативой, сразу — щелк по носу!..

— И правильно! — заступился за хозяина Загорский. — Все знает, потому и командует. А нам надо только правильно поставить экспозицию и нажать на гашетку. Что это он про обед говорил, а, Виктор?

В машине оживленно заговорили об обеде, а Мацкевич молчал и с горечью думал о том, что его родина, Лисковичи — с этим лесом, с речкой Птой, запруженной плотиной, с заброшенными хуторами и асфальтированными дорогами на былых болотах,— эта родина далека от него. Нет, иной раз сердце встрепенется, вот как при встрече с Кастусем Шабетником. Но Кастусь теперешний и тот, которого он знал, — разные. И родная хата, где он вырос, совсем не та — с чужими запахами, с чужими людьми. Березовой рощицы при ней тоже нет, срубили, когда прокладывали новую улицу. На тех березах селилось множество ворон, и сосед Збышек, бывало, вылетал из хаты с ружьем и бабахал в березовые кроны. Вороний грай тогда стоял над всеми Лисковичами. Мацкевич глядел на теперешние Лисковичи, — а видел те, с воронами на березах. Но самое печальное — он не чувствовал лисковичских людей, того же Ивана Макаровича или Мелешку. Они рассказывали про него, маленького, но Мацкевич не узнавал себя в этих рассказах и в который раз ловил себя на мысли, что от него что-то скрывают. Ловил себя и на том, что его раздражала опека Ивана Макаровича.

— Нам с Иваном Макаровичем просто повезло, — рассуждал Трофимов. — Молодчина, Мацкевич. Бывает, поедешь в командировку, пробегаешь высунув язык — и ничего не привезешь, стыдно в эфир выходить.

— У нас два хороших синхрона уже есть, — поддержал его Загорский. — Я несколько общих планов взял — пальчики оближешь. Материала на три передачи будет. Никаких проблем!

— А тут проблем хватает, — сказал Мацкевич, — вот только не видно что-то их. Или не видим?..

— Где их нет, этих проблем, — согласился Трофимов. — Да и кому хочется про свои беды говорить? Нет, мне здесь нравится.

Машина уже давно выскочила из леса, и Мацкевич только сейчас понял, что едут они полями, да такими широкими и ровными, как степь. Неужели это та самая дорога на Макановичи, где люди жили точно на островах, в окружении болот? Маленькие хутора, кусочки земли размером с портянку. Здешних жителей так и звали — портяная шляхта. Дикие кабаны да волки — и болото: необозримое, грозное. Оно тяжело молчит, мрачно глядит на человека бездонными глазами-ямами, прикрытыми пышным ковром из камышей и цветов,— и вдруг вздохнет. Из черной глубины вырвутся большие пузыри, кусты над ними содрогнутся, закачаются... Сердце человека от этих вздохов обмирает, и он бежит с болота на твердую землю, оглядывается, долго шепчет заклятья-обереги и злится на слабость в ногах. В болотной тхлани жили черные аисты, не похожие на своих белых собратьев, что сидят на стрехах. Оттуда долетали крики лозяного волка, как называли тут выпь, на них водили предотлетные хороводы веселики, и, ей-богу, некоторым из людей эти журавлиные танцы казались человечьими. Страшным было болото, и все же люди жили на нем...

Мацкевич глядел на зеленые поля с серебристыми конусами силосных башен, на редкие кустарники на взмежках, на засохшие корявые деревья, которые люди не смогли повалить, да так и оставили. Когда-то говорили, что больше всего здесь росло лозы, что лоза та уж как вплюнется — ничем ее не вырубишь. Но вот же и с лозой можно справиться, если постараться.

— Вон еще одно пустое гнездо, — перебил его мысли Загорский. — Видите, на сухом вязе? Я все ищу тех аистов и что-то не вижу. Пустые гнезда.

— Будут тебе аисты, — отмахнулся Мацкевич, — куда они денутся?

Раньше в этих местах велось много торфоразработок, но не стало болот — не стало и торфа. Кстати, и лес с лисковичских железнодорожных эстакад куда-то пропал. Пожалуй, штабеля леса, тянувшиеся на многие километры вдоль железнодорожного полотна, были главной приметой Лисковичей. Лисковичские хлопчики ходили сюда играть. Здесь пахло сосновой смолой, босые ноги тонули в мягких опилках, всюду валялись обрезки, и среди них всегда можно было найти что-нибудь подходящее. Хлопчиков гоняли, но они не очень-то боялись. Мацак с друзьями чувствовал себя на эстакадах как дома.

Ревели бензопилы, сновали дрезины, покрикивали грузчики, отгонялись и подгонялись вагоны, и всюду — бревна, бревна. Хлопцы научились бегать по ним как по ровной земле. Иногда можно было и покачаться на гибкой лесине, торчавшей из огромной кучи. Темными осенними и весенними вечерами к эстакадам брели согнутые фигуры с мешками — это жители с ближайших улиц ходили собирать щепки, ими очень хорошо было разжигать печь. Мешочников ловили, и тогда в поселке долго говорили о случившемся. Кто-то возмущался, кто-то сочувствовал. Мать тоже просила Витика принести щепок. Он соглашался с большой неохотой и старался сбегать за ними в обед, когда на улицах пустынно. Все сторожа знали Мацака, разрешали набирать полный мешок щепок, но он стыдился просить и подбирался к железной дороге потайными стежками, чтоб его не видели даже друзья.

Как-то летом, в великую сушь, на эстакадах вдруг вспыхнул пожар. Зарево стояло над поселком несколько дней. Пожарники примчались со всех соседних деревень и городков, даже из области, однако огонь гулял, пока все не выгорело дотла. Возле эстакад пыхтели черно-красные паровозы, в огонь били белые струи воды — и ничего не помогало. В огне черными птицами метались щепки, с треском взлетали на десятки метров вверх. Люди молча стояли неподалеку от страшного жара, не расходились, лишь подавались немного назад, когда огонь клонился в их сторону под порывами ветра. Воздух тоже горел, плавился, солнце было белым.

Видно, после того пожара и пошли на спад лесозаготовки. Сгорели эстакады, сгорели штабеля, под ногами лежали одни уголья. Здешний лес тоже зачах. Мацкевич знал, что лисковичские леса начали вырубать еще при Польше, что ко времени пожара они уже были хилыми островками леса, а не пущами, борами и рощами, как прежде. Знал, но кончину лесов все же связывал с пожаром.

Раньше край был лесной и болотный, а какой он теперь?

Мацкевич глядел, думал, вспоминал.

И в этот и в последующие дни Мацкевич уже не просто снимал и записывал на магнитофон людей, которых рекомендовал ему Иван Макарович, а приглядывался к ним, прислушивался. Правда, никто из них ничего особенного не говорил, не их это была работа — говорить. Однако кое-что в их словах все же проскальзывало: и как промчались уже над отвоеванными у болота полями черные бури, и почему в некоторых деревнях пропала из колодцев вода, пересохли многие речки-ручьи, и сама Пта, чистенькая и рыбная, вдруг стала грязной канавой.

Молодой председатель колхоза, который в тех самых знаменитых Макановичах показывал им универсам, клуб, новую школу, детсад (большой, но все равно мест не хватает, надо строить еще один), — этот председатель говорил, что единственная их надежда — мелиорация. Когда же поехали на новые поля, Мацкевичу показалось, что он попал в какую-то неведомую пустыню. Все огромное пространство было завалено мертвыми деревьями, и лишь по стволам можно было догадаться, что раньше на пустоши росли березки и осинки, краснотал и ольшаники. Теперь только ветер гулял, гнал под ноги торфяную пыль.

— Да это мелиораторы недоделали, — с досадой сказал председатель Столович, — осушить осушили, а валежник не вывезли. Теперь вот земля опять заболачивается. Пытаемся сами расчищать, но техники нужной нет. Канавы тоже заплывают тиной, зарастают камышом да осокой. Но ничего, обещают трактора прислать, тогда мы... А на других полях у нас кормовые травы хорошо растут. Единственно, торфяники надо как следует укреплять, иначе ветрами выдует. Вон, видите, пески ползут.

— Значит, прежних болот у вас уже нет? — спросил Мацкевич. — Тех самых, макановичских?

— Почему, есть, но далеко отсюда, на меже с соседним районом. Да у нас, считай, лучшие в районе дороги, какое болото?

— А аисты, где ваши аисты? — встал между ними Загорский с кинокамерой на плече — держал он ее как противотанковое ружье. — Ищу, шукаю, а гнезда всюду пустые.

— Аисты болото ищут, — почесал затылок Столович. — Отсюда им далеко летать, вот и подались. Но в нашей деревне, сдается, пара гнезд осталась... Вам надо дальше проехать, до Горовятичей. От там их богато. На Горовятичском болоте, говорят, даже черные аисты живут.

— Нам хоть какого снять. Можно сказать, из-за аистов и ехали,— нацелил объектив в пустое небо Загорский, и все засмеялись...

Экскаваторщик Буйко, о котором говорил Иван Макарович, работал на землях колхоза «Макановичи», и Трофимов настоял, чтобы ехали к нему на каналы.

— Человека за работой снимем, — убеждал он Мацкевича, — такие кадры всегда понадобятся. И символично — человек воюет с болотом.

— Чего там воевать, — поморщился Мацкевич. — Вон оно, болото, видишь, сколько навоевали...

— А ломачье это, валежник, все равно оживает, — произнес Загорский с оптимизмом. — Вон кустики зеленеют, травка. Что гниет, а что и цепляется, не хочет помирать.

— Да если эти кучи опять закоренятся, — сказал Мацкевич, — их уже ничем не выкорчуешь. Выдрали, сгребли все, а толку?

— Ну, толк всегда есть, — привычно начал наматывать на палец прядку волос Трофимов, — сотни осушенных гектаров, выполненный план, премия... Кто этот экскаваторщик? Герой труда? А ты говоришь, никакого толку. Все есть. И стратегия борьбы с природой — тоже...

Экскаватор Буйко они увидели еще издалека. Ровный канал отделял поле от леса, по обеим сторонам его лежали горы песка — желтого, влажного. Невольно хотелось постоять возле него в этот жаркий день, особенно жаркий в открытом поле. В последний раз взмахнув ковшом, машина остановилась. Буйко медленно вылез из кабины, растерянно заозирался по сторонам. Он знал о предстоящей встрече с телевизионщиками, однако такой атаки не ожидал.

— Сюда, немного правей!..— кричал Загорский, треща камерой.— Теперь залезайте в кабину... Так, вылезайте! Хорошо, несколько шагов к нам... Сейчас, я с этой стороны, чтобы лес был виден... Да вы не стесняйтесь, по-хозяйски глядите!

Тут же Тамара в наушниках разматывала какие-то провода, прилаживала микрофон на длинной ноге, щелкала тумблерами на ящике.

— Готово! — наконец крикнула она Трофимову.— Можем писать синхрон!

Но тот не отозвался. Подбежав к экскаватору, он осматривал его то с одной, то с другой стороны, приседал, глядел на него в кулак, как в объектив, и только потом уже махнул Загорскому:

— Вот отсюда, с этого места!.. Отличный план!

Мацкевич в это время подсказывал Буйко, о чем надо будет говорить, успокаивал. Виктор видел, что Микола Романович уже не то что волновался, а готов был кинуться в лес, в самую его гущину, чтоб никто его там не нашел.

— Тут писать нельзя: сильный ветер, из микрофона идет один свист, — приостановила начавшуюся суету Тамара.

— Ага, ветер! — обрадовался Микола Романович. — Тут теперь он добро гуляет, нема за что зачепиться, так дует, як в тундре, даже уши закладывает... Ну, мне работать надо...

— Нет, мы вон за той кучей спрячемся! — схватила его за руку Тамара. — Найдем затишек и запишемся. Не волнуйтесь!

— Дак у меня, это, кашуля... рубашки чистой нема... — сделал слабую попытку прорваться в свою кабину Буйко. Да кто же отпустит?

Повели, как под конвоем, в затишек, где Микола Романович надсаженным голосом прокричал, что в прошлой пятилетке он выполнил двойную норму, в этой тоже идет с превышением. Техника работает хорошо, у него сейчас новый экскаватор.

— План сделаем! — закончил он и вытер со лба пот.

— Ничего, нормально, — сказал Мацкевичу Трофимов, — при монтаже посмотрим. Мы же еще не знаем, как скомпонуется материал. Может, и понадобится.

— Спасибо вам, Микола Романович, — поблагодарил Мацкевич, и все по очереди пожали руку измученному экскаваторщику, а тот часто моргал покрасневшими глазами и слабо улыбался.

— Вы уж простите нас, налетели, как стая, — извинился Мацкевич, провожая Миколу Романовича к экскаватору. — Но у нас работа такая, бегом да бегом, сегодня тут, завтра там... Я смотрю, вы на старом канале копаете?..

— Ага, каналы заплывают, дак чистим. А бывает, что вода пропадает. Работы много. Надо ж не только осушить, а чтоб хлеб рос. На этом поле мало что вырастет.

— Почему?

— Сами ж бачите. Воду отвели, вырубили все, а ломачье не вывезли. Кинули як есть, пошли далей канавы копать. А земля где усохла, где подгнила, опять кусты поднялися. Теперь от копаю, а что?.. Когда хозяев много, дак считай, что и одного нема. На мелиорацию грошей много отпускают. Думаете, здешний колхоз сам, своими силами поднялся? Большие дотации... Сюда в первую очередь и гроши, и техника. Только с головой надо распоряжаться.

— А хорошая земля тут есть? Вы же много осушали?

— Есть. Ну а если копать одни канавы, для плана, то и ее не будет... Раньше на болотах столько птицы велось — тучи. Коршуны, канюки летали... Всем места хватало. Бывало, с ночи пойдешь с ружьем, посидишь — один-два глушца есть. Теперь уже и забыл, когда ружье брал. Свелись птицы...

Съемочная группа уже собралась было ехать назад, в Лисковичи, но Загорский неожиданно заупрямился:

— Нет, вернемся в Макановичи, председатель говорил, у них аисты есть, два гнезда. Я без аистов никуда не поеду, хоть умрите.

— Ай, Валера, вечно ты со своими закидонами, — поджала губы Тамара. — Домой надо.

— Хочу аистов!

Вынуждены были вернуться в деревню. Ехали по длинной улице со старыми хатами, некоторые из них были покрыты замшелой соломой.

— На соломенных стрехах аисты обязательно будут! — нервничал Загорский. — Я в книжке читал.

Кое-где на крышах были аистиные гнезда, но все они оказались пустыми. Проехали деревню из конца в конец и остановились возле колодца с журавлем, из которого брала воду старушка в белой вышитой юбке, такой же, наверно, старой, как и она сама.

— Где это ваши аисты? — сразу подступил к старушке Загорский. — Шукаем, весь район объехали — нема! Говорят, только у вас остались.

— Буськи?.. — растерялась та. — Були буськи, еще летось прилетали. На моей хате каждый год жили. А теперя нема, на болото или в лес пошли. У нас им поживы нема...

— Как, совсем улетели?! — не поверил Загорский. — Что ж это за деревня без аистов? Тут и жить нельзя!

— Эге, нельзя, вода в колодцах стала поганая, — закивала головой бабушка. — Хотела побачить на весне летучего буська, чтоб ноги не болели, дак не прилетел. Болять и болять мои ноги, гудуть!..

— А что это, примета такая? — закрутил прядку волос на пальце Трофимов. — От ног?

— Эге, давней верили... А хто ж вы будете?..

— Люди, городские, — ответил за всех Загорский. — Аисты нам нужны.

— Гэто во туды надо, под Горoватичи, — махнула рукой старушка. — У нас уже нема болота, воду спустили.

— А раньше, видать, хорошее было болото, глубокое? — спросил Загорский. — Говорят, не проехать к вам было?

— Ездили, кому надо було, тые ездили... палнамочаныя с району, разные другие пробеглые люди... Всего у нас було... Дубы на три абдоймы, чтоб обхватить, три человека становилися, во як!.. А что уже лозы да вербнику!.. Дак вы, кажете, издаля? — приставив широкую ладонь ко лбу, чтоб лучше видеть, приглядывалась к городским старушка.

— Издаля, бабка, издаля, — топтался Загорский с камерой на плече, все не мог поверить, что аистов нету. — А эти... Горыничи далеко?

— Горoватичи?.. Не так, чтоб вельмо... Посядете да заедете, гэто ж не своими ногами.

— Никаких Горoватичей!.. — крикнула из машины Тамара. — С ума сойдешь с этими аистами!

— Назад поедем, — подвел черту Трофимов. — В другой раз аистов снимешь, специально выпишем тебе командировку, и поедешь. Где они зимуют, в Африке? Вот туда и выпишем.

На обратном пути в машине царила удручающая тишина. Мацкевич был мрачен и думал о том, что ничего из намеченного не удалось. «Передачу о родине захотел? Чтоб люди смотрели и радовались? Плеваться они от твоей передачи будут...»

— Аист! — вдруг заорал под ухом Загорский. — Стой, аиста вижу! Всем сидеть на местах, я иду один!.. Еще спугнете мне, улетит!..

— Где это ты видел аиста, который людей боится, — возразил ему Мацкевич, но Загорский был уже далеко. Согнувшись, он бежал к высохшей вербе с буслянкой, в которой действительно стоял аист.

— Не боится, говоришь? — спросил Трофимов. — Тогда пойдем посмотрим.

Загорский снимал аиста минут десять, откуда только пленка взялась.

— Как ему сказать, чтоб полетел? — возбужденно спрашивал он Мацкевича. — Эй, браток, лети давай, ну, полетай, родненький, хоть минутку!..

И аист услышал человека. Он раскрылился, подскочил, вытянул длинные ноги — и поплыл в синей бездне. Аист кружил над одинокой вербой, и люди, точно зачарованные, следили за его полетом.

— Все, точка! — наконец снял с плеча камеру Загорский. — От теперь передача будет, обязательно!

Аист все летал, все глядел с высоты на людей, а Мацкевич чувствовал себя под этим пристальным взглядом так же неловко, как когда-то в детстве.

...Через полтора месяца передача вышла в эфир. Она начиналась и заканчивалась кадрами полета аиста. С вербы, одиноко печалившейся в поле, взмывал в небо аист и летел над широкой равниной озимых с многочисленными рыжими проплешинами. Больше в кадре ничего не было — только аист и поруганная земля. Ни деревца, ни лужинки...

В полете аиста Мацкевичу чудилась музыка, до боли щемящая и печальная, и от нее к горлу подкатывал ком...

С белорусского.
Перевод автора.

Артур ТЯЖКИЙ

ОПОХМЕЛИЛСЯ...

РАССКАЗ

НА БЕДНУЮ Ганкину голову все напасти свалились разом.

Второй день маялся животом старший сын Виталик. Аж самой становилось больно, когда глядела на него — обессиленного и почерневшего.

Со вчерашнего дня гуляла в полях метель. Кружилась в диком танце, скулила в трубе, свистела-выла в застрехах, в вершинах деревьев. Порой ветер на мгновение утихал, будто ради того, чтобы посмотреть, что он натворил, а потом с новой силой поднимал вихри снежной пыли.

А тут еще как назло муж заболел с перепоя. В субботу давали зарплату. Заявился он домой под самое утро. Перепачканный, измятый, насилу переступил через порог. Долго матерился, стаскивая мокрые сапоги. Разувшись наконец, шаркая побрел к кровати. Посредине хаты наткнулся на табурет и вместе с ним грохнулся на пол. Ганка, стиснув зубы, молчала. Лишь бы он только побыстрее угомонился.

Но покоя в то утро так и не было.

Муж вдруг подхватился с кровати, взлохмаченный и злой, спотыкаясь, побежал на кухню. Ганка слышала, как его стошнило, как он жадно пил воду и потом снова пошаркал к кровати.

«Хоть бы ты куда сошел от нас,— горько подумала Ганка.— Не хозяин, а стыд один. Работал шофером — выгнали. Пошел в ремонтную мастерскую — и там не прижился. Теперь — куда пошлют... Одно только название, что на работу ходит... Да и не нужны мне его деньги. Был бы человеком».

Ганке уже около тридцати. Выше среднего роста, плоскогрудая, с приятными, но уже блеклыми чертами лица. Старательная в работе и мягкая, порой нерешительная и стыдливая, как девчонка. Раньше она доила колхозных коров. Теперь сидит дома с двухлетней болезненной и плаксивой дочкой Ирой.

Без дела, известно, долго не усидишь. И Ганка понемногу шьет, понемногу вяжет.

А Виталик, сын ее, уже большой мальчик, во втором классе учится. Сейчас он то молчит, глядя запалыми глазами в потолок, то вдруг глухо стонет, корчится, подминая под себя подушку. Вчера все говорил: «Мамочка, болит!». А теперь только стонет, тихо и устало.

Ганка мучительно думает, как ей быть. Может, сбегать сейчас за лошадью и отвезти Виталика в больницу, которая находится в шести километрах от деревни. А на кого же оставить Иринку? На него, на мужа? Ой, нет! Разве он выдержит, чтобы не похмелиться. А уж тогда и дочка будет голодная-холодная, и скотина некормлена... А может, сбегать позвонить?.. На ферме же есть телефон. Но он, вспомнила, второй месяц неисправен. Да и какая теперь «скорая помощь» доедет — позамело, позаносило... «Ох ты, горе мое горькое!» — тяжело вздыхает Ганка и говорит вслух, чтобы муж слышал:

— Надо же какой-то выход искать.

— Найдешь выход! — бубнит муж.— Ежели бы тот дохтур где-то рядом был, то нашел бы выход...

— Значит, пусть дите мучится, пусть умирает?! — заплакала Ганка.

— Так уж и умирает. Пройдет.

— Пройдет?! Что только не делала: и полыни, и чеснока давала, и компрессы прикладывала, а он все страдает, все ойкает. Наверно, слепая кишка.

— Сама ты кишка слепая,— злится муж.— Глисты. Говорю — глисты... Э-э-х-х, твою маковку! Как подворачивает.— Антон, обеими руками обхватив голову, стонет и плюет на пол.

В комнате воцаряется тягучая тишина.

— Не полегчало, сынок? — сочувственно спрашивает Ганка.

— Не-е,— устало выдыхает Виталик.

Снова тишина.

— Ганка,— вдруг мирно и добродушно зовет Антон.— Я сейчас отвезу его в больницу.

— Отвезешь? — удивленно и недоверчиво переспрашивает жена.

— Сейчас пойду за лошадью. Только уж ты дай мне чем похмелиться. А то сил моих больше нет терпеть.

— А чего я тебе дам? У меня же ни капельки нет.

— Дай трояк. Пойду за лошадью, там заодно быстренько и полечусь.

— Ой, не верю я тебе, Антон. Не верю. Как похмелишься, так и забудешь.

— Вот какая! Будто я не человек! Или мне своего дитяти не жалко?..

— В Свири выпьешь. Отвезешь хлопца в больницу и выпьешь.

— Когда тот праздник будет?! А тут глаза на лоб вылазят, голова будто чугунная. Как же я доеду? Ох-х-ха...

Ганка молчит и почти готова поддаться уговорам мужа. Антон это чувствует и уже легче поднимается с кровати. Кряхтя, постанывая, натягивает штаны, надевает валенки. Потом подходит к сыну и, наклонившись, спрашивает:

— Больно?

Виталик ничего не отвечает. Только теперь Антон заметил, какое исхудалое и бледное у сына лицо. Впалые глаза горят лихорадочно, губы до крови искусаны. На какую-то минуту в Антоновом сердце возникает досадливое чувство вины и жалости. Он, вобрав голову в плечи, начал искать тулуп и шапку. Наконец одевшись, стал у порога и с мольбой посмотрел на жену. Та вздохнула и ушла на кухню. Через минуту вернулась с трешкой в руке.

— Я тебя лаской, Антон, прошу,— взмолилась Ганка,— не напивайся. Помни, что дитя хворое...

— Ну вот еще, скажет! Будто я не понимаю...

Антон хватает трешку, засовывает ее глубоко в карман и выходит из хаты. Ганка остается ждать.

Проходит час, другой... Слабеет, изнемогает метель, а Антона все нет и нет. Тихо, обессиленно ойкает Виталик, и вместе с ним беспомощно плачет Ганка. Вдруг во дворе слышится брех собаки. Женщина бросается к окну. Сквозь ясное пятнышко в стекле она видит лохматую, заснеженную голову лошади и улыбается сквозь слезы. «Наконец-то!»

Глухо стучит в сенях щеколда. Топот ног, шарканье метелки.

«Еще чего! — сердится Ганка.— Ноги надумался обметать. Шел бы уж быстрей. Небось не напился, а то, залив глаза, разве стал бы смотреть на ноги?»

Из распахнутой двери врываются клубы сизого от мороза воздуха. На пороге вырастает высокая, дебелая фигура бригадира Чеськи Журовича. Ганка ищет глазами за его спиной мужа.

— День добрый! — простуженным голосом здоровается Чеська.

— День добрый,— разочарованно отвечает Ганка и вопросительно смотрит на бригадира.

— Антон твой дома? — оглядывая комнату, спрашивает бригадир.

— А разве ты его не видел? Он ведь к тебе пошел, коня просить — хлопца в больницу отвезти.

— Давно ушел?

— А уже порядочно. Часа, может, три.

— Нет, не видел. Я хотел ему работу дать. А что с хлопцем?

— Второй день живот болит. Что ни делала, чем ни лечила — не помогает. Наверно, слепая кишка.

Чеська Журович подходит к кровати, внимательно смотрит на мальчика и задумчиво скребет щетину.

— Н-нда, — озабоченно тянет бригадир.— Здесь медлить нельзя. Давай-ка одевай быстрей, и мигом отвезу в больницу.

Ганка засуетилась, собирая одежду.

Вдвоем они закутали Виталика. И Чеська, будто огромную куклу, взял его на руки и вынес к возу.

За деревней дул пронзительный ветер, пылила поземка, зализывая своими острыми белыми языками снежные груды по обочинам дороги.

Чеська понукал коня. Буланый, пряча от ветра голову, бежал тяжкой рысцой, часто чихал.

«Особенно не разгонишься,— подумал Чеська и вспомнил Антона.— Что с человеком делается и что с ним дальше будет? Распустился, как цыганский кнут...»

Через какое-то время подвода вскочила в поселок. Проехав несколько улиц, Чеська остановил коня возле небольшого дома «скорой помощи». Этот домик коридором соединялся с главным корпусом больницы.

В приемном покое, куда Журович принес мальчика, как раз находился главный врач больницы — плечистый, с широкими сильными ладонями хирург Божко. Выслушав короткие объяснения Чеськи, Божко быстро осмотрел больного. Потом укоризненно и зло посмотрел на Журовича.

— Дотянули. Чего же вы ждали?

Чеська растерянно развел руками, хотел что-то сказать, объяснить, но врач уже не слушал его. Повернувшись к Чеське спиной, давал короткие распоряжения. Прибежали санитары и, положив мальчика на носилки, понесли прямо в операционную. Стуча по крашеному полу настывшими сапогами, Журович направился за ними.

— А вы куда?! — резко окликнул его хирург.— Нужно было раньше волноваться. Сейчас молите бога, чтобы все обошлось.

Чеська покорно остановился... Над дверью, закрывшейся за Божко, вспыхнули красные буквы: «Идет операция». Чеська сделал несколько шагов и аж присел от испуга — до того громко загремели в тишине коридора его шаги. На носках дошел он до порога. Постоял с минуту, раздумывая, и вышел на улицу. Отвел коня за угол, в затишек, положил перед ним мешок с сеном, накрыл буланого старым засаленным бушлатом. Потом покурил и снова направился в помещение.

Часа через два дверь операционной вдруг открылась. В коридор выбежала медсестра. Посмотрела на Чеську глазами, полными слез, и быстро-быстро пошла куда-то по коридору. Чеська настороженно приподнялся со стула. Через минуту из операционной вышел хирург. Никого и ничего не замечая, достал папиросы, закурил и устало пошел к своему кабинету.

— Товарищ доктор! — устремился за ним Чеська.

Божко остановился.

— Товарищ доктор, как мальчик?

Хирург через плечо взглянул на Журовича и опустил голову.

— Очень поздно вы его привезли. Очень поздно... Аппендикс разлился давно. Почему же вы так поздно...

В голосе врача звучали и боль, и вина, и укор.

— За десять лет моей практики такое впервые...

Божко был хороший, опытный врач. И Чеська поверил, что спасти мальчика было невозможно.

— Как же мне ей сказать? — растерянно проговорил Чеська.

— Кому?

— Матери.

— Он у вас один?

— Это не мой ребенок.

— Не ваш? А где же его родители?

— Мать дома осталась, а отец... Толку с того отца,— и Чеська махнул рукой.

Оба помолчали.

— Сразу не говорите,— посоветовал врач.— Подготовить надо сначала.

— Как-то нужно подготовить,— согласился Чеська...

...Ганка укладывала спать дочку. За столом, сняв с одной ноги валенок, сидел Антон и что-то пьяно говорил сам себе.

Чеська молча остановился у порога. Ганка бросилась к нему.

— Ну, что там? Говори быстрей.

— Плохо.

Ганка прикрыла ладонью рот. Глаза ее стали большими и испуганными. Чесь-

ка подумал, что если сейчас сказать правду, то эта женщина может сойти с ума, и он как можно спокойнее произнес:

— Очень слаб. Очень. Два часа шла операция.

— Делали операцию?!

— Ну а как же. Лопнула слепая кишка.

— Коновалы! — вдруг подал голос Антон.— Коновалы. Ап-перацию не могут сделать.

— Молчи, гад! — на всю хату закричала Ганка и первый раз в жизни бросилась на Антона с кулаками.— Это ты, слизняк, скотина пьяная, во всем виноват. Ты! Тебе я, дура, поверила, тебя столько времени ждала... Ох, боже мо-ой! — Ганка, причитая, ходила по хате.— Дай, Чеська, коня, поеду.

— Куда же ты на ночь глядя поедешь?

— Поеду!

— А что из того, если поедешь? Доктора ведь нет. И потом, тебя ночью не пустят. Завтра утром поедешь. Девочку к нам занесешь.

— А если умрет? — с ужасом вымолвила Ганка.

— Ну и ты рук не подставишь.

— Ой, беда моя, бедушка! — застонала женщина, закрыв лицо ладонями, и опустилась на табурет.

Полуразутый Антон подошел к Чеське.

— А ты х-хороший ч-человек,— Антон икнул.— Только где ты сегодня был? Я тебя иск-кал, искал...

— Иди, Антон, спать.

— Что значит с-спать? Ты хочешь уложить меня спать, а сам к моей бабе?..

— Иди спать, ирод! — Ганка схватила его за шиворот и толкнула за печку.

В этой женщине сейчас пробудилось что-то такое, о чем она, видимо, никогда раньше не подозревала...

С белорусского.
Перевод Славы ПАЙНЫ.

Виктор БАРАНОВ

СЕДЬМАЯ ОСОБА

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

ПОСЛЕ окончания школы Анфиса не прочитала ни единой книжки. Сначала, не жалея ног, обивала пороги кабинетов — с табличками, хоть кого способными привести в трепет: устраивала семейное гнездышко. Но вскоре поняла, что семья как таковая не получилась. В мужья достался наивняк и рохля, который в троллейбусе даже на одну остановку обязательно компостировал талон. Да разве такой принесет в дом хоть что-нибудь? Как же, дожидайся! Уразумев это окончательно, Анфиса принялась разводиться. А попробуй-ка без мороки, хождений, нервов и вообще душевной колотилки развестись так, чтобы не разменивать квартиру, потому что она в самом что ни на есть центре, да еще и в тихом местечке: ни тебе грохота транспортного, ни гомона уличного, и уютненький дворик с палисадником. Кто хоть раз того разводного счастья отведал, тот пусть скажет, сильно ли тут разгонишься на чтение. Да и сызмальства Анфиса не привыкла на книги время тратить.

Вот хоть бы и сейчас — разве валялась бы она на диване с каким-нибудь там «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» или «Войной и миром», если уже начало десятого, а выпечка еще не готова, к тому же сразу после программы «Время» покажут очередной фильм любимого Анфисой сериала о трех знатоках, распутывающих всяческие уголовные дела. Хорошо, что сегодня «Время» затянули — кто-то приехал

из далекой заграницы на переговоры. Потому Анфиса и успевает с выпечкой, иначе чем бы ей завтра угощать посетителей.

Работает она продавцом кофе и чая в подземном переходе. А к тем напиткам бодрости дают ей довольно скудный ассортимент — в основном дешевые торты да песочные коржики,— вот и вынуждена Анфиса собственноручно заботиться о доброй славе своей торговой точки. Тем более что с кофе в последнее время случаются перебои, и в торге настойчиво советуют больше нажимать на чай. Будто с него что-нибудь выжмешь. Чай — он чай и есть. Завариваешь, наливаешь, получаешь копейки... Другое дело кофе. Тут сэкономишь сущую безделицу, щепотку, для стороннего глаза абсолютно незаметную, а к вечеру, глядишь,— не меньше полсотни греют тебе душу, задубелую на сквозняках, что задувают со всех четырех сторон в открытом подземном переходе.

Как только перестали давать вдосталь кофе, решила Анфиса сама печь булочки. Покупатели быстро привыкли к вкусным ее изделиям и не догадываются, что домашние. Поди попробуй явиться завтра на работу с пустыми руками. Тут же начнется: «А где булочки? Почему сегодня не завезли?» Чего доброго, кто-нибудь из слишком грамотных жалобу в торг накатает. А там глаза вытаращат: какие-такие булочки? Сроду мы их на эту точку не поставляли, торты только да коржики песочные... И возьмут тогда Анфису за шкирку. Как говорится, за свое жито будешь бита. Только кому от этого станет легче? Торгу, который лишится плана? Или посетителям, привыкшим к свежей выпечке? Или самой Анфисе? Нет, конечно. Так пускай пользуются люди плодами ее кулинарного таланта.

Раньше держала под прилавком и коньячок. Для хороших людей. Как и в каждом солидном заведении, есть у Анфисы постоянные клиенты — с ними она в особых отношениях. Закажут двойной кофе, она им—тройной! Пусть о ней славу по городу разносят. Один из них — поэт какой-то или что-то в этом роде — тройной кофе «Ночами Кабирии» называет, говорит, кино такое когда-то было. Заходит, с порога еще кланяется и говорит: «Мне, Анфисочка, мои любимые «Ночи Кабирии». С приложением...» И Анфиса старается: взбодрилась, улыбнулась, обслужила поэта без очереди, подала две чашечки. Одну — с густым душистым кофе. Другую — с коньячком. Поэт выпьет, рассчитается, но не спешит уйти. Потому что воспитанный, интеллигентный человек. Постоит чуток у прилавка, что-нибудь расскажет интересное, что в мире делается, расспросит, как здоровье, скоро ли отпуск, куда Анфисочка собирается податься. «На юг я бы вам не советовал. Лучше в Прибалтику. Юрмала, Нида, Паланга... Вот где публика собирается! Культурная, порядочная. И себя возле людей человеком чувствуешь...» Анфиса слушает, незнакомые названия городов сладко щекочут ей нервы, неведомая истома охватывает ее всю, так что хоть закрывай кафе на переучет и приглашай поэта к себе в гости — пусть уж доскажет про волшебную ту Прибалтику... Но очередь собралась, наступает. И потому, вздыхая о загубленной своей доле, что сулила ей не влекущие прибалтийские пляжи, а вот эту дыру в подземном переходе, Анфиса угощает поэта еще двумя чашечками...

Нет теперь душевного общения с уважаемыми людьми. Отошло в прошлое. А про коньячок и вовсе не вспоминай. Перестал заходить поэт. А может, никакой он и не поэт. И чего это вздумалось Анфисе называть его поэтом! Потому, верно, что говорит изысканно — редко кто из посетителей на таком языке изъясняется... Да каждый говорит, как ему выгодно! Может, выйдет «поэт» от Анфисы и такое сморозит в метро, что поезд раньше времени в тупик заедет.

Надо же!.. С какой это радости на воспоминания потянуло? Выпечка готова, в программе «Время» передают про спорт, сейчас вот только прогноз погоды — и «Следствие ведут...».

Она споласкивает руки холодной водой, смазывает их кремом «Норка» (не импортный, а цена — будь здоров!) и идет в большую комнату, где всеми цветами радуги сияет телевизор. Финский, изготовленный по японской лицензии. Недавно в универмаге выбросили. Хорошо, у Анфисы случайно были при себе полторы тысячи — в кредит импортные товары не отпускают. Теперь есть на что посмотреть.

Она уже умостилась в кресле (с ногами — так теплее, да и кресла, слава богу, большие, мягкие, прямо чуть не лежишь в них), уже поплыли по экрану титры, но вдруг...

— Кого там несет? — вслух проговорила Анфиса и, идя к входной двери, ста-

рательно прикрыла дверь в кухню, сразу ставшую тесной от булочек, разложенных где только можно.

Это были не соседи, что так и норовят посмотреть кино непременно по финско-японскому телевизору. За порогом стоял незнакомый мужчина.

— Ну, я слушаю!..— нетерпеливо поторопила его Анфиса, потому что в детективном фильме так: начало пропустишь — гадай тогда, вокруг чего сушит себе мозги милиция и ты вместе с ней.

— Вам очень некогда? — смущенно спросил незнакомец.

— А в чем дело? — насторожилась Анфиса.

Человек этот с первого взгляда показался ей подозрительным. Было у него что-то такое — то ли болезненность, то ли какой-то внешний дефект, вот только сразу не понять — какой. Или, может, иностранец?

— Разрешите войти? — спросил гость.

Кого другого Анфиса отбрила бы так, что забыл бы сюда дорогу. А этот таким тоном попросил, что растерялась. Убедившись, что на площадке больше никого нет и соседи не увидят, что к ней пришел мужчина, она схватила его за рукав:

— Заходи. Да быстро же!

В квартире гость сделал попытку извиниться за неожиданный визит, но Анфиса, снова умостившись в кресле, подобрав под себя ноги с круглыми голыми коленками, прервала его резким, точно треск пистона, словом:

— Короче!

— Только, пожалуйста, выключите телевизор. У нас будет очень серьезная беседа.

— А-а!..— хозяйка с досады даже рукой махнула: дескать, все равно кино пропало.— Выключай сам.

И подумала: «Точно. Иностранец. Либо прибалт. Разговаривает как-то чудно!»

Предупреждение о серьезной беседе Анфису не испугало: ведь если б явились по ее душу, не стали бы извиняться. Но она вдруг почувствовала, что начинается что-то интересное — может быть, интереснее даже, чем прерванный фильм. И она не ошиблась.

— Вы только не удивляйтесь...— Выключив телевизор, незнакомец стоял возле него, заслонив собой погасший экран и неловко сложив руки на груди.— Но сначала вопрос: какие ближайшие к Земле небесные тела вы знаете?

— Что-о?! — протянула Анфиса, подняв брови, и даже головой тряхнула от изумления.

— Да вы не волнуйтесь,— повторил гость, делая шаг вперед.

— Стоять! На месте стоять! — крикнула Анфиса и добавила для вящей убедительности: — Не то закричу!..

— Извините. Если вы не готовы к беседе, я могу прийти в другой раз.

— Да кто вы такой, в конце-то концов?

— Не волнуйтесь, — повторил мужчина, — я скажу. Но вы не ответили на мой вопрос.

— Какой еще вопрос? Да сядете вы или нет? Стоит тут столбом над душой, как...

Пока Анфиса думала, как можно столбом стоять над душой, незнакомец опустился на краешек кресла, оно прогнулось под ним почти до пола, и он пересел на стул.

— Напоминаю: я спрашивал о ближайших к Земле небесных телах.

— Это вы что — про Луну?

Прищурившись, Анфиса все еще изучала гостя: никак не могла сообразить, почему он кажется ей каким-то не таким, как все нормальные мужчины.

— Луна? Да,— охотно кивнул он.— А планеты других галактик?

— Не знаю, позабыла уже. В десятом классе астрономию проходили по диагонали...

— Как-как? — переспросил гость.

— Ну, с пятого на десятое... А в космонавты я не собиралась.

— Что ж, тогда нет нужды сообщать, посланцем какой планеты я являюсь...

«Пьяный, что ли? — подумала Анфиса. — Если попросит трояк — дам, пусть заправится. Только бы уматывал быстрей».

— На нашей планете тоже есть жизнь. Правда, формы ее несколько отличны

от форм земной жизни. Но мы научились принимать облик гуманоидов, похожих на землян. Чтобы не шокировать вас при встрече...

— Дыхни-ка! — будто не слыша, вдруг приказала Анфиса

— Что?

— Дыхни, говорю! Набрался? Добавить захотелось? Инопланетянин, надо же такое!

— Я на самом деле инопланетянин. Вот посмотрите...

Он достал из кармана какую-то коробочку, нажал на кнопку, и в комнату ворвались непонятные звуки, сигналы, чужая речь. Анфиса слушала космический эфир.

— Смотрите сюда,— протянул гость коробочку.

На маленьком экране виднелось что-то круглое, похожее на диск. «Ага, летающая тарелка! — узнала Анфиса. — А еще говорят, их не бывает».

— Это околоземная станция. Ее орбита — в пятистах километрах от поверхности Земли, но ни один ваш прибор не в состоянии ее зафиксировать. У нас есть неизвестные землянам способы антипеленга. Мы вас видим, вы нас — нет.

«Как в тюрьме!» — неизвестно почему подумалось Анфисе, и она вобрала голову в плечи.

— При чем тут я? — уже со страхом спросила она.

— Видите ли, мы хотели бы попросить вас посетить нашу станцию. Для опытов, которые совершенно не повредят вашему здоровью. Обещаю, что вы приятно проведете время. Это ненадолго, дней на пять.

— Но я не смогу.— Анфиса уже и не знала, верить или не верить тому, что говорил ей незнакомец. — Я ж на работе. Работа у меня хорошая, от дома близко. Где я такую потом найду?

— А когда бы вы смогли?

— Через две недели у меня отпуск. Разве что тогда...

— Хорошо, мы подождем. И повторяю: вам это не нанесет ни малейшего вреда. А нам вы окажете большую услугу. Итак, разрешите прийти к вам через четырнадцать дней. Вам будет удобно в это же время?

— Нет, лучше в обед. Часа в три дня.

Поздних визитов Анфиса боялась.

— Вот и договорились. А теперь проводите меня, пожалуйста.

Анфиса приоткрыла дверь, еще раз убедилась, что любопытных соседских носов нигде не видать, и выпустила чудного гостя. Тот сразу же вошел в лифт. Анфисе показалось, что кабина двинулась не вниз, а вверх.

Никакое кино смотреть уже не хотелось. Анфису начало потихоньку трясти. Она никогда не болела малярией, но слыхала, как колотит людей при этой болезни. Говорят еще, что маляриков во время приступа охватывает панический страх.

Страх? Какой страх? Э, нет. Вот этого от Анфисы не дождешься. Дудки!

Вернувшись в комнату, она села в кресло, расслабилась на несколько минут, повторяя про себя: «Спокойно. Без паники! Только не паниковать!..» Если б Анфиса читала книжки, она бы знала, что в данный момент выполняет одно из упражнений по аутотренингу, но печатное слово было, как известно, чуждо ей и далеко, точно неведомая планета, откуда прибыл к ней сегодня нежданный гость.

«Гость? Какой еще, к черту, гость? — рассердилась она на себя.— Ну и дура — дешевой сказочке поверила... На разведку к тебе приходили, вот что! Не заметила, как он присматривался ко всему? Прям чуть не принюхивался, все глазами ощупал. А ты думала заслонить домашнее добро открытыми своими коленками?.. Вот только откуда приходили? Если из шайки, что квартиры чистят, еще полбеды. А если из органов? О, тех берегись. То парни такие — на ходу подметки рвут. Дали вроде бы две недели сроку — чтоб, значит, подготовилась к худшему, а сами нагрянут завтра. Сперва, конечно, на работу. «Чем это вы тут, гражданочка, торгуете?» — «Чаем, кофеем, тортами...» — «А булочки? Покажите-ка накладные, если это не слишком секретные документы... Та-а-ак. Где ж тут булочки? Нет тут их, уважаемая... А как у вас дела с кофе? Сколько пошло на приготовление напитка бодрости? А денег у вас сколько? Проверим, разберемся. Ну, вешайте на дверь табличку «Ушла в торг» или какая там у вас имеется».

Нехорошо стало Анфисе. Совсем не так, как было всего час назад, когда готовилась она к встрече с милицией на телеэкране.

Что ж, прежде всего надо уничтожить выпечку. Выкинуть в мусоропровод? Дворничиха разболтает. Такая горлопанка — спаси и помилуй. Молодая, худющая, за веснушками лица не видно, а попробуй кусок хлеба в мусоропровод бросить — так тебя выматерит, будто ты враг народа.

Лучше раздать соседям. Это и на потом пригодится — когда свидетелей начнут вызывать. Кто первые свидетели? Ясное дело, соседи. Кто к Анфисе Петровне приходит, с кем она в дружбе, не замечалось ли за ней чего-нибудь этакого. А соседи и скажут: нет, дескать, не замечалось, живет одна-одинешенька, скромно, тихо, в отношениях с жильцами дома характеризуется позитивно, в трудную минуту всегда готова прийти на помощь.

Это с одной стороны. А с другой — могут и припомнить, как подкатывают к подъезду машины, как здоровенные парни заносят в Анфисину квартиру то одно, то другое, то пятое, то десятое... Откуда оно приплыло? А правда — откуда? Скажем, тот же телевизор импортный. Где взяла скромная, тихая работница кафе, что в подземном переходе, полторы тысячи рублей?..

Так. Задание номер один. Ну, да мы его — как тот орешек. Щелк — и нет его. Друг подарил. Любовник? Нет. Любовник — когда постоянно. А этот всего с неделю и был у нее. Зашел в кафе кофеем взбодриться. Да и прицепился. Кто такой, откуда? А кто ж его знает. Гогой назвался. Кроме того, что нужно мужчине, он от нее ничего не потребовал. Ни прописки, ни тем более вступить в законный брак. Так зачем было допытываться, кто он и откуда? Подарил телевизор в знак кратковременной, но пылкой любви — да и был таков. Мир большой, и разве одна она такая, Анфиса, на белом свете.

А ковры? Ковры от мамы и бабушки. Так оно и было на самом деле. Один бабушка, еще когда жива была, подарила на свадьбу. Другой после маминой смерти достался. А еще три... Выиграла в художественную лотерею. Не бывает разве? Вон, говорят, какая-то бабка в Италии шесть лет подряд по лотерее машину выигрывала. Что ни год — то машина. А на седьмой не выиграла — и такой скандал подняла!.. Надо будет только спросить у кого-нибудь, записывают ли фамилии людей, которым выпадает крупный выигрыш.

Дальше: мебель. Взяла в кредит. В каком магазине? Проверят, выяснят. Нет, гражданочка, не оформляли вы кредита на мебель ни в этом, ни в каком другом магазине, так что будем отвечать?.. А на гарнитур сама насобирала. Да, сама! С детства деньги копила, экономила на чем могла. Подружки мороженым лакомились да в кино бегали, а я — копеечку к копеечке, рублик к рублику, сотенку к сотенке... И еще — шью я, портниха хоть куда, вот у соседей спросите. Всех обшиваю. Той новое платье надо, тому пиджак или пальто перелицевать. Ну, люди и отблагодарят. Кто сколько может. С миру по нитке — голому рубашка.

Ишь как все прекрасно выходит. Недаром смотрела все серии про знатоков, только сегодня и пропустила. Научилась кое-чему, а как же, не для пустого развлеченья приобрела (ой, извиняюсь, Гога подарил!) цветной телевизор. Он ей и за учителя, и за отца родного. И покажет, и научит, и посоветует, и успокоит после трудового дня.

Что еще? Деньги. Десятки, пятерки, трояки, которые оказывались лишними после того, как сдавала дневную выручку, Анфиса обменивала на крупные купюры. Тут вот они, в сервизных чайниках и сахарницах, туго-натуго скрученные сине-сиреневые четвертные, зеленые полусотенные, коричнево-бежевые сотни. Куда их-то девать? Не раздашь ведь соседям, как булочки. И во дворе под акацией не закопаешь. Положить на сберкнижку? Проверят. Возьмут разрешение у прокурора и дознаются о тайне вклада, охраняемой государством. В таких делах тайны не бывает. Ну, куда ж их, куда?..

Ладно, есть еще время подумать. А пока что — выпечку раздарить.

Соседи у Анфисы были: семья отставного полковника, служившего в Средней Азии и под старость возжаждавшего пожить в краях несколько более прохладных. Но и не таких уж холодных, не на Чукотке или Таймыре. Таким образом, выбор пал именно на этот город.

Дальше. Бабка Глафира, которой дети выменяли отдельную однокомнатную со всеми удобствами квартиру, куда она их на порог теперь за это не пускает и называет иродами.

Студенты Женька (он) и Шура (она), снимающие квартиру у деда Стаха, кото-

рого, в противовес матери «иродов», забрали к себе сын с невесткой, а в однокомнатную пустили квартирантов — благо в последнее время цены за проживание пошли в рост.

Анфиса решила начать с бабки Глафиры, пока не поздний час. Может, еще показывают тех знатоков и бабка как раз досматривает.

Нет, со знатоками старуха дружбы не водила, но еще не спала, а открыв на знакомый голос, начала жаловаться на все сразу: на погоду (чем ей погода не угодила — такие прекрасные дни стоят, не холодно и не жарко), на детей, на бессонницу, на старческие болячки и даже на комету Галлея, с приближением которой непременно придет и конец света. Бабка не удивилась Анфисиному гостинцу, молча и строго переложила булочки с подноса на большую мелкую тарелку, затем перекрестилась на угол, где ей, верно, чудились образа, прошептала что-то похожее на «царствие небесное» и вдруг спросила:

— А кто у вас помер?

— Да никто. — Анфиса пожала плечами. — Живу одна, вы же знаете. Ждала гостей, наготовила всего, а они не пришли. Вот и принесла, не пропадать же добру.

— Вон как?.. — Бабка Глафира недоверчиво покосилась на соседку, словно бы взвешивая про себя, отчего ж бы этой Анфисе не принести ей еще чего-нибудь из всего наготовленного.

— Ну, пойду. Поздно уже, — сказала Анфиса.

И долго еще отдавалось в ушах бряцанье цепочек и засовов, на которые бабка закрывалась незнамо от кого. Будто у нее есть что красть.

У полковника была большая семья и соответственно большая жилплощадь. Анфисе нравилось заходить в эту квартиру, хотя случаи такие выпадали редко.

Казалось, что хозяин втайне ей симпатизирует, а хозяйка ревнует мужа — может быть, потому, что полковник встречал Анфису более приветливо, чем его супруга. Но сегодня они будто ролями поменялись. Полковничиха, завидя высокую горку булочек, просияла. Полковник же добрый десяток лет вел безрезультатную войну с собственным лишним весом и потому на Анфисины щедрости среагировал кислой миной. Правда, какое-то время он вертелся на кухне возле женщин и уже потянул было руку к настенному шкафчику, но полковничиха шлепнула мужа по пальцам, и содержимое шкафчика так и осталось для Анфисы загадкой.

Женька и Шура встретили соседку так, словно весь день ее ждали. Анфиса была здесь впервые, потому и принялась разглядывать их жилище. «Сказано — студенты!» — резюмировала она про себя, ибо разглядывать было нечего. Диванчик, облезлый сервант, круглый старомодный стол... Ясно. Все куплено в комиссионке. Зато книг — уйма. Толстых и тонких, с рисунками и без, в твердых обложках и в мягких... О чем они, все эти книги? А интересно, есть про инопланетян?

— Фантастикой увлекаетесь? — спросила Шура, обрадованная тем, что соседка должным образом оценила их интерьер: ведь не отсутствие мебели бросилось ей в глаза, а присутствие такого множества книг.

— Ага, — осторожно ответила Анфиса. — Мне главное — про другие планеты.

— Сейчас посмотрим. Жень, где тут Брэдбери?..

У себя Анфиса снова задумалась о том, как быть с деньгами. Дома их держать нельзя, это факт. А куда перепрятать на время? Ничего путного на ум не шло. «А может, и вправду это был инопланетянин?» — успокаивала она себя и, удобнее умостившись на подушках, взялась за этого, как его там... ага: Бред-бе-ри.

И уже через пять минут летела она в космическом корабле вместе с сегодняшним своим гостем и еще несколькими инопланетянами. Прямо как про нее написано, вот чудеса-то!.. Ну-ну, и что дальше?

А дальше прилетели они и перебрались в какое-то большое помещение с бесчисленными приборами, экранами, кнопками, лампочками, которые вспыхивали и гасли, вспыхивали и гасли.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал Анфисе знакомый инопланетянин.

А сам, подойдя к большому пульту с экраном, по которому пробегали кривые линии, стал докладывать начальству о результатах вылазки на Землю... То есть вслух-то он ничего не говорил, но Анфиса все понимала — может, потому, что внимательно глядела на экран с бегущими кривыми линиями.

— Операция прошла успешно, — докладывал инопланетянин. — Для более глубокого изучения данной цивилизации на борт станции доставлены семь особей —

как мужского, так и женского пола. Обстоятельства позволяют им оставаться у нас не более пяти суток.

— Хорошо. Расскажите о каждом.

— Прошу познакомиться. Академик-термоядерщик. Неоднократный чемпион по боксу. Популярный певец. Известный мореплаватель. Писатель-фантаст. Геологоразведчик. Работник торговли.

«Ничего себе, в какую компанию я угодила», — думала Анфиса, похолодев.

— Вы почти справились с заданием. Почти — потому что работник торговли, седьмая особа, не укладывается в нашу схему земной цивилизации.

— Мне показалось, седьмая представляет интерес не меньший, чем остальные земляне.

— Поясните.

— Шестеро — передовые люди своего времени. Цвет и гордость человечества, как у них говорят. Седьмая — их антипод. Я убедился, что процент антиподов среди землян достаточно высок. По-моему, его можно определить как «угрожающий».

— Ладно. Седьмая останется на станции.

Предчувствуя недоброе, Анфиса лихорадочно соображала: «Я — седьмая. А что ж это такое значит — «антипод», а? Противное слово-то какое! Таким словом назовут — это уже точно добра не жди. Опозорят на весь космос, чует мое сердце. Чтоб и на других планетах знали, что я с кофеем делаю да как самодельные булочки продаю. Мама родная, вот влипла-то!..»

Анфиса рванулась к выходу, сама не зная зачем — не собиралась ведь кончать жизнь в космической морозной черноте! — и... проснулась.

Вся она, с ног до головы, дрожала, обливаясь холодным потом.

Горел над головой светильник-бра, а поверх одеяла лежал этот, как его... Да ну его куда подальше!

Отшвырнув ни в чем не повинного Брэдбери, Анфиса выключила бра и, повернувшись на бок, вскоре заснула. Слава богу, ничего больше не снилось.

Утром настроение было ровное, спокойное — потому что выспалась хорошо. На свежую голову быстро нашлась, куда девать деньги. В кафе, как обычно, продавала чай и кофе, на вопросы же посетителей, почему нет булочек, нахально отвечала:

— А вы в торг напишите. Кажись, все теперь грамотные?

Знала Анфиса, что после таких слов никто в торг писать не станет. Такова уж человеческая психика, срабатывает наоборот. Вот если бы попросила их не писать, уж точно бы написали.

Все ж таки на кофе она сегодня не много заработала. Да и чего было ожидать после такого сна? Сны так просто не снятся. К примеру: однажды видела, будто бы они с Петром одни на пустом пляже, купаются, целуются. А утром поругались— и развод. Где он теперь, Петро? И зачем это они так быстро разбежались? Жили б сейчас не тужили, завели бы детей. Квартира хорошая, а стало бы тесней — выменяли бы лучшую, сейчас самого черта можно выменять, были б деньги. Вон на всех столбах объявления висят, такой обмен предлагают — и смех и грех... Трехкомнатную в центре, потолок — четыре метра, в кухню хоть на лошади въезжай — и все это на однокомнатную келейку в дальнем микрорайоне. Напишут такое, а внизу приписка: «Возможны варианты». Значит — людям деньги нужны. Вот бы и они с Петром выменяли себе, если б дети пошли да здоровье было...

Вечером Анфиса нашла в шкатулке старый, примятый конверт. В последний раз Петр писал ей с БАМа. Вот и адрес. БАМ-то уж построили, разъехались. А вдруг он там остался работать? Петро не летун, умеет прикипать к месту, к человеку. От нее тоже бы не уехал, если б сама не выгнала. Написать ему, что ли, на тот БАМ?

Написала. Правда, сдержанно, скупо. Поймет, если захочет. А не захочет — Анфиса и так не прогадает. Сколько жила без него, поживет и еще.

А дни бежали, и никто не наведывался к Анфисе с ревизией ни на работу, ни домой. Но чем меньше оставалось до отпуска, тем чаще вспоминался вечерний гость, пообещавший явиться через две недели.

Анфиса вернула студентам фантастическую книгу, а другой брать не захотела. Попросила только Женьку и Шуру подержать у себя кое-что из ее хрусталя и посуды. Дескать, должен муж объявиться — бывший, правда, но вот подал в суд, чтоб

имущество разделить. Ну, да вы ж сами знаете (а откуда им знать — живут здесь всего несколько месяцев!), каким Петро хозяином был. Щепки в дом не принес, а сейчас, подумать только, имущества ему захотелось... Так вы не против? Вот спасибо, а я вам еще булочек испеку...

Она перетащила к студентам коробки с хрусталем и фарфором, а отдавая книгу, вспомнила свой космический сон как величайшую бессмыслицу, от которой ну просто уши вянут. Само собой, инопланетяне (если б они были!) не взяли бы к себе Анфису, не подошла бы она им. Мало ли подходящих землян. И все же: не сошла ведь она с ума, являлся ведь к ней тот человек? Являлся. Не стала бы она иначе выключать телевизор на фильме про милицию. Кого же тогда ждать? Бандитов? Работников ОБХСС? Или все-таки инопланетян?

Взвесив все еще раз, Анфиса на всякий случай снова проинструктировала себя, что станет отвечать на вопросы о коврах, телевизоре, мебели...

И вот он наступил, тревожно ожидаемый, знаменательный день. Первый день отпуска. С утра Анфиса принялась убирать квартиру. Заодно прошлась по всем уголкам — не приткнула ли где деньги, не забыла ли ненароком. Нет, не забыла. На это дело память у нее цепкая. Ну вот, теперь все путем. Пусть-ка приходят. На когда договаривались? Кажись, на три часа дня.

В два Анфиса спустилась в магазин, к знакомой продавщице, и зачем-то купила бутылку сухого. Поставила ее в бар, который пустовал до сих пор. Стенки у него зеркальные, и бутылка, многократно ими отраженная, показалась целой батареей. «Еще подумают, что я алкоголик какой-нибудь», — испуганно подумала Анфиса и спрятала вино в кухонный шкафчик.

Пропикало по радио три часа, затем четыре, шесть, девять... За окнами стало темнеть, и Анфиса уже не находила себе места. «Кому, ну кому взбрело поглумиться над одинокой женщиной? Чем я кого обидела? Кому в борщ наплевала? Ох, страшный этот, жестокий мир! Чуть склонилось дерево — тут же все козы на него скачут».

Пометавшись по квартире, не глядя уже на часы, выключила Анфиса телевизор, разобрала постель, а никто не приходил, и звонок не звенел, и на лестнице было тихо.

Пошла в ванную, вымылась на ночь, положила крем на щеки, лоб, подбородок, глянула на себя в зеркальце — и рассмеялась. Идиотка, ненормальная. Поверила забулдыге, который хотел всего-навсего разжиться у нее трояком. Мало ли таких слоняется по подворотням? А она и уши развесила. Вино пошла покупать. Хрусталь к соседям отнесла, а деньги — даже самой себе боится признаться, где спрятала. Эх ты, Анфиска, четверть века прожила, а ума-то не нажила. Да кому ты нужна? Ты ж радио слушаешь, телевизор смотришь. Люди вон тысячи крадут, десятки тысяч, и то их не всех за руку ловят. А то — ты. Песчинка! Маковое зернышко в многолюдном городе! Да если всех таких, как ты, зацепить — кто ж тогда за прилавком будет работать? Ну, вперед умнее будешь.

Она быстро растерла крем по лицу, накинула халат, вышла и позвонила к студентам.

— Не спите еще?

— Мы — совы, — пропуская соседку, весело проговорил Женька.

— Кто-кто?

— Люди делятся на тех, кто продуктивнее работает утром, и тех, кто вечером. Жаворонки — утром, понимаете? А совы — вечером. Мы с Шурой совы.

«Надо же! — подумала Анфиса. — А я кто же?»

— Ну вот что, совы, — сказала она. — Давайте назад мое богатство. Передумал мой Петро имущество делить.

Женька еще помог ей перетаскать картонные коробки, она в благодарность предложила ему вина, но он отказался. Щелкнув замком, принялась Анфиса распаковывать посуду.

И тогда в дверь позвонили.

С украинского.
Перевод Ирины МАРЧЕНКО.

Из поэтических тетрадей

Николай РАЧКОВ

* * *

Что стряслось, друзья-
односельчане?
Как же это вышло, земляки?
Ни копешки на лесной поляне,
Ни стожка у высохшей реки.

Ни овцы в хлеву, ни коровенки,
Ни гармошки звонкой на крыльце...
Ходят вдоль по улице девчонки,
Скучные, с ленцою на лице.

Как же так: деревня валит валом
В город в магазин за молоком?
Отродясь такого не бывало,
Даже в сказках не было о том.

Наслаждаться в пору сенокоса
Телефильмом как-то не с руки.
Души заржавели али косы,
Объясните, что ли, мужики!

Ну-ка, разберемся — в чем
причина?
Сядем-ка на клеверный лужок.
Эта пожня, эта луговина
Неужель подошвы вам не жжет?

* * *

Не заносите руку на природу
И не взрезайте вены синих рек.
Во здравье человеческому роду
Оставьте чистым этот белый снег.

Пускай в зеленом зеркале залива,
Лучом зари просвеченным до дна,
Купается застенчивая ива,
Как женщина, красива и нежна.

Оставьте лес не только для охоты.
Пускай от Кордильер и до Карпат
В сиянье звезд не только самолеты,
А ласточки и лебеди летят.

Пускай текут спасительные воды
И пусть душе светло среди рябин.
Знай, человек, что ты не царь
природы,
А только сын,
ее любимый сын.

Одна

Все не верится, все не верится:
Буря жизни прошла.
Крылья мельницы еще вертятся,
Вхолостую машут крыла.

Где вы, дети, и где вы, внученьки?
Не спешат.
Ломит ноженьки. Ломит рученьки,
Вся в слезах душа.

Все устроены, все при деле,
При заботах все.
Ей в окошко — дожди, метели
И луга в росе.

И от завтрака и до ужина
В этом грустном уютном дому
Никому, никому не нужная,
Никому.

Телевизор... Да что до песен ей!
Ведь одна посреди Земли.
Чу, звонок... Это снова пенсию
Принесли.

Слово теплое молвить хочется!
Никого окрест.
Самый тяжкий крест —
Одиночество.
Тяжкий крест...

Михаил НЕБОГАТОВ

* * *

Я рос в семье, где добывали
Насущный хлеб своим горбом,
Где, помню, до свету вставали
При звезд мерцанье голубом.
И через времени завесу
Все вижу, вижу я вдали:
Отца недвижного из лесу
Во двор на дровнях привезли...
Я помню мамину кручину —
Нужда вошла под хмурый кров.
И на меня, как на мужчину,
Лег труд отцовский — пилка дров.
О, как завидовал я Славке,
Дружку,— он в первый класс
пошел!
Я из окна, присев на лавке,
Смотрел печально — бос и гол.
Под вечер он в дыму метели
Скрипел пимами во дворе.
И допоздна мы с ним смотрели
Картинки в новом букваре.
А то до полночи свинцовой
Мать, подавляя боль и грусть,
Стихи Некрасова, Кольцова
Мне говорила наизусть.
Мне до сих пор все это мило:
Картинки те из букваря,
Метель, что окна серебрила,
Со мной стихами говоря...

О простоте

Обидно мне за простоту:
Иной в презрении ретивом
Ее обходит за версту
И называет примитивом.
За сложность ратует такой,
В нее лишь верит непреложно,
Не зная истины простой,
Что эта сложность часто ложна.
Абстракций красочный потоп
Увидят «тонкие» эстеты
И начинают морщить лоб,
Искать какие-то секреты.
Мол, сразу видно мастерство.
Здесь что-то есть, хоть
непонятно...
Да бросьте! Нет же ничего,
Одни бессмысленные пятна.
Иль что-то модное прочтут,
Где даже формулы меж строчек,
И снова ищут смысла тут —
В стихах без запятых и точек.
Увы, у многих нет родства,
Нет дружбы с простотой
природной,
Не с той, что хуже воровства,
А с той — высокой, благородной.

Родство душ

...А тружусь я с надеждой одною,
Одного утешенья ищу:
Должен кто-нибудь вместе со мною
Загрустить, если я загрущу.
Не хочу недоверьем обидеть
Тех, с кем радость работы делю:
Должен кто-то любить, ненавидеть
То, что я ненавижу, люблю.
Должен кто-то моими глазами
Видеть мир, окружающий нас,—
Облака над полями, лесами,
И веселого дождика пляс,
И небесной дуги самоцветы
В зеркалах успокоенных луж...
Для кого бы творили поэты,
Если б не было родственных душ?

Вячеслав ЩЕТИННИКОВ

* * *

Вдоль калужской деревни
проложили шоссе,
по земле нашей древней,
по цветам, по росе.
И пошли вереницы
самосвалов, такси
от Москвы, от столицы
изначальной Руси.

Ах, деревня, деревня!
Лишилась ты сна.
На кустах и деревьях
стала бледной листва.

Как строители дружно
таранили лес!
Может, все это нужно,
потому что прогресс.

Или гнать бы их в шею?
Нет, судить не берусь.
Но люблю и жалею
деревянную Русь.

Чем упрямей и строже
время борется с ней,
тем она мне дороже
и до боли родней.

Павел ЕЛФИМОВ

Уборщица

Запах масла и металла
Сбит полынною волной —
Тетя Маня подметала
Ароматною метлой.

И, внезапный дух почуя,
От резца отвел я взгляд:
Тети Манина причуда —
В цехе
степи аромат;

С позабытым чем-то встреча
Здесь, в грохочущем дому,—
С невозвратным,
чем-то вечным,
Непонятным самому...

Так пахнуло степью вольной!
Горький воздуха глоток —
Незапамятное поле —
Неповторный мой исток.

Евгений ЧЕКАНОВ

Слезы

Горят селенья дальних стран,
Рвут небо бомбовозы...
Глядит старуха на экран
И утирает слезы.

Опять заморская беда
Ей сердце защемила.
Про то, что под полом — вода,
Старуха позабыла.

Она забыла, что старшой
Письма не шлет полгода

И что в деревне их большой —
Наперечет народа.

И что храпит ее старик,
Опившись бормотухой...
Все позабыто в этот миг
Российскою старухой.

К избе своей, к нужде своей
Привыкла, притерпелась.
Встает, идет кормить гусей.
Досыта наревелась.

Блудные сыновья

Провинциальные таланты
Спешат в столицу каждый год.
Они готовы, как атланты,
Принять на плечи небосвод.

Спешат... Но —
«жизнь полна обмана»,
И вот уж гнутся плечи их

Под грузом лишнего стакана
В столичных барах и пивных.

А дальше — хуже...
Но довольно —
Сюжеты есть и поновей.
И все же, родина, мне больно
За этих блудных сыновей.



Сергей ВИКУЛОВ

«НАЧАЛЬСТВО ПРИВЕЗЛО НОВОГО...»

В КОНЦЕ 1985 года редакция «Сельской жизни» попросила меня написать что-нибудь в новогодний номер, разумеется — с уклоном в дела деревенские, о которых, по ее мнению, у меня как у писателя-деревенщика есть свое представление... В это время я как раз собирался сесть за письмо к своему старому другу, живущему в деревне. Поговорить с ним по душам на предновогодней волне было для меня не только данью традиции, но и потребностью души.

И вот, взявшись за перо, чтобы откликнуться на просьбу редакции, я, после долгих раздумий, понял, что перестроиться на другую волну не смогу, и решил писать не статью, а письмо, открытое письмо в деревню, поскольку мысли, которыми мне хотелось поделиться с другом, касались всех, кто сегодня живет в деревне и кто из деревни уехал, рассердившись на нее...

Так появилось на свет «Письмо в деревню» («Сельская жизнь», 3.01.86 г.).

Во «врезке» к письму редакция пригласила читателей принять участие в начатом мною разговоре, и читатели приглашение приняли. Папка с откликами (большинство из них озаглавлены «Письмо из деревни») к концу января здорово распухла. Не имея возможности обстоятельно ответить на каждое письмо, редакция решила показать всю почту мне, сказав при этом, что если она даст повод для размышлений, то и поразмышлять — разумеется, на бумаге.

Признаюсь, нелегкая это работа — читать написанные от руки, чаще всего неразборчивым почерком, сочинения... Нелегкая, но увлекательная! И полезная. Даже очень! Потому что письма почти все оказались предельно откровенными, насыщенными конкретными примерами...

В этом факте я усматриваю добрую примету времени: народ услышал призыв партии к гласности, к смелой критике бесхозяйственности, показухи, рвачества и других укоренившихся в нашей жизни отрицательных явлений.

Иными словами — и это первый мой вывод из писем, — люди деревни сегодня хотят говорить, потому что поверили: будут услышаны! И в этом тоже примета времени. Хотят говорить обо всем, что наболело, что мешает колхозам сдвинуться с мертвой точки, и прежде всего о своих председателях, об их роли в организации (скажем так) деревенской жизни (будем понимать под этим словом не только «борьбу» за хлеб, мясо и молоко, но и все, что касается души человека).

У многих, кто высказался на эту тему, весьма и весьма почтенный возраст, у них на памяти весь уже более чем полувековой(!) опыт колхозного строительства и удручающе длинный список председателей, под началом которых им довелось ходить. И то, что при одних колхоз поднимался в гору, а при других катился с горы, дает им повод для нехитрого, но неопровержимого умозаключения: порядок в колхозе, его хозяйственные успехи в огромной степени, если не полностью, зависят от председателя. Причем в нынешнее время, когда колхозы стали во много раз крупнее, а главное — разбросаннее, а на поля и фермы пришла сложнейшая техника, роль его в организации жизни колхоза возросла еще более.

Между прочим, один из главных аргументов сторонников слияния мелких колхозов в крупные как раз в том и состоял, что, дескать, председательский корпус при этом значительно сократится, слабые председатели отсеются, а грамотные и опытные, а главное — талантливые возглавят теперь уже совсем немногочисленные крупные хозяйства — и дело пойдет.

К сожалению, дело пошло далеко не везде. Не стану здесь останавливаться на крупных просчетах экономического и социального характера, допущенных в ходе той скоропалительной и крупномасштабной кампании, — они были и, думаю, во многом предопределили топтание на месте, а то и дальнейшее падение уже укрупненных колхозов.

Меня в данном случае интересует другое: могли ли проявить себя и в этих для колхозного строительства небывалых условиях действительно талантливые, преисполненные чувства долга и ответственности перед народом руководители? Ну если не в экономике, то в педагогике хотя бы? Ведь мы именно тогда начали говорить о том, что председатель должен быть не только хорошим хозяйственником, администратором, агрономом и зоотехником, но и психологом, и педагогом, и воспитателем.

Могли! И, кстати, проявили. Они утвердили свой авторитет искренним, а не показным вниманием к людям, справедливостью, личным бескорыстием. И пусть не все возглавляемые ими колхозы прогремели рекордными показателями, но и вниз не скатились, а главное — люди из них, несмотря ни на что, не спешили уходить в город, потому что видели: хозяйство в надежных руках, и не теряли веру в лучшее будущее.

Поддержать в людях эту веру было, скажем прямо, не таким уж легким делом в то время...

Положительные (как и отрицательные) качества руководителя народ распознает быстро и безошибочно. Да и не диво: в деревне всё на виду и всё на слуху, даже и темной осенней ночью деревня все видит и все слышит. Вон сколько у нее глаз-то! И все смотрят в одну сторону — на председателя. И как бы он ни пытался скрыть, что у него в душе, ему это не удастся. Если в ней пусто и холодно, как в сарае без крыши, а где-то на самом дне тайное намерение как-нибудь отбыть обговоренный срок и убраться восвояси, — что бы он ни делал, какие бы красивые и громкие слова ни произносил, народ останется глух к его призывам, дела в колхозе не пойдут.

Так каков же он, наш председательский корпус сегодня? Все ли его бойцы надежны, соответствуют тем требованиям, которые предъявляет к ним как к руководителям перестройка?

Хотелось бы думать: да! И не только потому, что численно он, этот корпус, как я уже говорил, значительно сократился, но еще и потому, что грамотных людей — специалистов с высшим образованием — в колхозах стало несравненно больше, не говоря уже о районе, и значит, черпать пополнение есть откуда.

Однако читатели со всей определенностью на этот вопрос отве-

чают: «нет!» И подтверждением тому, пишут они, пресловутая «председательская чехарда», продолжающаяся и теперь. «В колхозе «Правда», — сообщают ветераны труда Старобельского района Ворошиловградской области, — сменилось 18 председателей (следует список сменившихся. — **С. В.**). Нынешний председатель П. А. Калинин хороший, колхозники им довольны. Но ему трудно, хозяйство принял с большими долгами, которые на совести «бывших». Вот, например, под номером 14 даже партбилет потерял, целый год вдоль заборов искал... Но тут как раз обмен билетов начался, и наш герой выскочил как ни в чем не бывало. Уехал в город, купил дом за 13 тысяч и потихоньку себе поживает, грехи не замаливает, за него другие замолили...»

Вот таких и подобных им писем в моей почте немало. Можно было бы цитировать их и цитировать. Но, вчитываясь в них, я хотел понять: чем объясняют люди эту не столь уж редкую и сегодня ситуацию?

Чаще всего тем, что новых председателей они, по сути, не выбирают, их привозят к ним со стороны и, разыграв ставшую уже привычной сценку «демократичных» выборов («Кто «за»? Кто «против»? Кто воздержался? Избран единогласно!»), сажают в председательское кресло.

Новый кандидат на пост председателя на отчетно-выборное собрание, как правило, прибывает не один, а в сопровождении представителя райкома или райисполкома, «свата» — так его называют колхозники. Что они знают о нем? В большинстве случаев — ничего. Да и он об их колхозе не слишком много знает. Да и знать-то откуда? Ни дня здесь не жил, ни на одном дворе не бывал, ни одного поля не видал...

Да и поехал-то он сюда еще разобраться надо почему. Ведь бывали — и не только у них — и такие случаи: проштрафился где-то человек, чуть ли не исключение из партии ему грозило... Вызвали на бюро, сидит, трясется, пóтом обливается и вдруг слышит: «Ладно, Сидоров... Простим тебе еще раз... Дадим возможность искупить вину... Поедешь председателем в «Ниву»...»

Что он может ответить, проштрафившийся, в такую минуту? Отказаться? Да ни боже мой! Соглашается, едет, принимает от предшественника печать, а сам едва ли не с первого дня начинает втайне соображать, как от нее этак годика через три-четыре избавиться. Другие едут, подчиняясь партийной дисциплине. Упрямятся, конечно, поначалу, не соглашаются. Но в конце концов, услышав: «Или поедешь, или партбилет на стол!» — едут. Колхозники, которым выпадало за такого кандидата голосовать, могли этого и не знать, да чаще всего и не знали, но душу такого председателя разгадывали очень быстро. А если он вдобавок ко всему, став председателем, на жительство в деревню даже не переехал, оставил за собой квартиру в городе, то тут и слепому даже становилось ясно, чтó он за птица. «Поглядываем, бывало, из-за угла, — пишет о таком председателе один читатель, — совсем уехал или нет... Ага, совсем... Ну что ж, и мы тогда по домам, а то дак и за бутылкой в магазин...»

Нет веры у людей такому председателю. «Набьет карманы — и уедет!» — так рассуждают колхозники, расходясь с собрания, на котором они подняли руки за очередного «кота в мешке». Подняли, потому что «сват» из района очень уж хотел этого. Правда, не все подняли... Не все даже из тех, что пришли. Ну да это уже мелочи. Всех-то теперь попробуй собери, когда колхоз объединяет до двух десятков, а то и больше деревень.

И вот «новый» начинает действовать, или, как говорят, командовать. Хорошо, коли какая-то команда, что называется, в «десятку» попадет, будет на пользу делу... Ну а ежели нет? Ежели команда и эта, и другая у людей только ухмылку вызывает: дескать, ничего-то ты, брат, не петришь в нашем деле, хоть и ученый.

«Был бы свой, нами выбранный председатель, — пишет о таком

случае мой корреспондент из Челябинской области, — помогли бы, совет добрый дали, дело делать побежали бы — ведь мы сами его выбрали, значит, и ответ не ему только держать, но и нам!»

«Был бы свой...» Понимаете: свой! Вполне понятное желание. Проголосовать за человека, которого знаешь, в которого веришь как в умного, опытного, справедливого и честного, — это ли не радость для души?!

Сверху, из района, часто кажется, что «своего» в том или другом колхозе нет: у этого — семь классов образование, этот — молод, этот... этот, пожалуй, и мог бы, но... беспартийный. Вот так переберут всех, взвесят на своих весьма и весьма приблизительных весах и запишут: нет... А взять бы да и усомниться, а усомнившись, поехать в колхоз, походить по бригадам, послушать людей, приглядеться к ним.

Ну хорошо: допустим, и в самом деле в данном колхозе на данный момент подходящей кандидатуры на должность председателя нет.

Что в этом случае предлагают читатели?

Первое — это не спешить с избранием нового. Подобрав кандидата, дать ему возможность поработать в колхозе и бригадиром, и заведующим фермой, и, может быть, исполняющим обязанности председателя — одним словом, дать возможность человеку и на людей посмотреть, и себя показать, а потом уж ставить вопрос на голосование. Причем сначала на бригадных собраниях, а после на общем. Притом почти все голосование предлагают не открытое, а тайное.

Что касается меня, то я тоже за тайное голосование. А почему бы и нет?! Секретаря парткома коммунисты колхоза избирают тайным, и только тайным голосованием. И это очень правильно! А председателя?.. Но неужели, спрашиваю я себя, должность председателя менее значительна для судеб артели, чем должность партсекретаря? И кроме того: что больнее скажется на делах — ошибка с избранием председателя или секретаря?

Думаю, ответ ясен...

Новый председатель... Сколько повестей, романов, поэм написано о нем, сколько фильмов и спектаклей поставлено! И во всех, с небольшими вариациями, один и тот же сюжет: старый председатель колхоз развалил, новый поставил его на ноги. В этом излюбленном писателями сюжете находила отражение не столько реальная жизнь, сколько их фантазия. Были, конечно, случаи, когда новый председатель действительно поправлял дела, творил, что называется, чудеса, но чаще все-таки со сменой руководства чудес не происходило, иначе не затянулась бы на столь долгие годы ставшая уже древней игра в упоминавшуюся выше «председательскую чехарду».

И потому тысячу раз правы читатели, делая второй вывод: председателей надо готовить. Притом преимущественно из числа своих, местных, из тех, чей авторитет в колхозе высок, но недостаточно высоко образование. Посылать таких людей (конечно, с согласия колхозников) на курсы, потом на практику к самому авторитетному председателю в районе, а то и в области, посылать не на месяц, а может быть, на полгода, чтобы он усвоил и перенял не только самые прогрессивные технологии, но и науку управлять.

Один читатель обратил мое внимание еще на одно немаловажное обстоятельство в связи с председательской проблемой. Он сообщил, что в его районе, как ни странно, почти исключена возможность избрания председателем человека беспартийного. «Конечно, — пишет он, — райкому удобней, если все председатели члены партии: их и на пленумах можно поднакачать, и на бюро вызвать».

Что верно, то верно: удобно. И потому партийность председателей принята за норму, за правило. Но ведь не бывает правил без исключения. Разве меньше было бы чести райкому, если бы он, согласившись с кандидатурой на пост председателя человека беспартийного, вырастил потом его до крупного хозяйственника и члена партии?

Эка беда: секретарь райкома не будет иметь возможности вызвать беспартийного председателя на бюро! Неужели он не найдет другой возможности побеседовать с ним по душам?! Найдет! И потом: беспартийный председатель вполне может быть избран депутатом райсовета, а это тоже немало.

Каким хотят видеть своего председателя люди?

В первую очередь, конечно, умным и знающим человеком, рачительным и заботливым хозяином, строгим, но справедливым руководителем. А еще — самостоятельным — таким, который не кинется безоглядно выполнять любое указание «сверху», он прежде подумает, подсчитает, послушает соображения колхозников и специалистов на этот счет, а потом уж примет решение, руководствуясь в первую очередь соображениями выгоды.

Непросто это — отстаивать самостоятельность, но и руководить со связанными руками тоже нелегко, а сказать правду — невозможно.

На днях как раз об этом прочитал очерк в газете «Советская Россия». Герой очерка — председатель с тридцатилетним стажем Герой Социалистического Труда Юрий Михайлович Иванов (Калининская область), имея в виду стиль работы районных организаций, говорит корреспонденту:

«— Только бы без дела по привычке не вмешивались. Ведь «вмешателей» на каждого председателя больше десятка наберется — от райкома до агропрома. А какой же ты хозяин, если к каждой твоей руке по нескольку веревок привязано?»

Далее. Нынешнего председателя невозможно представить вне окружения многочисленных специалистов — агрономов, зоотехников, экономистов, инженеров, механиков и т. д.

Их в колхозах, пишут читатели, полно, не то что в тридцатые годы... То есть так много, что некоторым кажется даже — лишка. Возмущаясь чрезмерно раздутыми штатами правлений колхозов (в одном колхозе, подсчитал читатель, на каждых четырех колхозников один руководитель), иные читатели не прочь назвать своих штатных специалистов даже «дармоедами», поскольку не видят реальной отдачи от их «деятельности», в которой львиную долю времени занимает составление сводок и отчетов да сидение на совещаниях...

На первый взгляд все это вроде бы и не имеет прямого отношения к предмету моего разговора — ведь я пока речь веду о председателях. Но только на первый взгляд. На самом же деле председатель и специалисты — одно целое: председатель — стратег, он видит хозяйство все в целом, и в сегодняшнем его состоянии, и в перспективе; специалисты же — тактики, его приводные ремни. Разумеется, своя стратегия есть и у них, но она в основном в пределах отрасли.

Так вот, у хорошего председателя — считают читатели — эти приводные ремни работают, и сила его именно в том и состоит, что они крутятся, приводят в движение те колеса и шестеренки, вращением которых его стратегические замыслы превращаются в реальные дела. И назвать «дармоедами» таких специалистов ни у кого язык не повернется; даже и в том случае, когда они «сидят на окладах», не зависящих от конечных результатов отраслей, обслуживаемых ими.

Правда, большинство читателей все-таки за то, чтобы заработок специалистов поставить в зависимость от конечных результатов, то есть включить и их в бригадный подряд. Трудно не согласиться с этим мнением. Зарплата по конечному результату не просто подхлестнет специалистов, заставит их думать и творить, творить и думать, но и положит конец неприязни к ним рядовых колхозников: чего, дескать, им «вкалывать», зарплату все равно получат... Но это уже из области психологии, без учета которой, как мы теперь убедились, сплотить коллектив тоже очень трудно.

В связи с вышесказанным любому председателю, мне кажется, не боясь ошибиться, можно адресовать вот этот, слегка подправленный афоризм: скажи мне, какие у тебя специалисты, и я скажу, кто ты.

Талант председателя наиболее ярко, зримо проявляется именно в отношениях его со специалистами. Будь ты семи пядей во лбу — с таким хозяйством, какое являют собой современные колхозы, в одиночку, без опоры на специалистов, не управишься. Опыт лучших председателей полностью подтверждает этот вывод.

Как добиться, чтобы специалисты стали твоими надежными помощниками? Требовательностью? Да. Но еще и доверием к ним, предоставлением самостоятельности, ибо инициатива, творчество (а без них нет движения вперед!) произрастают из самостоятельности. Поэтому сомневайся в выводах и решениях специалистов, но доверяй им: они — специалисты! Знатоки своего дела!

Именно так строит свои взаимоотношения с агрономами и зоотехниками председатель лучшего на Вологодчине колхоза «Родина» дважды Герой Социалистического Труда М. Г. Лобытов. Да и не только он. В любом хорошем колхозе специалисты крепко держат в руках штурвал своих отраслей.

Однако, как свидетельствуют письма читателей, для настоящего председателя одной хозяйской струнки, одного умения организовать производство — все-таки мало! Необходимо еще умение организовать жизнь колхоза, а иными словами — большой семьи, в которой он, что называется, отец родной — строгий, но справедливый, умеющий не только наказать, но и пожалеть. Ведь когда мы звали крестьян в колхозы, мы подчеркивали не только то, что артелью легче будет своротить любую гору («дружно — не грузно, а врозь — хоть брось»), мы говорили еще и то, что в колхозе попавший в беду (или впавший в нужду) человек не останется один на один с нею, колхоз (семья) поможет, выручит. Да и как иначе? Трудиться вместе, а горевать в одиночку? Какая же это артель? Что и говорить, такая перспектива привлекала, подталкивала мужиков к нелегкому решению — вступить в колхоз... И они вступали.

В первую очередь те, кто устал бороться с нуждой. Теперь зададимся вопросом: все ли председатели помнят об этой, я бы сказал, основополагающей стороне колхозной (артельной) жизни?

Письма свидетельствуют: не все.

Заготовить на зиму дров (в южных областях — угля), вспахать приусадебный участок, отвезти излишки продуктов на базар, а заболевшего человека в районную больницу, достать материалов для ремонта дома, обеспечить личный скот сеном и комбикормами — все это и многое другое остается в иных колхозах и по сей день личной заботой каждого. И сколько горечи накопилось в душах людей из-за такого вот извращения сути артельной жизни. Хотите примеров? Но их так много, что пришлось бы исписать десятки страниц.

Читатели не прощают особенно руководителям тех хозяйств, которые забыли о престарелых колхозниках. Чаще всего это женщины. Многие из них остались одинокими (мужья убиты на войне, дети разъехались), да еще в опустевших деревнях (одна-две старушки на целый посад). Для них, немощных, любая мелочь — проблема. Даже буханка хлеба. Даже керосин в лампу. То и другое теперь от них далеко, а дорог подчас — никаких.

Забыли эти председатели, что нынешние старушки являлись главными действующими лицами невиданной трагедии, название которой Великая Отечественная война, трагедии, разыгрывавшейся почти четыре года. А если к ним приплюсовать еще с десяток труднейших послевоенных лет, то жизнь этих старушек иначе как подвигом и не назовешь.

Неужели не понятно, что невнимание к старым людям оборачивается не только их слезными жалобами,— оно ранит души и молодых.

В самом деле, будут ли любить свой колхоз девушка или парень, видя, с каким бессердечием относятся там к старикам? К их матерям и бабушкам?

Зато как бы выиграл председатель, какая молва пошла бы о нем, когда бы он (или по его просьбе заместитель, а то и секретарь парткома), пригнув голову, чтобы не стукнуться о косяк — двери в старых избах невысокие, — заглянул к каждому пенсионеру, выслушал все просьбы и жалобы, а на другой день, собрав правление, вынес решение об их удовлетворении...

Ведь никакого внимания старым людям в ином колхозе!

Если ученики по распоряжению учительницы прибегут напилить дровишек на две-три истопки — об этом даже районная газета напишет! Как же! Событие! А ведь, кроме дров, у старушки этой крылечко подгнило, ворота не закрываются, печка дымит, крыша протекает...

Одним словом, председателю в сто раз больше, чем деревенскому старосте в дореволюционное время, надо помнить о людях, знать их нужды, настроение...

Нужды — это проще: их люди не таят, не только говорят о них, но даже и заявления пишут.

А вот настроение... Оно о себе не трубит, оно подчас таится на самом дне души. И болит, ноет душа от этого, хочется ей излиться перед кем-то... но перед кем?

Перед «самим»? Так ведь его одного в кабинете и не застанешь, а и застанешь — так что толку? В одной руке телефонная трубка, в другой сводка. И вне кабинета весь он в заботах о молоке и мясе, о мясе и молоке...

И некогда подумать, бедному, о людях, увидеть в доярке, например, не только «рабсилу», но и человека, у которого есть свои семейные радости и печали, свой взгляд на положение дел на ферме и в колхозе, свой характер, своя боль — та самая, что камнем лежит на душе...

Забывали об этом многие председатели, да что председатели — и секретари парткомов — тоже. Вместо того чтобы говорить с людьми, вдохновлять, убеждать, они, как тень, целыми днями с председателями: те к тракторам — и они туда же, те на склад — и они следом...

Колонками цифр в сводках исчерпывалась их информация о людях, об их настроениях. Плохо это! Очень! На мой взгляд, перестройка, которая должна помочь нам обрести небывалую силу, невозможна без приближения руководителей всех рангов к людям.

Я уже отмечал в начале статьи: сегодня все хотят говорить.

И руководители, если они поняли суть и смысл перестройки, должны не упустить момент, смело идти на прямой разговор с народом — на дворе, на току, в мастерской... А еще лучше — с глазу на глаз, в семейном кругу, за чашкой чая...

Выслушать человека — это означает не только получить от него информацию; выслушать — это еще и уважить его, разбудить в нем самое сильное чувство — чувство человеческого достоинства («меня слушают, со мной советуются, моим мнением дорожат!»). И тем самым как бы вытащить его на свет, подключить к общественной жизни, сделать соучастником своих решительных действий по наведению порядка в колхозе, укреплению дисциплины.

Слово — полководец человечьей силы. Это правильно. Но правильно и то, что слово, брошенное в раздражении через красное сукно, и слово, сказанное в доверительной беседе, в привычной для человека обстановке, имеют разную силу.

Думаю, что именно это имел в виду мой корреспондент, написав: «не стало рядом вдохновителей, одни погонялы».

Но, конечно, правда и то, что на вдохновляющее слово надо иметь право. Не то, которое выдается тебе вместе с должностью, а то, кото-

рое обеспечивается твоим авторитетом, твоей моральной чистоплотностью, совестливостью, бескорыстием...

Именно так характеризует бывшего председателя М. Е. Пухову ветеран труда А. З. Субботин из колхоза имени Калинина Ивановской области; нынешнего председателя «Кубани» Славянского района Краснодарского края — журналист А. И. Завгородний...

К сожалению, таких примеров в письмах немного. Больше других, со знаком минус.

Об одном председателе люди пишут, что он пьет и на колхозные дела смотрит в основном «через дно стакана», о другом, что он слишком хлопочет о своем кармане да о личном комфорте, о третьем, что он не терпит никакой критики («попробуй сказать что-нибудь не по нему — все, собирай чемодан»), о четвертом, что он не умеет организовать труд, упорядочить оплату («если раньше не работали из-за того, что знали — все равно ничего не дадут, то теперь не работают потому, что знают — все равно дадут»).

Но прибегну к более пространной выдержке.

«Хорошо помню, как в наш колхоз привезли председателя Широкова А. Н. — участника войны, подполковника в отставке, — пишет мой корреспондент из села Лески Брянской области. — Прошло пять лет, больших изменений в колхозе не произошло. Но я не виню председателя: только что кончилась война, разруха была повсеместная... Однако Широкова освободили. Районное начальство привезло нам нового председателя — Дракина Е. И., до этого работавшего председателем в колхозе «Победитель» и хорошо его развалившего.

Колхозники знали об этом и встретили его недружелюбно. Первым делом он занялся в нашем селе амурными делами, одна женщина родила от него сына, а жена его в связи с этим подала на развод. Бо́льшую часть рабочего времени Дракин стоял в магазине или за углом магазина со стаканом в руке. Неизвестно, сколько бы еще годов «поднимал» наш колхоз Дракин, но умер его дядя, работавший в облсельхозуправлении, и его сняли. Районное начальство рекомендовало нам Копшукова В. В. На собрание не пришло и половины колхозников, а кто пришел, так только из любопытства, однако его вытрусили, как кота из мешка, и уехали... Без малого пять лет «руководил» Копшуков, пришлось районному начальству освободить его от этой работы, да не просто освободить, а посадить в тюрьму на 4 года за казнокрадство и другие махинации.

Привозит нам начальство Лапонова В. Д. Фронтовик, летчик, в годах. Этот с целью охраны урожая от потрав стал давить деревенских гусей колесами машины и стрелять их из ружья. Перестрелял почти всех гусей, а урожай как был шесть центнеров с гектара, так и остался... Кроме того, имея взрослых детей, Лапонов спутался с двадцатилетней девицей. И все это на глазах у колхозников. Знало ли об этом районное начальство? Видимо, знало. Потому как Лапонов все же был освобожден. Но не за развал колхоза, а по истечении срока.

Следующего привезли — Доронина Н. Т. К чести его надо сказать, что гусей он не давил, к чужим женам и девкам не ходил, но и экономика колхоза за пять лет его правления нисколько не улучшилась. Уехал под Воронеж, устроился научным сотрудником при селекционной станции.

Начальство предложило нам избрать Болоха Н. К. Избрали.

Ему бы, молодому и энергичному, засучив рукава начать поправлять дела. А он первым делом прижил мальчика с чужой девицей. Колхозников за каждое неосторожное слово, сказанное в горячке, стал отправлять в КПЗ. А сам занялся разными махинациями, втянул колхоз в миллионные убытки... Почти пять лет хозяйничал Болох. В июле 1985 года сел на скамью подсудимых.

Теперь в колхозе «Путь Ленина» председателем т. Баранов, опять привозной. Но люди уже не ждут никаких перемен к лучшему, они потеряли веру и в председателей, и в районное руководство...

Вы пишете, что, занимаясь ремонтом машин, мы должны подремонтировать и свою совесть. Если Вы дочитали мое письмо до конца, то позвольте спросить: кому же в первую очередь надо ее отремонтировать-то? Напомню Вам народную мудрость: рыба гниет с головы».

В конце автор сделал приписку, что письмо его «не для печати». Сказать откровенно, я не понял почему. Но поскольку я его все-таки опубликовал (слегка, правда, сократив), то имени автора не стану называть. Да и не в имени дело. Дело в той картине, которую он нарисовал, картине, дающей повод к размышлению не только мне, автору «Письма в деревню», но и всем, кто не на словах, а на деле осуществляет сегодня перестройку — экономическую и психологическую — на одном из самых горячих участков «фронта» — в деревне.

В самом деле, разве не должно нас насторожить, заставить глубоко задуматься вот это: «Но люди уже не ждут никаких перемен к лучшему, они потеряли веру и в председателей, и в районное руководство»?

Не ждут перемен... потеряли веру... Полбеды, если бы такое положение было только в этом колхозе. Взялись бы всем миром, помогли ему кадрами и техникой, и люди ожили бы, взялись за дело... Ну а если таких колхозов половина, а то и больше? В том же Навлинском районе, откуда мой корреспондент, все 16 хозяйств убыточны... Стронутся ли они с места, пойдут ли в гору, если даже во всё бо́льших размерах будут получать техники, удобрений, если перестроится само РАПО, другие районные организации, поменьше будут «спускать» бумаг, пореже отрывать людей от дела ради пустопорожних совещаний и т д. Думаю, что нет... Техника, особенно современная, рассчитана не просто на грамотных людей, но еще и на неравнодушных, с горячей душой, на людей, стремящихся к успеху, верящих в успех.

Возродить в людях вот эту веру призывами — даже самыми пламенными! — нельзя. Только дела, восстанавливающие порядок и дисциплину в хозяйстве, утверждающие, скажем точнее, социальную справедливость и разумную организацию труда, смогут переломить настроение людей, пробудить в них лучшие качества — трудолюбие и совестливость.

Надеяться, что эти дела по плечу таким руководителям колхозов, о которых написал мой корреспондент,— значит заведомо обречь на полный провал великую нашу задумку, перестройку, которую так и хочется назвать революцией, добавив к ней определения — психологическая, нравственная.

Отсюда какой же вывод следует? Очень простой и — как ни кинь — единственный: надо укреплять председательский корпус. Укреплять, учтя уже более чем полувековой наш опыт в этом деле, укреплять, не повторяя прежних ошибок и просчетов, укреплять, отрешившись раз и навсегда от кустарщины (неожиданное, но очень точное слово для определения существовавшей практики выдвижения руководителей хозяйств), укреплять, разработав и осуществив строго научную программу подготовки этого, если разобраться, решающего в кадровой политике звена. Ведь это же явный анахронизм — освободив от занимаемой должности, а нередко даже отдав под суд очередного председателя, схватиться за голову и начать гадать на кофейной гуще, кого же еще можно посадить в опустевшее кресло?

Казалось бы, вполне естественно в таком разе обратиться к так называемому «резерву», нс беда-то в том, что он, резерв-то, прилично выглядит только на бумаге, на деле же... Короче говоря, выдвижение человека из резерва во многих случаях равнозначно той операции, при которой меняют шило на мыло... Человек из резерва бывает столь же

не подготовлен к роли председателя, как и тот, которого он должен заменить.

Диву даешься!

В одной из самых ведущих отраслей народного хозяйства — в сельскохозяйственном производстве — на должность, которую смело можно приравнять (по армейским меркам) к должности командира полка, выдвигаются подчас люди, не умеющие, как написал мне другой корреспондент, «двум собакам щи разлить». И не потому, что они неграмотны, наоборот — по сравнению с первыми, 30-х годов, председателями даже дюже грамотны, у большинства «корочки» в карманах — пусть не всегда сельскохозяйственного профиля, не всегда как результат очного обучения, но все-таки «корочки». Диплом! Так в чем же дело? А в том, что наука руководить таким предприятием, как сельскохозяйственная артель, в вузовские «корочки» не вмещается. Она значительно шире, чем агрономия, зоотехния и еще кое-что, вместе взятое, ибо это еще и педагогика, и психология, и высокая нравственная культура, и развитое чувство гражданственности, и вместе с тем человечность, доброжелательность, совестливость.

Да надо еще и то иметь в виду, что в сельскохозяйственный-то вуз многие пошли не по призванию, а по необходимости (в другой вуз поступить не смогли), пошли для того лишь, чтобы получить те самые «корочки» или «поплавок». Специальные дисциплины никогда не были их любовью или хотя бы увлечением, а значит, не была их любовью и земля. Так могут ли «корочки» (и только они!) играть решающую роль при выборе кандидатуры на должность председателя? Ответить на этот вопрос предоставляю возможность самим читателям.

А я бы хотел поразмышлять еще об одном феномене, связанном с председательской должностью.

То, что у нас пока много слабых, убыточных колхозов (да и совхозов тоже), известно всем. Но известно и то, что в каждой области есть сколько-то и крепких колхозов (совхозов), настолько порой крепких, что «слабакам» они кажутся неким чудом и, как всякое чудо, необъяснимым и, что самое главное, — недостижимым. Чудо, оно и есть чудо!

Лично я успехи этих хозяйств чудом не считал и не считаю. И потому всегда искал и ищу сегодня им объяснение. Ищу ответа на вопрос: что же главное в этих успехах — или и в самом деле талант, мудрость руководителей, или — прибегну к дипломатическому термину — политика наибольшего благоприятствования со стороны властей предержащих? Не скрою, доводилось слышать от других председателей: дескать, дали бы нам столько ссуд, а потом списали, как этому колхозу имярек, да выделили бы столько техники и удобрений, и мы бы себя показали.

Думаю, что доля истины в этом есть. Но именно доля, а не вся истина. И подтверждением тому вот такой взятый из жизни пример: уходит на пенсию председатель «чудо-колхоза» или его забирают в район, на повышение, его место занимает другой, и «чудо-колхоз» начинает прихрамывать на одну ногу, а через год-два, как говорится, на все четыре.

В письмах читателей приведено несколько таких примеров. Ну а таких, когда в отстающий колхоз приходит наконец настоящий хозяин и колхоз под его руководством сразу же начинает оживать, подниматься на ноги, еще больше.

Значит, главное все же не в «политике наибольшего благоприятствования», а в талантливости, в опытности, всесторонней подготовленности руководителя, то есть в уровне его знаний и культуры в самом широком значении этих слов. И если это так, то мой вывод о необходимости укрепления председательского корпуса тем более верен. Не простая это задача, очень не простая. Одним махом, как свидетельствует опыт пятидесятых годов, ее не решить. Тридцатитысячники не

столько помогли делу, сколько дискредитировали саму идею подъема колхозов путем укрепления руководства ими. «Знатоки» деревни поспешили тогда сделать вывод: «Вот видите, не в председателях дело...» И добавляли при этом, что дело в экономике, в низких ценах на колхозную продукцию, в недостатке тракторов, комбайнов и других машин, в бездорожье...

Прошло с тех пор, можно считать, тридцать лет, за это время неоднократно повышались закупочные цены на сельхозпродукцию, в десятки раз увеличились поставки техники и минеральных удобрений в деревню, повсеместно утвердилась денежная (и немалая) оплата труда колхозников, повысилось их благосостояние, люди забыли даже думать о хлебе насущном. А слабые колхозы, особенно в Нечерноземье, которое я знаю лучше, как были главной нашей «болячкой», так и остаются такими по сей день. «Не в коня корм», — разводят руками районные руководители, имея в виду такие хозяйства. Горькая поговорка, но суть дела выражает точно.

В самом деле, корм-то коню на пользу лишь тогда, когда на нем и сбруя хороша, и хомут в самый раз, и телега — все четыре колеса, а главное — не дурак, кто сидит на возу и держит в руках вожжи, то есть руководитель хозяйства, председатель. И с этого конца опять все уперлось в него.

Возьму еще одну довольно отчетливо проявившуюся тенденцию в сегодняшней колхозной жизни. Не буду пока определять ее, предоставлю слово очередному моему корреспонденту из колхоза «Россия» Дуванского района Башкирской АССР.

«Вы описали случай: тракторист торгуется с бригадиром: «А сколько ты мне за эту работу дашь?» Что-то не верится в это. У нас — нет, у нас он торговаться не будет, потому что у него дома две коровы, два прошлогодних подростка и два нынешних, две свиньи, утки, гуси... Начни он спорить — в неугодные попадет. А зачем ему это? Семь часов он отработает — и домой. Худо-бедно за год по тарифу 1500 рублей получит. Кроме того, от одной коровы 1000 литров сдаст государству— еще 300 рублей. Другую корову продаст на мясо — 800 рублей, прошлогоднего бычка — тоже 600 рублей, свинью — 300 рублей. Две тысячи минимум выручит. Вместе с зарплатой это будет 3500 рублей. «Зачем ругаться с бригадиром? — думает он. — Тихонько норму дам — буду и работник неплохой, и сдатчик молока и мяса отличный, в районной газете даже напишут... А коли хороший урожай в колхозе будет, то еще и по конечному результату получу».

И далее автор делает вывод: «Частное хозяйство опять всех захватило с головой. Раньше о нем колхозники меньше думали: оно их тяготило, забирало все силы, потому что все делали вручную. А сейчас косят для своих коров на тракторах, возят сено — тоже, а нет — так на лошадях. Сил не тратят, за технику не платят, а выгоду имеют большую. В то время как в колхозе урожай не растет, падеж скота увеличивается. Вот где зло сидит сегодня в нашем колхозе!»

Согласен: зло! И имя ему — чрезмерное раздувание личных хозяйств в ущерб хозяйству коллективному. Думаю, что это зло насторожило честных людей не только в колхозе «Россия», откуда автор приведенного письма (к сожалению, он не назвал своего имени), но и повсеместно, и потому сказать о нем следует.

Верно, установка сейчас такая: человек, живущий в деревне (колхозник в первую очередь), должен держать скот, выращивать овощи и картошку, ну и что там еще для души?.. Председатель не только не имеет права противиться этому, а должен даже помогать — особенно в обеспечении личного скота кормами, в обработке приусадебных участков, но... при одном условии: личное хозяйство не должно стать причиной снижения трудовой активности людей на колхозных работах. Или — еще точнее — личные интересы колхозников должны разумно сочетаться с общественными. Другой формулы нет. И пока мы не от-

кажемся от личных хозяйств (а я думаю, мы от них не откажемся никогда), и быть не может.

Вспоминается, сколько дров было наломано вокруг этой проблемы за... ну, хотя бы только за послевоенные годы! Проблема, о которой в одной из моих поэм у меня было написано: «Между берегом частным и колхозным на части так и рвется изба!»

Конечно же вѐрхом глупости, тупого волюнтаризма было запрещение колхозникам косить для своих коров, пока не накошено для колхозных. Чего бы, казалось, проще: пришла пора — коси! Ставь стога, не размышляя, чьи они — колхозные или частные, а после завершения сенокоса выдавай сено всем, кто не отлынивал, по потребности.

В тех колхозах, где председателям хватило характера настоять на своем, такой именно порядок и существовал. Люди в таких колхозах работали в сенокос, как и привыкли испокон веку работать в страду, потому что верили председателю, верили не только в то, что он не обманет, но и в то, что сенокос в целом по колхозу будет справлен на все сто, а значит, сена хватит и колхозному скоту, и личному. Кроме того, они знали еще и то, что вывезти свое сено с лугов председатель тоже поможет.

Ведь частная-то корова, как мы теперь «открыли», частная лишь отчасти, поскольку почти половину молока от нее колхозник опять же продает государству, и обходится оно ему значительно дешевле, чем колхозное, так как ни на строительство коровников, ни на оплату труда доярок тут оно не тратится.

В других же хозяйствах (и это мне довелось нынешним летом наблюдать самому) проблема обеспечения личных коров сеном решена еще проще... пущена на самотек. Каждый косит где хочет и сколько хочет. Рядом с деревней — сенокосы частные, на них поставленные в самую лучшую пору аккуратные островерхие стога; подальше — колхозные; на них сено еще в валках, изредка в скирдах, сложенных коекак, похожих на утюги и уже почерневших.

Лесные полянки, низины, которые раньше выкашивались «по себе», теперь окончательно зарастают кустарником, несъедобным будыльем — колхозу с нынешней техникой там делать нечего...

Может ли умный, расчетливый председатель спокойно взирать на такую картину? Дескать, раз разрешили людям скот держать, то о чем тут разговаривать? А разговаривать есть о чем. И думать — тоже. Если свой скот и в нынешнем году обеспечен на сто (и даже больше!) процентов, а колхозный только на семьдесят, а многие луга при этом так и остались невыкошенными, то надо уже не только думать, но что-то и предпринимать. Разве не находится в вопиющем противоречии с идеей и смыслом артели вот этот частнособственнический принцип: кто смел — тот и съел? Разве он не взрывает артель, не подтачивает ее фундамент?

Ответ, по-моему, ясен. Но если это так, то может ли руководитель артели не замечать этой весьма и весьма опасной тенденции — стремления некоторых членов артели строить свое благополучие отдельно от общего?

Лучшие председатели днем и ночью ломают голову, решая эту проблему. Они понимают: найти разумное сочетание личных и общественных интересов — значит предопределить успешное развитие колхоза в целом.

Личное хозяйство должно быть подспорьем, а не главным источником благополучия, оно должно быть колхознику в радость, а не в обузу. Плохо, если кто-то с головой зарылся в свои почти «единоличные» заботы, завел столько скота, что о колхозе и думать не хочется; но плохо и то, если кто-то ни единой живой души, кроме кота, в хозяйстве не держит, за молоком идет к соседу, за мясом едет в город. Такой человек на земле сидит непрочно, его даже не очень сильный ветер может выдуть, вырвать из деревни с корнем...

И тот и другой — плохие помощники председателю в его стремлении поднять колхоз, и потому он должен сделать все, чтобы их в колхозе было как можно меньше.

Да, много должен сделать председатель... И если он не дремлет, а все время что-то делает, живет единственно заботами о благе колхоза, люди обязательно заметят и оценят это. И обязательно поддержат такого председателя, поддержат трудом, столь же самоотверженным и честным.

Но люди не хотят прощать и не прощают тому председателю, который пять или даже больше лет водил их за нос и привел к тому же самому разбитому корыту, над которым клялся в день избрания «оправдать доверие». Их возмущают, к сожалению, отнюдь не единичные факты, когда таких председателей районные руководители перетаскивают на повышение в РАПО, например, или в какую-то другую организацию. Не успеет такой молодец угнездиться в высоком кресле, начинает «ценные указания» в «районке» печатать, учить председателей, понукать их, а то и требовать. «А чего же он, когда был председателем, ничего этого не делал?» — законно спрашивают читатели.

Нет, не в район перетаскивать надо таких умников, пишут они, а оставлять в том же колхозе рядовым работником. Чтобы и другим была наука: не уверен, что сможешь поднять предлагаемое тебе хозяйство, не берись. У людей, к которым ты идешь, и без тебя было достаточно разочарований... Еще на одну неудачу у тебя просто нету права!

И еще вот что советуют читатели тем, от кого зависит, как долго будет сидеть в председательском кресле тот или иной их ставленник.

Если за два, от силы за три года принятый им колхоз не сделал хотя бы небольшого шага вперед, — освобождать его от занимаемой должности без колебаний! Ибо слишком дорого обходится людям (да и государству) эксперимент протяженностью в пять и более лет.

С не меньшей горечью говорят читатели и о противоположных случаях, когда хорошего председателя райком тоже «забирает» к себе в район, «на повышение», не спросив на то согласия колхозников. Ничего хорошего, как правило, из этого не получается: и колхоз начинает сдавать завоеванные позиции, и район ни в чем не прибавляет.

А. Е. Барков из колхоза «Маяк» Тоцкого района Оренбургской области пишет по этому поводу:

«Наш колхоз был на хорошем счету, пока был хороший руководитель. Райком забрал нашего председателя в другое хозяйство, и покатился наш колхоз под откос. Привезли нового, он колхоз расшатал и в совхоз удрал. Привезли второго — тоже «кота в мешке», этот еще больше хозяйство развалил и уплыл в район... Дают нам третьего — этот до самой крайней черты колхоз довел и тоже в совхоз ушел... Вот так мы все нажитое и прожили, все ушло прахом, начинай сначала...»

Как видите, дорого обошлась колхозу «Маяк» волевая акция райкома. Но я хочу обратить внимание читателей еще на один весьма существенный, на мой взгляд, момент в этом письме (впрочем, он присутствует и в других письмах, где речь идет о председателях). Автор пишет: «...этот еще больше хозяйство развалил», «этот до самой крайней черты колхоз довел...».

«Развалил», «довел» «этот», то есть очередной председатель. Понимаете, какова позиция автора? Вполне ясная и определенная: позиция стороннего наблюдателя! Плохая, заслуживающая справедливого упрека позиция. Но если разобраться, то не меньшего, а может быть, даже и большего упрека в том, что у какого-то колхозника (а чаще у большинства колхозников) именно такая позиция, заслуживает и председатель. Да, да — и председатель! Потому как от него, и только от него зависит, как поднимать колхоз — в одиночку или всем скопом; иными словами, каков стиль руководства утвердить: или воле-

вой, или демократический, развязывающий инициативу каждого, в каждом поддерживающий чувство хозяина — главнейшее из чувств члена артели. Конечно, второй из них во много раз хлопотней, беспокойней, но он — и только он! — может председательскую заботу сделать заботой каждого и в конечном счете привести колхоз к успеху. Что для этого нужно? А совсем немного: советоваться с народом. Советоваться даже в том случае, когда решение «вопроса» очевидно и единственно правильно, советоваться хотя бы ради того, чтобы люди не забыли (а для многих колхозов, чтобы вспомнили): хозяева колхоза они, а председатель всего лишь исполнитель их воли.

И. Ф. Шарин из г. Сланцы Ленинградской области, размышляя о хроническом отставании некоторых колхозов, сделал, по-моему, очень значительный и справедливый вывод: «Из мужика вынут главный стержень — он не хозяин артели».

С одним из тех, для кого этот вывод не нов, кто пришел к нему намного раньше моего читателя, я был знаком еще в шестидесятые годы. «Знаешь, — рассказывал он мне, — я даже к маленькой хитрости иногда прибегаю. Предлагаю собравшимся (иногда это даже не колхозное собрание, а бригадное) намеренно невыгодное решение, в чем-то даже авантюрное, чтобы, так сказать, ежа загнать под черепную коробку каждому, заставить встрепенуться, задуматься, возразить, вступить в спор и в конце концов отстоять свою точку зрения, свое решение. Этот спор, этот разноголосый гул для меня в те минуты как музыка. Хорошо! — говорю. — Будь по-вашему! А из зала: «Ну, то-то!» И такой огонек в глазах, такое достоинство: «Наша, дескать, взяла!» А вместе с ними я и сам радуюсь, потому как знаю: решение будет выполнено! Непременно! Потому что оно... ну, в общем, понятно!»

Еще бы не понятно! — соглашался я, как сейчас соглашаюсь с заявлением еще одного моего читателя: «Без величайшего доверия к опыту, даже интуиции хлебороба не поднять колхоз!» (А. Русаков, механизатор совхоза «Кузнецовский» Новосибирской области).

Не могу оспорить и вот этот вывод, сформулированный И. Ф. Шариным:

«В конце концов хороший председатель тот, при котором люди чувствуют себя хозяевами земли».

Решать вопросы сообща, выслушав все точки зрения, иногда досыта накричавшись, — давняя традиция деревни. Не случайно так популярны были сельские сходы в доколхозной деревне, да поначалу и в колхозной — собраться на завалинке, на чьих-то бревнах, в центре посада не составляло труда. Проблемой такие сходы стали с пятидесятых годов, когда колхозы укрупнились. Не имея возможности собрать всех, стали проводить собрания уполномоченных. Письма свидетельствуют, что такие собрания, да вдобавок к тому по заранее разработанным сценариям, с заранее написанными речами, людей совершенно не устраивают. На собрания не идут даже уполномоченные.

И тут самое время вспомнить восточную пословицу: если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Собрания надо проводить на местах, дабы каждый и всякий имел возможность высказать свое отношение к тому, что творится в бригаде, на ферме, в мастерской, в колхозе. Без этого разговоры о демократизации колхозной жизни останутся разговорами, а высокомерные и обидные фразы вроде вот этих: «не лезь, когда тебя не просят!» или «без тебя разберемся!» еще долго будут любимыми фразами иных горе-руководителей.

Из сказанного выше становится ясно, каким хотят видеть своего руководителя люди.

Теперь допустим, что он — такой, по всем статьям положительный, и связка «председатель — колхозники» хорошо отлажена, надежна, нигде не замыкает, не искрит, не рвется... Но ведь есть и еще одна связ-

ка, для председателя не менее хлопотная, ибо напряжение в ней отнюдь не меньшее, чем в первой, — это связка «председатель — руководство района».

Хорошему председателю, до тонкостей знающему хозяйство, его «слабые места», его реальные возможности, руководствующемуся единственно соображениями выгоды, нужна самостоятельность. Если же он поминутно чувствует не только вожжи и железные удила, а вдобавок еще и шоры на глазах, то о какой самостоятельности может идти речь? Приходится воз тащить по той дороге, по которой правят, а не по той, на которой меньше ухабов. А если ты все-таки попробуешь свернуть в сторону, долго будешь чувствовать боками эту своротку.

Но обратимся снова к письмам. В. Я. Егоров из села Дубушки Новгородской области, прошедший в родном колхозе путь от рядового колхозника до бригадира комплексной бригады, а теперь зоотехника, пишет: «Чем только по шаблону не занималась деревня! Сажала по веревочному маркеру палками кукурузу, притом в раскисшую от дождей подзолисто-глинистую холодную северную землю; косила и трамбовала для сгнивания в ямах цветущую рожь-кормилицу (в то время была натуральная оплата)... Сейчас такого явного самодурства нет, но все-таки... Возьмем планирование. С осени мы кормили 40 непригодных к дальнейшему воспроизводству коров, 18 из них неплохой упитанности, яловые, едят зря корм. Мы попросили разрешения сдать их на мясо. Не тут-то было!

Спрашивается: что государству нужно — молоко, мясо или количество хвостов? Другой пример. Нам навязывают ежегодно 230 гектаров льна. Сеем. Но поскольку людей и набора специальной техники нет, ранее высокорентабельная культура обернулась бичом для нас. Почему бы не планировать нам центнеры, а не гектары? Мы бы тогда посеяли не 230 гектаров льна, а может, только 130, но зато убрали бы и продали льнопродукции в два раза больше, а освободившиеся 100 гектаров заняли бы кормовыми культурами.

Меня удивляет: почему до сих пор за нас думают и считают вышестоящие дяди?

А ежедневная, еженедельная, ежемесячная отчетность?! Приходится тратить уйму драгоценного времени на составление отчетов...

А ежемесячные совещания?! Поставят тебя лицом перед вышестоящими руководителями, слова ты не успеешь сказать, а уже со всех сторон: «Почему? Почему?! Почему?!!» Один отвечает, другой, растерявшись, молчит, третий (особенно женщины) ударяется в слезы... Кому нужен, с позволения сказать, этот «раздой зоотехников»? Неужели эти методы руководства перекочуют и в двенадцатую пятилетку? Когда же нам, крестьянам, выйдет отмена «бюрократического крепостного права» и мы станем хозяевами в своем дому? Земля-матушка ждет этого, как дитя ждет доброго родителя».

Пишет зоотехник, но все, что его волнует, имеет прямое отношение к председателю. Самостоятельность умному председателю (а неумных председателей просто не должно быть!) нужна как воздух. Стоит ли добавлять, что без воздуха человек задыхается?..

Поймут ли наконец районные руководители, что главное их оружие не административный кнут, не выбивание процентов, порождающее приписки, и значит, искажающее реальное положение дел, а подбор, расстановка и воспитание кадров?!

О хорошем руководителе говорят: «человек на своем месте». Добиться такого положения, чтобы о каждом председателе можно было отозваться этими словами, — вот задача времени, нет, даже больше — веление времени!

В самом деле, ведь если человек действительно на своем месте, если он вдобавок к этому окружен целой армией специалистов, владеющих не только четырьмя арифметическими действиями, но и всем богатством отраслевых знаний, а вместе с тем и передовой практикой, то

неужели такому человеку надо ежегодно напоминать, когда сеять, что сеять, чем убирать, как убирать, сколько скота держать, как его кормить?

Хорошо написал об этом один мой корреспондент: «Многие районные работники, мне кажется, убеждены, что колхозы существуют для того только, чтобы было кем руководить». Честное слово, в этой иронии есть доля правды. И можно было бы лишь улыбнуться, если бы не знать, что руководство это у многих председателей запечатлелось рубцами на сердце, выговорами в учетных карточках.

Надо перестраиваться! Такой вывод должны сегодня сделать все районные столоначальники. И узду, и удила, рвавшие губы председателям, сдать наконец в музей древностей как свидетельство порочного, волюнтаристского стиля руководства колхозами.

Уверен, что при таком положении председательский корпус быстро пополнится по-настоящему талантливыми людьми — ведь, что греха таить, многие специалисты до сих пор боятся председательского кресла, готовы понести любые моральные и социальные утраты, но все-таки не согласиться с престижным, казалось бы, предложением.

Почему? Над этим всем нам стоит задуматься, и крепко!

Если они в вузах не прикоснулись даже к «председательской науке» и теперь совершенно не уверены, что смогут выдюжить, не согнуться под тяжелой ношей, — это одно дело. Ну а если их пугает перспектива бесконечных накачек и выговоров, то это уже другое дело.

Не давать поводов для них? Но как? В деревнях — безлюдье, молодежь в колхозе не задерживается... А скотные дворы требуют рук да рук. Нет детского садика, давно не ремонтировалась школа, нужно строить жилье для специалистов, дороги... Да мало ли всяких, подчас почти неразрешимых проблем у председателя!.. А то еще сев затянул, сено сгноил, картошку упустил под снег... За все отвечай, председатель!

Снова перечитываю очерк Т. Карякиной в «Советской России» от 31 октября 1986 года:

«Что происходило в последние годы в Калининской области? Не успеет молодой, дипломированный влезть в пашню — из района придерживают: не туда гребешь! Тут дело брось — беги сюда, кормозапарник строй, комплекс разворачивай, пары сворачивай. Новичок растерялся. То-се упустил. Сняли — поставили другого.

Вон какой ветролом прошелся (разрядка моя. — **С. В.**) за последнюю только пятилетку по хозяйствам Калининской области — на восемьдесят процентов сменился руководящий состав колхозов и совхозов».

Интересно, каковы они, эти *восемьдесят* из каждых ста? И надолго ли?

Из неопубликованного

Василий ФЕДОРОВ

Новая сказка на старый лад

Как у русского народа
Уживаются подряд
Два врага, два антипода —
Демократ и бюрократ.

Бюрократов нам хватает,
Потому как в сфере благ
Снега меньше выпадает,
Чем исписанных бумаг.

Не найдешь для точных справок
Всех главенствующих мест,
Министерство, главк, подглавок,
Управление и трест.

В этажах еще пониже —
Дескать, милый, наших знай —
Есть для местного престижа
Что-то «обл» и что-то «рай».

Словом, в лучшем идеале
Возникает вертикаль.
В нужной точке вертикали
Есть своя горизонталь.

Никаких тебе качаний,
Твердо знай — откуда, чей.
База есть для оснований,
Для бумаг и для речей.

Наделяют, оделяют,
Вниз да вверх...
Ни дать ни взять
Бюрократы начинают
В демократию играть.

О-хо-хо!..
Не скоро виза
С этакого высока
Приопустится до низа
И дойдет до колоска.

Бюрократы не внакладе,
Бюрократу все равно,
Что на золото в Канаде
Купим нужное зерно.

Только все ж,
Нуждаясь в средствах,
Уплывающих от нас,
Начинают в министерствах
Пробуждать сознанье масс.

Здесь теперь,
Как мудрым личит
Не пугаться мелочей,
Демократа даже ищут
Для критических речей.

Вопрошают:
— Кто виновник?
Нет виновника, а жаль! —
Распаляется чиновник,
Потрясая вертикаль.

Гнет размашисто и круто,
Гнет со всею страстью, но
Вздрагивает почему-то
Только нижнее звено.

Завершились передряги,
Стихли выгромы грозы,
И опять летят бумаги
В эти самые низы.

Жизнь, она — не по плакату,
Для какого же рожна
Истинному бюрократу
Демократия нужна?!

Демократ — боец, оратор,
Нарушающий уклад,
Демократ, он реформатор,
Богу брат и черту сват.

Демократ, он тесто месит,
С горькой выпечкой в народ.
Демократ из формы лезет,
Бюрократ — наоборот.

Для любого содержанья
Форма — норма для него.
Ведь чиновник послушанье
Ценит более всего.

Как-никак, а выгиб спинный
Доблестью не назовешь.
Послушанье с дисциплиной
Путать все-таки негож.

Не на службу стрелы точим,
Не на звание и чин.
Что ж, когда-то, между прочим,
Был чиновником Щедрин.

Тот Щедрин, как знаем все мы,
Тем и знаменитым стал,
Что на родственные темы
Злые сказочки писал.

В силу же каких реалий
Тот щедринский чинодел
Из губернских канцелярий
В наши, братцы, пересел?

И опять летят бумажки,
Абы есть и абы пить.
Быть чиновником не тяжко,
Трудно деятелем быть.



Решения XXVII съезда КПСС — в жизнь!

ЭКОЛОГИЯ. ЭКОНОМИКА. НРАВСТВЕННОСТЬ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»

В. П. ФЕДОРОВ,
доктор экономических наук

Нужен территориальный эксперимент

Принимаемые в нынешних условиях меры по перестройке хозяйственного механизма, на мой взгляд, недостаточны для того, чтобы направить экономическое и социальное развитие нашей страны по пути реального ускорения, — для этого нужны более эффективные методы хозяйствования. Немалое значение в поисках таких методов придается самым различным экспериментам: в ряде отраслей они уже проведены и дали положительный опыт, а кое-где только получают право на жизнь.

Но отраслевой эксперимент, думается, не отражает всей сложности экономической жизни, так как зачастую бывает невозможно учесть все связи данной отрасли с остальной экономикой и даже с взаимодействующими отраслями. Для обеспечения успеха подобного эксперимента создаются предпочтительные, «парниковые» условия. Например, поставки, по документам с красной полосой или соответствующей надпечаткой, осуществляются в первоочередном порядке, организуются различные посты и вахты, руководящие органы на местах держат под особым контролем зоны эксперимента. Поэтому такой эксперимент конечно же не дает объективных данных и не может считаться «чистым» (как правило, полученные величины оказываются во многом произвольными, а коэффициент полезного действия — завышенным).

Теперь, по-моему, очевидно, что отраслевой эксперимент не только не в состоянии исправить ситуацию, но он порой порождает заблуждение, что все необходимые рычаги хозяйственной перестройки уже найдены.

Неуспех отраслевого эксперимента, полагаю, предрешен в большей части еще и теми противоречивыми, двойственными, условиями, в которых приходится работать предприятиям: из них, с одной стороны, о чем уже говорилось, стараются сделать «парник» (любой риск исключается), с другой же — инициатива сковывается

Окончание. Начало в № 1 за 1987 год.

по рукам и ногам (малейшие отступления от схемы в сторону улучшения хозяйственной или социальной деятельности пресекаются). Положение усугубляют и являющиеся по существу обузой для предприятия стимуляторы внедрения новой техники, устаревшая система отчетных показателей, отсутствие реального хозрасчета, недейственность принципа самоокупаемости. Предприятия, да и целые отрасли перестают чувствовать ответственность за результаты своей работы. Такая, с позволения сказать, уверенность в завтрашнем дне порождает паразитизм, потребительство в самых неприглядных проявлениях: от рабочего у станка до служащего в министерстве.

Какова же альтернатива отраслевому взгляду на развитие экономики? Среди прочих мер, как мне представляется, нужно назвать территориальный эксперимент.

Организованный на неукоснительно социалистических принципах, территориальный эксперимент в определенных регионах страны должен предоставить экономическим субъектам — как предприятиям, так и отдельным лицам (независимо от отраслевой или ведомственной их принадлежности) — реальную свободу действий. Для начала такими регионами, на мой взгляд, могли бы быть малозаселенные и трудноосваиваемые районы Сибири и Дальнего Востока. Здесь можно было бы проверить принципы хозяйствования, которые в большинстве случаев нельзя осуществить в обычных условиях. В эксперименте при полном контроле со стороны партийных и государственных органов, при соблюдении социалистической законности и недопущении всякого рода эксплуатации целесообразно было бы предусмотреть: отмену верхних ограничений заработной платы (система оплаты труда не должна быть препятствием для самого труда);

создание новых предприятий только на кооперативных и паевых началах;

введение принципа самоокупаемости как обязательного условия функционирования предприятий (в противном случае несамоокупающиеся предприятия подлежали бы закрытию);

организацию семейных ферм;

внедрение личного и группового подряда в сфере обслуживания (такси, швейные ателье);

более широкую самостоятельность строительных организаций.

(Оговоримся, что ныне часть этих мер уже принимается).

По мере развития территориального эксперимента естественно предположить возникновение не только внутренних, но и внешних кооперативных связей, выходящих даже за рамки страны. Естественно также ожидать, что в зоне территориального эксперимента быстрее будет создана однородная среда, эффективнее будут действовать — одинаковые для всех — правила игры, отношения между партнерами перестанут через непродолжительное время носить преувеличенно формальный характер.

Но даже самый достоверный, на профессиональный взгляд, прогноз не в состоянии гарантировать, что эксперимент — территориальный не исключение — пойдет по предсказанному пути. Добиться желаемого, оказывается, не помогает и его регламентация. Напротив, нередки случаи, а это показывают некоторые отраслевые эксперименты, когда навязывание определенного регламента, особенно до начала эксперимента, оборачивается искажением до неузнаваемости самой его идеи.

А идея территориального эксперимента, как видится она мне, заключается в том, чтобы определить меру «жесткости» экономики по отношению к тем, кого мы собирательно называем «лентяями», и меру «благодарности» экономики по отношению к тем, кто высококачественным и высокопроизводительным трудом подтверждает, что труд для них — дело чести. Только в таких условиях люди начинают мыслить по-новому. Такие условия становятся благодатной почвой для взращивания нового экономического мышления, о котором сейчас говорят так много, подчас не отдавая отчеты, что оно рождается не на пустом месте.

Мне могут возразить, скажу так, осторожные люди, что в ходе территориального эксперимента могут возникнуть перекосы, как в свое время произошло с «доброй памяти» совнархозами. Такие опасения не лишены оснований. Но чаще всего они попросту инерция того времени или тех взглядов, когда диспропорции, естественная, как показывают экономическая наука и повседневная жизнь, для экономики неравновесность рассматривались (и еще нередко продолжают рассматриваться) как нечто чуждое социализму, когда спасение от экономических бед виделось в рутинной стабильности, сусальной благополучности, а все попытки нетрадиционного решения проблем объявлялись перегибами и

«сдачей позиций». Опасения или нерешительность не должны закрывать дорогу территориальному эксперименту — проверим на деле и либо отвергнем обоснованно и бесповоротно, либо распространим на всю страну.

Как я уже говорил, целесообразным представляется начать с Сибири и Дальнего Востока. Ведь далеко не секрет, что освоение этих районов последние десятилетия идет форсированными, но экстенсивными методами, механически пересаженными сюда из европейской части страны. Такая практика обусловила серьезные упущения. Несет за них ответственность и экономическая наука. Ее задача в наши дни — в союзе с практическими силами с помощью территориального эксперимента пополнить наши представления о рычагах реального ускорения.

П. Г. БУНИЧ,

член-корреспондент АН СССР, заведующий лабораторией Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР, заведующий кафедрой Московского института управления им. Серго Орджоникидзе, заместитель председателя Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Оптимальное планирование и управление народным хозяйством», председатель Международной комиссии Научно-технических обществ социалистических стран по управлению общественным производством, постоянный ведущий передачи Центрального телевидения «Ускорение: хозяйственный механизм»

Рифы перестройки

На своем веку я принимал участие в подготовке предложений и разного рода разработках, но такой благодатной творческой атмосферы в стране, как сейчас, что-то не припомню. От нас требуют смелых идей и концепций. Мы что-то предлагаем, а нам объявляют — «робко», «полумеры». Прежде приходилось слышать прямо противоположное. Что же — значит, время реформ наступило!

Тем не менее иные ученые и хозяйственники понимают перестройку поверхностно, включают в нее прежний стандартный набор методов, которые представляют собой не более чем латание заплат и штопку новых дыр. Мне довольно часто приходится общаться с директорами предприятий, с замминистрами. И, представляете, что они считают основным! Они говорят: самое главное — укрепление дисциплины. И вот тут-то и показывают, что не понимают сути. В их представлении, Архимедов рычаг — укрепление дисциплины. Но то, что, возможно, действительно является основным рычагом текущего дня, то уже не основной рычаг даже текущей пятилетки и уж ни в коей мере будущего 15-летия. С помощью дисциплины еще никто и никогда не сумел стать лидером мировой научно-технической революции. Навести элементарный порядок — да. Человек ведь привыкает к внешним мерам воздействия, и старые дозы лекарства ему уже не помогают. Поэтому руководителям волей-неволей надо не только постоянно поддерживать дисциплину, но и ужесточать ее, прессинговать. А попробуй постоянно попрессингуй!

Нет, настоящая дисциплина не та, что снаружи, а та, что изнутри. Из внутренней заинтересованности человека. Такая дисциплина сама себя поддерживала бы, являлась бы действительно автоматическим саморегулятором, у нее не было бы «затухающего ресурса хода». Подобная внутренняя дисциплина возможна только при совершенном хозяйственном механизме. И этот хозяйственный механизм необходимо сделать в двенадцатой пятилетке. Вот хоть умри, надо сделать! Он-то и будет нашим Архимедовым рычагом. Да, а почему за пять лет? Может, не спеша бы? Увы, у нас время — отрицательная величина, у нас не только нет времени, у нас минусовое время. И минусовое не один год.

Самые серьезные преобразования, которые уже сейчас произведены, — в легкой промышленности. Никакой номенклатуры сверху, кроме указаний на специализацию, то есть если вы трикотажные изделия выпускаете, вам говорят: изготовляйте трикотажные изделия и не производите металлорежущие станки, не плавьте металл. Вот это теперь и называется дать сверху основную номенклатуру. Значит, что делает легкая промышленность? Она у торговли набирает портфель заказов и с этим портфелем идет к своим поставщикам. То есть осуществлена идея самопланирования. А с этого года четыре министерства, причем одно такое крупное, как Стройдормаш, будут снабжаться только через магазин. Значит, вообще без заявок — через прямые, непосредственные связи. Они станут покупать в магазине все, что им нужно, как, к примеру, мы ботинки покупаем. И так абсолютно по всей номенклатуре. Это действительно революционный шаг. Что здесь плохо? Может быть, только то, что задействовано лишь четыре министерства. Но ведь прежде и дышать в эту сторону никто не смел. Вся наука полностью переведена либо на прямые связи, либо на магазин. Магазином

в нашем случае называется «свободная торговля средствами производства».

Второе. Предприятиям легкой промышленности даются такие фонды развития, которые позволяют говорить о самофинансировании. Техническое перевооружение они будут осуществлять полностью за свой счет, до последней копейки. Это 70 процентов капиталовложений. Конечно, хотелось бы все 100, ведь сумчанам-то дали 100. Но это, видимо, следующий шаг.

С нынешнего года на самофинансирование переводится вся госторговля, потребительская кооперация, целые отрасли — химическое машиностроение, приборостроение, нефтехимия. Надеемся, что за ними последует в близком времени вся промышленность, другие отрасли народного хозяйства.

Какие у нас затруднения? Очень узки масштабы нашей деятельности. Одно министерство, другое, третье министерство. Глубина внедрения в какой-то мере устраивает. Темп новых проработок тоже. Но не размах внедрения.

Долгое время нововведения не допускались даже до эксперимента. Сначала старая система сорвана с насиженного места. Но сорвана локально, опыт на несколько лет не тиражируется. Вроде прогресс — и тем не менее серьезных результатов нет. А ведь у нас богатейший опыт разовых радикальных перемен. Ведь переход к нэпу был осуществлен без эксперимента. Военная экономика в 1941—1945 годах также создавалась не в одном районе, а по всей стране сразу. На эксперимент надо ставить лишь то из радикального, что трудно точно предвидеть. Зачем столько лет топчемся вокруг опыта бригадного подряда? Зачем полтора года испытывали государственную приемку продукции представителями Госстандарта, чтобы сделать вывод: она строже заводской? Зачем тратили время на апробацию платежей предприятий союзного подчинения в местные бюджеты, что было заранее видно невооруженным глазом? Таких «зачем» масса. Вместе с тем, чтобы доказать, что океан соленый, не обязательно выпить его весь. Инфляцию экспериментов пора остановить. Или она остановит ускорение.

Почему же перестройка идет медленно? Что мешает вводить новый хозяйственный механизм? Причин несколько.

Во-первых, неграмотность, непонимание, невладение. Директора предприятий зачастую не понимают будущего. Еще бы! Десятилетиями им вдалбливали другое. И вдруг мы теперь хотим, чтобы у них произошла мгновенная промывка мозгов. Знаете, кто главный враг самостоятельности? Директор. Кто выступает против самостоятельности больше всех? Директор. Мы ему даем самостоятельность, а он бежит в министерство и советуется, говорит, не нужна мне эта самостоятельность, вы мне подпишите, что я должен действовать так-то и так-то. Зато он ни за что не отвечает после этого. Кроме того, понимаете, кто такой руководитель предприятия? Он — инженер. Какой он инженер? Наш, отечественный. А что такое отечественный инженер? Это тот инженер, который в экономике, как правило, почти не разбирается, его коммерции не учили. Далее такой руководитель становится министром. У нас, к сожалению, среди министров, и вообще среди всех управленцев, людей с экономическим образованием меньше процента. А в США 70 процентов управленцев — люди, которые имеют экономическое образование, закончили управленческий колледж.

Мне раньше казалось, что стоит только пустить воду в бассейн, а потом привести туда людей, и они все поплывут. Так экономический материализм был преувеличен. Не плывут! Их надо учить до бассейна, когда они еще даже не знают, как плавать.

Вторая причина. Не верят пока еще нам. Вот я веду занятия с министрами. Министров мало, обстановка камерная. Они мне пишут, насколько могли бы увеличить производительность за год, если бы захотели и поверили в серьезность перемен. И у всех цифры за 30 процентов. А самые открытые указывают — в два раза. Без ничего! Без новых мощностей, новой рабочей силы, даже без нового сырья — за счет экономии прежнего. А будете, спрашиваю, это делать? Не-е-ет. Это только приватно, это только для вас. Потому что тогда мы останемся в дураках. Нам надо всегда иметь двойной, если не больше, запас прочности. И вот они одной ложкой берут, большой ложкой, и маленькой ложкой стараются отдать. А что же делать? Их не раз обманывали. Быть передовиком — чревато... высоким планом будущего года, его срывом и прямой дорогой из газетной рубрики «Передовой опыт» на «Страницу народного контроля».

Теперь о третьей причине, наиболее, наверное, неприятной. Есть люди, которые чувствуют, что новая экономика вымоет их, вышвырнет со своих мест. И они дерутся за прежнее положение, не жалея локтей. И прямым «сопротивлением материала», и современной конформистской суетой, фиктивной радужной отчетностью, полумерами, дискредитирующими нововведения. Формально начальство «за». Стало вежливее, не жалеет времени на приемы посетителей, на разъяснение отказов. Раньше мы наивно думали, что стоит нам написать решение, как оно тут же осуществляется. О, как бы не так! Оно деформируется на всех этапах, и пока дойдет до основания пирамиды, от его новизны мало что останется! Трудящиеся в целом за перестройку, полностью поддерживают ее. Но «зависание» нового механизма в «верхних слоях атмосферы», его амортизация по пути вниз ведут к тому, что «чиновники», да и работники производства часто по-прежнему заражены равнодушием, бюрократизмом «от сих до сих». Когда доходит до практических шагов, до собственного «я», то реформы оказываются гораздо меньшими.

Выход в двуединстве: в переделке психологии — кадры решают все; в переделке механизма, в неустанном и полном внедрении новых методов хозяйствования — когда и психология «завертится». Важны как идеологическое обеспечение экономики, так и экономическое обеспечение идеологии. Первое надо делать упреждающе, второе — фундаментальное, основополагающее средство ускорения.

А. Д. ДОБРУШИН,
инженер

Кто поставит диагноз предприятию?

Что сдерживает перестройку?

Широко распространено убеждение, что тормозит ее неотлаженность хозяйственного механизма. Предполагается, что отработаем мы в ходе экспериментов на предприятиях и в отраслях механизмы самофинансирования и самоокупаемости, самопланирования, самоснабжения посредством оптовой торговли средствами производства, ценообразования — и задача будет решена. Бесспорно, хозяйственный механизм — мотор всего организма страны, и его проектирование, экспериментальная доводка с учетом опыта хозяйствования Венгрии, ГДР, Болгарии, КНР — чрезвычайно важная задача. Однако хорошее сердце еще не гарантирует человеку здоровья, хороший двигатель на автомобиле — ничто без всего остального. Народное хозяйство — комплекс сложнейших систем, обеспечивающих соединение сил миллионов людей для достижения поставленных целей. И для слаженной работы его необходима гармония, пропорциональность и соотнесенность всех важнейших компонентов.

Если бы все дело было только в хозяйственном механизме, у нас могло бы возникнуть отставание от развитых капиталистических стран только в отраслях материального производства-распределения, но, учитывая ненацеленность нашего народного хозяйства на прибыль любой ценой, мы должны бы опережать их в области охраны окружающей среды, сохранения памятников культуры, в здравоохранении и просвещении, в безопасности движения и охране труда.

Но ведь мы и здесь не ходим в лидерах! К примеру, Япония, используя наш опыт планирования, проводит пятилетку за пятилеткой в области безопасности движения, ежегодно снижает число погибших на 20 процентов. Сегодня в Японии почти в семь раз меньше погибших в дорожно-транспортных происшествиях, чем в СССР, и это несмотря на значительно бо́льшую интенсивность движения. В Финляндии и Швеции эффективно используют лесные богатства, сохраняют их от разрушения.

Почему?

Ответ, думается, будет следующим: за счет совершенных организационных механизмов.

Слабость наших организационных технологий отмечал еще выдающийся ученый и организатор науки академик Петр Леонидович Капица. Вот одна из его мыслей: «Ряд примеров показывает, что во всех случаях, когда при решении комплексной научной или научно-технической проблемы удавалось создать единую и самостоятельную организацию, которая состояла бы из ученых и инженеров разнообразных специальностей, но преследующих одну общую цель — решить возложенную на них научно-техническую проблему и внедрить результаты в жизнь, — оказывалось, что такая организация работала успешно».

Еще в 1957 году П. Л. Капица предлагал создать генеральные фирмы, нацеленные на решение проблемы ускорения научно-технического прогресса в стране по аналогии с фирмами в области оборонной техники, успешно решившими проблемы создания ядерного оружия, межконтинентальных баллистических ракет, ликвидации нашего отставания от США в военной области. Повторяя эту мысль сегодня, когда перед нами стоят невиданные экономические, организационные, научно-технические, психологические и политические задачи, давайте спросим себя: а созданы, имеются ли такие единые, нацеленные на конечный практический результат, объединяющие ученых, инженеров, экономистов, психологов, философов, юристов организации во главе с генеральными конструкторами, нацеленные на задачу кардинального совершенствования народнохозяйственного организма? Их нет... А ведь только такие организации и могут образовать научно-инженерную основу перестройки, являться и ее «мозгом», и ее экспериментальной площадкой. Междисциплинарные, объединяющие в своих рамках весь процесс «наука — опытный образец — серия — практика», такие организации, как я считаю, есть важнейший элемент организационного механизма перестройки.

У нас большое число различных академических и отраслевых НИИ. Зачем, скажете вы, создавать «лишние» звенья? Но дело-то как раз в том, что существующие структуры специализировались в трех аспектах: по отдельным, локальным проблемам, теряя из виду глобальные; по отдельным дисциплинам, специальностям, теряя из виду междисциплинарный подход к проблеме; в области «науки», часто теряя из виду проблемы внедрения. Использовать их для практического комплексного решения серьезных задач невозможно. Поэтому и необходимо создать требуемые генеральные «фирмы». Полагаю, что их отсутствие является показателем нашей организационной неграмотности.

Мне думается, заслуживает внимания и такая мысль П. Л. Капицы, высказанная им в 1978 году: «В наш век научный метод захватил новую область — это организация эффективного управления самим производством. Научный подход к процессам производства, созданный в США, по-видимому, объясняет тот высокий и пока не превзойденный уровень производительности труда, который там достигнут».

Эти слова по-особому звучат сегодня, когда партия поставила задачу превзойти

развитые капиталистические страны по уровню производительности труда. К сожалению, прикладная теория управления социальными и экономическими системами развита у нас гораздо слабее, чем в США или Японии. А должна быть развита — в связи с отсутствием стихийных регуляторов типа частной собственности на орудия и средства производства — намного сильнее. Нам крайне нужны инженеры, которые в состоянии провести глубокий диагноз состояния организма предприятия, отрасли или народного хозяйства, разработать детальный организационный проект эффективной работы системы и внедрить его в жизнь, проведя перед тем необходимые эксперименты.

Но таких специалистов в стране буквально единицы... А без инженерного проектирования организаций, систем принятия и реализации решений, потоков информации, продуманного целесообразного документооборота, без придания организациям и системам управления того же уровня технологического и инженерного обоснования, какой ныне имеют выпускаемые нами технические изделия, машины,— мы вряд ли сумеем выйти на передовые позиции в мире.

Изучая статью или очерк с предложениями о перестройке, физически ощущаешь: вот здесь нужны организационные инженеры, надо составить организационный проект, построить организационный механизм. Читаешь в «Правде» «Инструкции в колесах» Б. Житинева о деятельности Стройбанка — они нужны для того, чтобы создать совершенно новую, эффективную работу Стройбанка вместо той имитации деятельности, которая так ярко описана в статье. Читаешь в той же «Правде» статью об опыте социального развития на Южном горно-обогатительном комбинате — «Для себя, своими руками» — оргпроект нужен, чтобы отладить такую систему, чтобы не только энтузиаст, директор ЮГОК Савицкий, но и любой другой, «средний» директор захотел бы и смог бы внедрить для своих рабочих подобную систему.

А поскольку знаешь, что в стране, по сути, нет таких специалистов и таких организаций, поневоле думаешь: хорошее дело, а без детального организационного проекта и системы внедрения скорее всего останется единичным образцом в море «серых» организаций, не пойдет или почти не пойдет вширь...

Действующие сегодня в стране организационные механизмы не ускоряют перестройку. Они ее тормозят, мощно и неумолимо.

Рассмотрим, к примеру, организационный механизм деятельности Министерства финансов. По идее, это должен быть главный центр экономического регулирования, привод систем стимулирования эффективности и ускорения, но... Несколько примеров.

Тридцатые годы. Академик П. Л. Капица, директор Института физических проблем, решил сделать свой институт организационно гибким. Не регистрировать заранее штаты, получать на год лимит затрат с использованием его для задач ускорения исследований. В чем состояла задача Минфина (тогда Наркомфина)? Помочь ученому с мировым именем в этой непривычной для него работе, разработать для него нужный организационно-экономический механизм. Но Наркомфин вел себя по отношению к П. Л. Капице... как начальник, не желающий ничего слушать! Как писал П. Л. Капица: «Наркомфин неутомимо возражал, и я думаю, что я бы его не переспорил, если бы не помощь и распоряжение Совета Народных Комиссаров». В диалоге «Капица — Минфин» П. Л. Капица выступал как представитель народа, трудящийся науки, а Минфин — учреждением, слугой трудящихся. И вот организационная культура, в данном случае культура власти, оказалась такой, что контора пыталась мешать тем, для обслуживания кого она создана.

Шестидесятые годы. Заместитель министра внешней торговли Н. Н. Смеляков рассказывает: коллегия Минвнешторга решила, что интересы страны требуют создания специального внешнеторгового объединения для покупки и продажи лицензий на изобретения и новую технику и технологию. Это позволяло стране в ряде случаев сэкономить огромные средства, выиграть время при производстве новой техники, а с другой стороны — получать валютные поступления за счет продажи нашей передовой технологии другим странам.

Были собраны все визы, кроме Минфина. В чем состояла задача Минфина? Конечно, помочь Минвнешторгу рационально построить экономику и финансы нового, нужного стране учреждения. А что получилось на деле? Потребовалась форменная многомесячная осада Минфина, причем заместитель министра делал все мыслимое и немыслимое, чтобы похоронить инициативы Минвнешторга. Вот его доводы: «полагаю, что ваше предложение преждевременно», «ваши доводы по организации объединения неубедительны», «дело это, похоже, не стоит и ломаного гроша», «своего согласия Минфин дать не может». Надо знать Николая Николаевича Смелякова, замечательного советского хозяйственника, чтобы понять, как сумел он все-таки победить в этом споре хозяйственника с бюрократом. А сколько сотен, даже тысяч полезных для страны предложений нашли свой конец в кабинетах и архивах Минфина!..

Одна из причин неэффективности сложившихся организационных механизмов — в том, что они никогда не проектировались, они возникали стихийно. Вторая причина носит столь же объективный характер. Дело в игнорировании ряда базовых противоречий в отношениях между элементами в народном хозяйстве. Противоречия, отношения основных элементов — это предмет политэкономии.

Еще К. Маркс в «Капитале» показал, что в момент разделения труда и появления двух взаимодействующих элементов — «производителя» и «потребителя» — между ними возникает глубокое противоречие в отношении к продукту, которым они обмениваются. Интересы общества в этой паре представляет потребитель, его роль,

роль «выхода», на который работает «вход»—производитель, должна быть определяющей. Потребитель оплачивает труд производителя. Кроме того, он должен иметь выбор между продукцией нескольких производителей, которые соперничают между собой. Если потребитель не имеет реального выбора, производитель становится монополистом, и к нему переходит ведущая, определяющая роль в этой паре. Опасность монополии отмечалась еще В. И. Лениным. В нашем хозяйственном механизме это фундаментальное противоречие оказалось проигнорированным. В результате резко ослабли связи «производитель — потребитель», производителю стал оплачивать его труд не потребитель, а вышестоящая организация. Была допущена и стала повсеместной монополия производителя над потребителем, что привело к застою и извращению естественной нацеленности всех процессов и интересов «от входа к выходу».

Второй элементарной частицей, «молекулой» хозяйственного, да и любого социального организма, является пара взаимодействующих элементов «управление — исполнение». В момент разделения одного элемента на два — «руководителя» и «исполнителя» — возникают предпосылки для противоречия между их интересами. Орган управления рожден в процессе разделения труда из недр единого элемента, «исполнителя» — для помощи ему в работе, для его обслуживания, для повышения эффективности совместного труда. Поэтому в этой паре главным элементом, представителем подлинных интересов общества, является не руководитель, а подчиненный, потребитель информации, которую производит орган управления. Власть, дающаяся органу управления в порядке разделения труда, является, так сказать, «технологической» властью: договорились, что один руководит, другой подчиняется. При этом всегда существует возможность превращения руководителя из помогающего и обслуживающего звена в диктующее и командующее. В нашем социальном организме подобное противоречие, не менее опасное, чем первое, оказалось проигнорированным. Была допущена оплата труда управляющих элементов почти независимо от результатов труда подчиненных («человек на жалованье»). Широко распространилась неподконтрольная, неестественная, не уравновешенная ответственностью власть. Органы управления стали вести себя так, будто бы они, а не подчиненные являются основными элементами в народном хозяйстве. Монополия управляющего элемента над управляемым широко развилась и также стала вариантом монополии производителя над потребителем.

В результате того, что отмеченные противоречия не учитывались и не имелось организационных механизмов, компенсирующих их отрицательные последствия, возникло два чрезвычайно негативных процесса.

Первый. Производители, ставшие монополистами, оплачиваемыми не потребителями, а вышестоящим звеном, стали в ряде случаев действовать не в интересах общества (и потребителя как представителя общества). Заметив это, органы управления еще в 30-е годы, вместо того чтобы восстановить сильные связи «производитель—потребитель», «потребитель платит производителю», «потребитель всегда прав», стали постепенно отнимать у производителя его права, возможности, ресурсы, свободу маневра финансами, материалами, оборудованием и передавать их «наверх». Вышестоящие органы стали диктовать, командовать, связывать по рукам и ногам инструкциями, не давать шагу ступить без регламентации, мелочных ограничений. Постепенно возникал громадный, разбухший, неэффективный аппарат министерств, ведомств и комитетов — вверху, а внизу — относительно бесправный и безгласный подчиненный: предприятие. Сумской эксперимент по самофинансированию и самоокупаемости является успешной попыткой вернуть права хозяйственнику и восстановить дух предприимчивости и инициативы. Предложения члена-корреспондента АН СССР П. Г. Бунича по самопланированию, изложенные за «круглым столом», развивают это направление.

Второй процесс. Поскольку министерства и ведомства получили власть, не уравновешенную контролем и ответственностью, и окладную систему оплаты труда, они оказались не сориентированными на конкретного потребителя. И они стали хотеть не всегда того, что нужнее всего народному хозяйству. Стали уходить по возможности от хлопотных и обременительных функций и выбирать для себя что полегче. Начался многолетний процесс эволюции ведомств к консерватизму и неэффективности. Чем выше уровень ведомства, тем к большим негативным последствиям он приводил. В министерствах это сказалось во много раз сильнее, чем в руководстве предприятиями и объединениями. В надминистерских ведомствах типа Минфина, Госкомтруда, Госкомцен, Госкомитете по науке и технике — в десятки раз сильнее, чем в министерствах.

В министерствах с нечеткими результатами труда и нечеткой оценкой их деятельности (Минпрос, Минздрав, Минсобес, Гостелерадио, ВАК и др.) — в десятки раз сильнее, чем в министерствах материального производства.

В результате этого разрушительного процесса деградации ведомств Минфин, например, «ушел» от своей основной функции регулятора эффективности и технического прогресса, устранился от контроля «горячих» точек и занялся административной экономией — например, сокращением штатов, контролем соблюдения инструкций и т. д.

Стройбанк полностью отошел от действенного контроля за эффективностью строительных работ.

Минпрос выхолостил учебный процесс, наводнил школы бумажной отчетностью, по сути, непрерывно ухудшает качество преподавания, непрерывно тормозит и прекращает перспективные эксперименты.

В результате длительного негативного процесса сложившиеся ведомства и министерства по своим функциям и методам работы совершенно не соответствуют тре-

бованиям перестройки. В сложившейся ситуации, вероятно, при подготовке государственных решений нельзя доверять позиции многих ведомств и министерств, особенно Минфина, Госкомтруда, Госкомцен, Минпроса, Минздрава, Минлесбумпрома, Минводхоза.

Вряд ли можно рассчитывать, что эти ведомства сами себя перестроят, радикально улучшат свою работу, по крайней мере без смены большей части работников и условий оплаты их труда.

По-видимому, для кардинальной перестройки требуется ликвидация деградировавших ведомств и воссоздание на их месте других на новой основе.

Идет острая борьба нового со старым. Политбюро ЦК КПСС предпринимает все усилия для придания большего динамизма перестройке. Но министерства, ведомства, комитеты и люди, работающие в них, не могут сразу измениться и вообще не могут резко измениться. Ведомства за многие десятилетия прочно вросли в свои «экологические ниши» и в массе своей тормозят перестройку, иногда сами этого не замечая. Новое — это внедренный передовой опыт эффективного хозяйствования, доведенный до практики в объединениях и в институтах, в колхозах и на киностудиях, в школах и на железных дорогах. Новое — это продуманные предложения по перестройке сложившихся малоэффективных систем и методов, выдвигаемые учеными — Е. А. Амосовым, Г. А. Илизаровым, С. Н. Федоровым, Б. С. Соколовым, П. Г. Буничем, Л. И. Абалкиным и другими.

Новое — это глубокие публицистические материалы, проливающие свет на переплетение сложных проблем и непростые пути их решения. Но борьба часто бывает неравной. Ибо у ведомств и министерств власть, материальные, трудовые, финансовые ресурсы. Они могут разрешить или запретить, ускорить или затормозить. При этом запрещать и тормозить им много проще и привычнее, чем разрешить, продвинуть и ускорить. А у ростков нового такой власти, таких прав нет. Получается явное неравноправие.

Какой же выход? Меньше всего пользы в том, чтобы в очередной раз призвать ведомства и министерства перековаться. Надо облегчить борьбу нового со старым, сделать ее по меньшей мере равной. Для этого, вероятно, ведомствам, выросшим на старом и вросшим в него, следует противопоставить некое ведомство нового. Как ни внушил нам в последние десятилетия Минфин порочную психологию, что «не надо создавать новых звеньев», «новые функции можно решать старыми структурами», *необходимо создавать новое, и притом весьма мощное по своему статусу ведомство перестройки.* Тогда весь опыт новаторов, все выступления ученых, специалистов, руководителей, все острые постановки и предложения по решению проблем публицистами обретут своего влиятельнейшего сторонника, защитника, продвигателя вперед. Силы ускорения, перестройки получат своего обладающего властью лидера, способного пресечь тенденции робости и медлительности, поддерживающего максимально возможный в нынешних условиях темп перестройки, обновления.

Одним из самых мощных и пока крайне недостаточно используемых организационных механизмов повышения эффективности является механизм Советской власти. Это звучит парадоксально лишь потому, что мы постепенно привыкли весьма узко понимать «советскую власть» — просто как власть, осуществляемую Советами. Но неспроста В. И. Ленин считал коренным условием быстрого продвижения вперед именно советский характер власти, то есть осуществляемое на практике участие каждого трудящегося в управлении страной. Для того чтобы трудящийся влиял на дела страны, хотел влиять, мог это сделать, знал, как это сделать, ему надо в этом помочь, его надо побудить, заинтересовать, поощрить за активность. В этом и состоит главная задача каждого руководителя — не только распорядиться, не только заинтересовать в работе, не только помочь каждому труженику работать, но и создать условия для того, чтобы он почувствовал себя хозяином страны, мог повлиять на процессы за пределами своего рабочего места и ощущал это влияние.

Творческому, активному человеку, новатору, энтузиасту у нас должно быть хорошо. Ему должно дышаться легко. Но ведь пока у нас наоборот! Новатора бьют; чем радикальнее новаторские предложения, тем ему хуже. Спросите об этом победивших новаторов: В. П. Кабаидзе, Г. А. Илизарова, В. П. Москаленко. Спросите об этом побежденных новаторов — В. Шаталова и М. Щетинина, отдавших все свое горение школе. Отладка организационного механизма реальной Советской власти; реального «со-участия» и «со-управления» каждого трудящегося в делах страны — один из наиболее мощных наших неиспользованных резервов эффективности и прогресса.

КРИТИКА

Александр КОРОЛЬКОВ

ПРАВДА ЕСТЬ ИСТИНА В ДЕЙСТВИИ

НЕМНОГИЕ нынче станут отрицать силу художественного слова В. Шукшина. По-иному дело обстоит, когда заходит речь о Шукшине-публицисте, о Шукшине-мыслителе. Тут рассуждают снисходительно: из деревни, мол, подступаться к высокой культуре стал поздно. Где уж тут быть мыслителем, если вовремя не получил образования!

И еще одна накатанная дорожка в восприятии Василия Макаровича: что-то он больно неприязненно относился к интеллигенции, все норовил противопоставить городского человека деревенскому, и не нравилось ему, если кто-то надевал шляпу, а по душе ему человек в кирзовых сапогах.

Подобные рассуждения, к сожалению, проникают в публикации о В. Шукшине. Вот что пишет И. Золотусский по поводу книги Василия Шукшина «Нравственность есть Правда»: «Может быть, Шукшин и не стал бы такую книгу печатать... Ему, с к а з а в ш е м у в с е, ч т о о н х о т е л с к а з а т ь (разрядка моя. — **А. К.**) своими рассказами, да лезть в теоретический огород? Читать мораль ближнему, как жить, как писать?»

В отличие от рассказов, где, по выражению критика, у В. Шукшина «круглое слово, круглый и смысл», «...в статьях он вытягивается... Над словами не мучается, и слова его не мучат. Иногда читаешь и думаешь: неужели это Шукшин написал? Детскость какая-то, школьные прописи. Особенно когда берется он судить о том, что плохо знает (а берется судить)».

Вот такое сожаление. И об изданной книге, и о реализованных в ней размышлениях, идеях, возражениях, заметках.

Был ли В. Шукшин мыслителем? Или поставим вопрос еще определенней: был ли он философом?

«Эк, куда хватил!» — воскликнет даже и почитатель Шукшина-рассказчика, сценариста, режиссера, актера. Не перехлест ли — пытаться соотносить творчество В. Шукшина с мудреными текстами Декарта, Спинозы или Канта?

Оценивать заслуги мыслителей путем сопоставления с прошлыми гениями—безнадежное дело. Философам приходилось браться за множество задач, сообразуясь с потребностями своего времени и неиссякаемой жаждой постижения вечных вопросов. Постепенно стало расхожим по меньшей мере странное убеждение, будто вопросы о конечном и бесконечном, эмпирическом и теоретическом, о соотношении языка и мышления, о роли формализации в научном познании — это достойные философии вопросы, а то, каким будет завтрашнее поколение, какие ценности оно унаследует и какие разрушит, какие нравственные принципы будет исповедовать, — это-де заботы газетной и журнальной публицистики или педагогики, но слишком заземленный предмет для философии.

К счастью, В. Шукшина заботили не критерии, выработанные в связи с защитами философских диссертаций, а реальная духовная жизнь народа, заботили сложнейшие проблемы социального бытия: «что есть подлинная нравственность?», «что с нами происходит?». Разумеется, есть философские проблемы, требующие глубокого погружения в тонкости их содержательной эволюции, предполагающие квалифицированную историко-философскую подготовку. Не о том речь, чтобы принизить горные пики философской традиции, а о том, чтобы не пренебрегать достижениями человеческого духа, поведанными на естественном языке литературной публицистики.

В. Шукшин, может быть, как никто другой прочувствовал спасительность для современного человечества органического синтеза всей народной культуры, выработанной историческим опытом крестьянст-

ва и озабоченной судьбами культуры интеллигенции.

Мудрость народа — это все сокровища духовного развития нации, эта мудрость включает в себя не только пословицы и поговорки, но культуру хозяйствования и быта, выстраданные нормы общинной жизни, нормы нравственности, добытые тяжкими уроками голода и войн законы гуманности, сострадания, взаимопомощи, обретенное в преемственных отношениях многообразие творческих занятий, мастерство. Мудрость народа запечатлена в его деяниях: в хлебопашестве и рукоделии, в песнях и сокровищах языка, в добрых поступках и отношении к живым и мертвым, в возведенных строениях и написанных книгах. Мудрость народа — это и мастерство плотников в Кижах, и наставления старика-крестьянина о ладе в семье и целебности воспитания трудом, и «Слово о полку Игореве», и поэмы А. С. Пушкина.

Пытаться изолировать, разорвать мудрость и культуру народа, отделить истоки от величавого течения полноводной реки — значит обезводить основное русло. В. Шукшин глубоко постиг истоки, но он не довольствовался положением природного самородка, в запоздалом учении, в ненасытном чтении, в работе он добивался совершенного владения всей культурой народа.

Нравственный подвиг человека, покинувшего деревню ради образования, постижения национальной и мировой культуры, не в том, чтобы непременно вернуться в деревню (я не имею в виду нравственный долг учителей, врачей и т. д.), а в том, чтобы достойно представлять народ в избранной стезе творческой деятельности, духовной работы. Может быть, как раз проще всего поддаться зову чувств и, окончив ВГИК, вернуться на пашню, проще, ибо это отступление перед трудностями бо́льшего масштаба, это и означает — не оправдать надежд народа, не суметь быть достойным его. Физический труд мало-помалу упрощается, автоматизируется; духовный труд не знает упрощения и облегчения.

И. Золотусский, полемизируя с Л. Аннинским, приходит к выводу: «Шукшин не был «профессионалом культуры». Он мучился от своего непрофессионализма (от неумения плотно, без перерывов, работать), от недостатка культуры, от полукультуры».

В. Шукшин не только умел плотно работать, но — поучиться у него такому умению — жил и работал на пределе. И сам сознавал это, когда записал: «Никогда, ни разу в своей жизни я не позволил себе пожить расслабленно, развалившись. Вечно напряжен и собран... Это может плохо кончиться, могу треснуть от напряжения».

Может быть, действительно не по силам смертному тянуть сразу три воза. К такому выводу в конце жизни все чаще приходил и Василий Макарович. Все чаще связывал свое будущее только с литературой.

Но тем не менее у критика-то речь идет о культуре в целом, о том, что будто бы не умел В. Шукшин плотно работать вообще в культуре! Сознание В. Шукшина не знало перерывов. Если на съемках в кармане тетрадка для записей, если в больницах, в гостиницах — всюду, где можно присесть, рождались рассказы, замыслы, образы, мысли, — о какой еще более плотной работе можно толковать!

Конечно, можно усомниться: вполне ли понравилась бы В. Шукшину фраза Л. Аннинского: «Город сделал Шукшина профессионалом культуры». Но, с другой стороны, коль уж двигаться в рамках предложенной критиком терминологии, то и сказать нечто обратное невозможно. Не любитель же культуры В. Шукшин! И не из рядов самодеятельности. Профессионал. Да, профессионал. Сильно отличающийся от классического типа, в отношении которого словосочетание «профессионал культуры» не вызвало бы столь бурной реакции. В самом деле, если представить благородство облика, словесную вязь и вдумчивую неторопливость выступлений Д. С. Лихачева, если оценить его эрудицию и способность проникать в глубины культурной традиции — тут уж без сомнения: профессионал культуры!

Есть актеры, играющие страсти, страдания, а есть — сгорающие в страданиях на сцене. С точки зрения первых, В. Шукшин не был профессионалом. Он не умел писать отстраненно, он страдал, разрывался от противоречий, переносимых на бумагу. И это не исключало профессионализма, а, напротив, было высшим его проявлением, соединенным с самосожжением, с самопогружением в жизнь героев, где их проблемы — неразрешенные проблемы самого В. Шукшина.

Для сравнения, может быть, не самого удачного, можно вспомнить о ролях И. Смоктуновского (к которому В. Шукшин, кстати сказать, относился критически). Лучшая его роль — князь Мышкин — завоевана им не столько игрой сложившегося уже актера, сколько нераспыленной душой. В «Идиоте» он не умел смущаться, не краснея, плакать — наработанными тренировкой слезами. С точки зрения формального ценителя актерского мастерства, И. Смоктуновский не был еще вполне профессионалом, но нерастраченная душа, способность соединиться по правде, а не в игре только, с состояниями героев Достоевского, — высекли чудо, потрясшее в свое время театральный Ленинград.

А потом — я выражаю, естественно, свое мнение об актере — И. Смоктуновский подрастерял искренность, стал позировать, демонстрируя длину своих пальцев, красоту кистей рук, прибегая к отработанным жестам, интонациям.

В. Шукшину претила всякая манерность. «Мне не очень нравится Смоктуновский, — говорил он в беседе с кинокритиком. — Случилось, на мой взгляд, вот что: мы очень стосковались по интеллектуальному актеру, все не было его и не было... И вот все заволновались — пришел! Все, конечно, к нему. И правда, легкость необыкновенная, демократичность, свобода... Но почему-то меня не оставляет мысль, что это лишь старание быть таким. Что-то

важное ускользает — эта его легкость, какой-то текучий жест, неопределенная повадка. Или он еще не весь тут, или происходит какая-то подмена».

Речь идет не о том, чтобы слияние с ролью оказывалось таким, что актер уже не властвует над ролью, — речь идет о правде роли, о мере искренности и о душевном богатстве актера. «Хвалят: когда актер вжился в роль, «весь в роли»... Это же плохо! Надо быть — над ролью. Как писатель — над материалом». Над материалом — в мастерстве, но не в равнодушии к материалу, не вне материала.

«Профессиональный философ» ассоциируется с дипломированностью, с прикрепленностью к академическим и университетским ведомствам. У. В. Шукшина встречаем иное и, на мой взгляд, глубоко верное определение профессиональности в искусстве, что верно и применительно к философии. «Профессионально — это, наверное, то, что есть правда о человеке». Это кредо художника и мыслителя. В. Шукшин ни в искусстве, ни в публицистике не идет по пути формального новаторства, он всюду ищет кратчайшие пути к Правде о человеке.

Образование и эрудиция его были достаточными, чтобы умничать, но иные убеждения нес В. Шукшин в искусство, далекие от снобистски настроенных интеллектуалов, нахватавшихся, как он говорил, «культурных верхушек». Основную цель искусства — говорить Правду — В. Шукшин отчетливо формулировал еще в письменной работе на вступительном экзамене во ВГИК, где издевательски высмеивал абитуриентов, великолепно знавших, как надо держать себя режиссеру, внешне выделиться, но которые явно лишены были внутренней духовности, осознания глубинного назначения этой профессии. В 1973 году В. Шукшин скажет: «А ведь в конечном счете услышан тот, кто сказал то, что хотел сказать искренне и серьезно, как и следует говорить».

Публицистическое слово обладает особой силой воздействия на читателя. Однако не всякий писатель способен заговорить обнаженным языком публицистики, но писатель-гражданин, писатель-патриот перед лицом усложнившейся социальной и духовной жизни, перед лицом войны, разрушений связей природы и человека, перед лицом исчезновения лесов, чистых вод, традиций, народных напевов и языка — перед лицом таких перемен и потрясений не может спрятать себя, свою душу, свои мысли исключительно в художественные образы, сколь бы талантливо они ни отражали живую жизнь. Рано или поздно у писателя-гражданина появляется потребность заговорить прямым языком публицистики, и когда созревает в нем такая потребность — меняется и его художественно-образное мышление, преобразуется стиль художественных творений. Недавний тому пример — «Пожар» В. Распутина, где авторский голос то и дело врывается в повествование страстным монологом. «Пожар» — несомненное совпадение с творческими принципами В. Шукшина. Вот что пишет В. Распутин в одной из статей: «...в предельной напряженности слова и объединяющей его силе — мы, кажется, не сумели достойно поддержать Шукшина. И мы говорим о том же, но спокойней и отстраненней, и нас читают, но свои читатели, по-гурмански. Литература после Шукшина вернулась в свое обычное русло, он же умел, не теряя красоты и проникновенности искусства, довести ее до пропагандной остроты и тревоги, до разрушающей всякое равнодушие силы, до аввакумовской страсти».

70—80-е годы отмечены мощным движением писательской публицистики: С. Залыгин, В. Астафьев, В. Распутин, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Крупин — от каждого из них читатели ждут не только романов, повестей, рассказов, но и публицистических, литературно-критических статей, эссе, интервью.

Писатель-гражданин не эстетствует, а радеет о процветании земли и народа, посему не считает второстепенным или тем более недостойным делом выступить по вопросам экономическим, природоохранительным, хозяйственным, ибо писатель — не гость на этой земле, а хозяин. С. Залыгин обратился с открытым письмом к министру мелиорации и водного хозяйства СССР «Водное хозяйство без стоимости... воды», выступил с развернутой статьей по проблемам мелиорации и водного хозяйства... Это толстовское — «Не могу молчать!» определяет традицию русской публицистики.

В том-то и загадка, и особенность большинства художественных произведений В. Шукшина, что в них жизнь души человеческой включает в себя мучительный поиск заземленной большой идеи и оттого-то порой не угадываемой в качестве идеи. В рассказах поверхностно видится лишь ситуация, характеры, но реже — идея, терзание идеей, пропущенной через человеческую душу. Прежде всего это, конечно, говорит о гигантском художественном таланте. У писателей, стремящихся реализовать идеи в своем творчестве, то и дело они выпирают наружу, происходит своего рода их художественная аранжировка. Так, на мой взгляд, обстоит дело в пьесах Сартра, где автор остается носителем философских идей, и при достаточном знакомстве с ходом его экзистенциалистских построений нетрудно угадать общую схему любой из пьес.

Правда, чаще приходится сталкиваться с иной литературой, где не без изобретательности и образности описывается нечто, но ради чего — до этого нет дела автору. Предполагается иногда, что и читателю художественной литературы тоже не должно быть никакого дела до мыслей, идей, ибо для этого существуют-де иные формы: философия, этика, в том числе публицистика наконец. В принципе стремление художественной литературы подменить философию и публицистику мстит потерей художественности, сползанием в дидактизм, назидательность и ум-

ствование. И. Кант уловил один из важнейших критериев художественности — неутилитарность. Не только неутилитарность в восприятии отличает истинное отношение к искусству, но и неутилитарность в создании произведений искусства.

Когда критики упрекали В. Шукшина в мелодраматизме эпизодов встречи с березками Егора Прокудина (фильм «Калина красная»), он попытался объяснить внутренний смысл этих эпизодов. Подчеркну, что выступление свое он назвал жестко и однозначно — «Возражения по существу». Вот что пишет он: «Если герой гладит березки и ласково говорит с ними, то он всегда делает это через думу (разрядка В. Шукшина), никогда бы он не подошел только приласкать березки... Но оттого, что выбор этого «отвлекающего» дела есть шаг бессознательный, «врожденный», опять же ясен становится сам человек (это уж мне надо, автору) — к чему подошел, что сделал невзначай, какие слова сказал, пока думал... Я и думал, что зритель поймет, что березки — это так, «к слову», увидит же он, зритель, как важно решить Егору, куда теперь ступить, где приклонить голову, ведь это не просто, это мучительно. Может, оттого и березки-то, что с ними не так страшно...»

В. Шукшин рассчитывал на развитое эстетическое чувство зрителя и в то же время на осмысленность зрительского восприятия. «Кто не понял мысль чувством, тот не понял ее, точно так же как и тот, кто понял ее одним чувством», — это стремление русской литературы, подмеченное в одном из писем И. В. Киреевского, было и стремлением искусства В. Шукшина, подразумевающее подобную способность также и в зрителе, читателе.

Интуитивно, не осваивая специальных философских текстов по проблеме культуры, В. Шукшин понимает, что культуру творят не только одиночки, занятые мыслительной деятельностью, но все люди, создающие отношения совестливости, взаимопонимания между собой, творящие мир целесообразных вещей и идей.

Надо лишь одно иметь в виду, что идея-то у В. Шукшина всегда нерешенная, потому, может быть, особенно значимая и в художественном, и в философском, и в жизненно-практическом смысле. Идея у него всегда проблемная. Иногда она упрятана в движении души, судьбы, иногда в противоречиях мысли, характера, иногда в неразрешимости обстоятельств, в роковом стечении случайностей. Иногда, совсем редко, В. Шукшин дает ответ в самом рассказе, но ответ этот и не ответ вовсе, а опять вопрос самому себе и читателю, это ответ-размышление, чтобы вопрос, мучивший В. Шукшина, ненароком не упустили, чтобы мыслью зацепились за нехитрую, на первый взгляд, ситуацию. В рассказе «Лёся», например, коротеньком воспоминании об убийце и грабителе 20-х годов, погибшем при дележе какой-то добычи. Мало ли было подобных историй! Такие истории любят вспоминать мужики, коль заходит речь об удальстве и жестокостях прошлого. Цельность и ценность нехитрой истории о Лёсе достигается откровением В. Шукшина: «Не могу как-нибудь объяснить себе эту особенность — жадничать при дележе дарового добра, вообще, безобразно ценить цветной лоскут — в человеке, который с великой легкостью потом раздаривал, раскидывал, пропивал эти лоскуты. Положим, лоскуты — это и было тогда — богатство. Но ведь и богатство шло прахом. Может, так: жил в Лёсе вековой крестьянин, который из горьких своих веков вынес несокрушимую жадность...»

Вот это «может», это сомнение как форма особой заостренности муки, родившей рассказ, — очень характерная шукшинская особенность.

Правда... В этом слове сосредоточено многое для русского человека, для российской истории. Правдолюбец, праведник, правдивость — давние и золотые слова. «Правда — свет разума», «правда суда не боится», «не ищи правды в других, коли ее в тебе нет»... Сколько в народе было сказано о правде!

Принято считать, что по коренному своему значению правда связана со знаменитым сборником узаконений, Русской Правдой, однако если даже согласиться с такой родословной слова, то неистребимо могучий его внутренний смысл явно обнаруживается уже в открытом Татищевым своде законов. В самом деле, законы давали процессуальные установления для прекращения споров, предусматривали действия по справедливости, по совести, по правде.

В слове «правда» спрятана загадка, не поддающаяся привычному для науки анализу, рассудочному уяснению однозначного или многозначного смысла. Правда издавна — дело жизни, дело духовных исканий, дело художественной литературы. Никак не свести такие поиски к задачам науки. Холодное, бездушное рассуждательство о правде не только не способно приблизиться к ее смыслу, но умерщвляет что-то самое сокровенное, ради чего родилось и не исчезло, к счастью, это слово. Только человек, страдающий о подлинных ценностях души, способен сказать весомые слова о Правде, ибо она и Совесть — это не просто однопорядковые слова, а это однопорядковые явления жизни, неразрывные состояния беспокойной души.

Не случайно в русском языке исторически выделились, обособились и приобрели глубокий самостоятельный смысл понятия: истина и правда.

Истина — по преимуществу категория теории познания, науки. Правда — не только антипод лжи. Правда — категория духовности, категория эстетическая и нравственно-практическая. Порой уже открытая кем-то истина, в своем трудном движении к людям, обретает форму борьбы за правду, порой же правда — это еще неоткрытая истина, в практических горьких уроках человечество завоевывает зерна правды. Правда — это истина в действии. В. Шукшин глубоко чувствовал потаенный смысл правды, назвав одну из лучших своих публицистических статей «Нравственность есть Правда».

Правда, душа, воля (воля как свобода) — ключевые слова всего творчества В. Шукшина. Суть дела не в частоте употребления слов, хотя и частота использования их в рассказах, романах, фильмах бросается в глаза. Презрение его обращено к бездуховной пустоте глаз, самодовольно взирающих на бесхитростную простоту труженика.

Крестьянин, к которому приковано постоянное художническое и человеческое внимание В. Шукшина, — не только труженик и честняга по образу своей жизни. Он — вольный человек, несмотря на всю занятость, надсадность труда в собственном и общинном хозяйстве.

Генрих Бёлль, относил крестьянина, живущего даже в иной социальной системе, к людям свободной профессии, к той самой категории, к которой принято причислять художников, писателей. «Все больше вымирают свободные профессии, — говорил он в своем предсмертном интервью. — Свободные профессии не в официальном смысле слова, а в житейском, — я считаю крестьянина свободным человеком, человеком тоже свободной профессии. А число крестьян уменьшается».

Свобода несовместима с жульничаньем души, она потому и свобода, что открыта велениям природы и справедливости человеческих отношений. Правда человеческих отношений, правда души — это и есть воля, свобода. «Я пришел дать вам волю» — равнозначно другому убеждению: «Я пришел дать вам правду», ибо «нравственность есть Правда» и создать на земле нравственные отношения — значит обеспечить господство Воли (свободы) и Правды.

В. Шукшин вплотную подошел к еще одному фундаментальному проявлению исторически выработанной нравственной культуры русского народа — Совести, понятию, настолько подразумеваемому народной культурой, что его всуе произносить грешно. Проступок, противный Правде, и называется издревле бессовестностью.

Пустота глаз, автоматизм увеселений и контактов, делячество, вещизм — симптомы хвори совести.

Родство двух художников — В. Шукшина и В. Распутина — в том, что В. Распутин обнажил наметившуюся у В. Шукшина линию художественного осознания спасительной миссии Совести. В. Шукшин уловил симптомы болезни, В. Распутин установил точный диагноз и обратился к поискам лекарств, он не удовлетворился академически бесстрастным истолкованием совести как категории этики, вбирающей в себя проблемы нравственного самоконтроля личности, способность человека самостоятельно формулировать для себя моральные предписания, требовать от себя их исполнения и оценивать свои действия.

Нет, для В. Распутина, как и для В. Шукшина, Совесть и Правда — не периферийные философские проблемы, а центральные проблемы человеческого бытия, а стало быть, и центральные для философии, коль она не снимает с себя обязанностей быть философией человека, целей и смысла его существования. «Совесть в отношении к обществу — это основная духовная задача и основная нравственная норма, которые созданы опытом всех предыдущих поколений и вверены нам для выполнения и возможного совершенствования. Иными словами говоря, совесть — это живое предчувствие и предсказание совершенного человека и совершенного общества, к которым человечество и держит путь, и неразрывная связь всех без исключения поколений — прошлых и будущих. В отношении к каждому из нас — это контрольное дыхание, или, лучше сказать, контрольное движение в нас общечеловеческой идеи, в которой именно человек, а не что иное, цель всего сущего».

Вот это и есть слова нравственного философа, для которого рассудочность формулировок и терминологическая изощренность — недостаточные, а подчас и недостойные средства. Нравственная философия должна суметь достучаться до сердца человека, добиться духовного возвышения человека, и в таких задачах вряд ли уместны рассуждения о трансцендентности, имманентности и амбивалентности. Легко вибрировать замысловатыми терминами по поводу и вокруг уже выраженной ясными русскими словами мысли.

Рождение массовой эстрады, газетной, телевизионной шумихи вокруг каких-то имен запутало понятие гениальности. Сигнал к тому был подан еще в начале века.

> **Я, гений Игорь Северянин,**
> **Своей победой упоен:**
> **Я повсеградно оэкранен!**
> **Я повсесердно утвержден!**
> . . . .
> **Я выполнил свою задачу,**
> **Литературу покорив.**
> **Бросаю сильным на удачу**
> **Завоевателя порыв.**

Талантливый поэт способен самоутвердиться в литературе, достичь виртуозности созвучий, но гений должен стать голосом мира, а не себя самого. Славословие гению противопоказано, даже заслуженное, исходящее извне.

В. Шукшин — гений совести. Самый распространенный гений в истории русской культуры, но уникальный в своем проявлении, Пушкин отверг возможность существования гения, соединенного со злодейством. Совесть — атрибут гения, его неотъемлемое качество.

Но сущностная основа гения различна. Она определяется и социальным контекстом жизни, и предметом занятий, и направлением его духовных поисков. Повидимому, ложная концепция смены культур Шпенглера не в последнюю очередь складывалась из наблюдений особенностей исторических вспышек гениев. Не потому ли определения целых исторических культур Шпенглер связывает с именами гениев? Античная культура — «эвклидовское» переживание телесности (геометричность, скульптурность научных и художественных образов), западноевропейская

(«фаустовская») культура выводится из своеобразного первофеномена — идеи глубины.

Вряд ли какой-то другой век сопоставим с россыпью гениев века XIX. Он подобен античности. Но античность спрессована в нашем сознании в доступные воображению временные пределы, не соответствующие реальному тысячелетию расцвета древнегреческой философии и искусства. В самом деле, Фалес, Пифагор, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, Эпикур, Диоген — эти имена столь же близки между собой, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Между тем крайние точки античной философии светятся в VII в. до нашей эры и в VI в. нашей эры.

После многих исключительных гениев загадочным для объяснения оказался Чехов. Пожалуй, лишь С. Залыгину удалось обосновать, что «гения такого склада мир еще не знавал... Наш писатель совместил гениальность с повседневными понятиями такта».

Чехов — гений такта, такта как жизни и творчества по законам меры и ритма. «А наш писатель, если еще не поздно, если еще не все потеряно, должен был доказать обществу право такта на гениальность. Не ради самого такта. А чтобы помочь людям понять, как такт приближает их к не выдуманному, а подлинному самосознанию; чтобы утвердить тактичность искусства ради житейского искусства такта...».

Следующий шаг сделал В. Шукшин. Тогда, когда смысл самого слова «совесть» становился все более размытым, когда Словарь русского языка поспешил констатировать, что «совестно — устаревшее наречие». (Изд. «Русский язык», 1984, т. 4).

Стать гением совести невозможно, сохраняя рассудочно-дидактическое отношение к жизни и читателям. Надо было в клочья изорвать свою душу, пустить в распыл свое здоровье, держа на пределе гибели свое сердце от обид, от болей, которые обходят рассудительные аскеты, следующие советам врачей или собственным системам долгожительства. Стать гением совести можно только сжигая себя в примелькавшихся другим каждодневных ситуациях хамства.

Герои В. Шукшина не просто ищут справедливость — это еще не специфически шукшинский поиск, но домогаются Правды, где совестливость включена в процесс добывания столь же естественно, сколь естественная сама жизнь. Этот поиск внутренних душевных оснований Правды подчас вступает даже в противоречие с общепринятым толкованием справедливости. Не потому ли столь часто шукшинские герои пытаются традиционно русским народным способом утвердить свое ощущение Правды: всплеском эмоций, криком («Царь гневно затопал ногами, закричал. Романовы все кричали, это потом, когда в их кровь добавилась кровь немецкая, они не кричали»), дракой, в предельном случае самоубийством.

Мы во всем норовим усмотреть прогресс. Усложняется техника — прогресс, растет печатная продукция — прогресс, лазер и электромузыкальные инструменты помогают новомодному ансамблю возбудить публику — прогресс... Раньше не было, а теперь есть — прогресс.

Выросла генерация «прогрессивно» мыслящих людей, усматривающих примитивизм прошлых поколений не только в технических средствах передвижения, но и в привязанностях к старым нормам поведения, именуемым совестью, скромностью, стыдом. При случае такие жизнелюбы не прочь воспользоваться чужими проявлениями совестливости, стыда, скромности, без этого трудновато самоутвердиться и преуспеть. Все чаще приходится слышать об условности издревле возникших нравственных норм, тем более что и наименование им находится вполне обличительное, скажем, «христианский кодекс».

«Необходимо,— советует социолог,— выработать такие идеалы поведения, которые соответствовали бы... реальным условиям современной жизни. Важным шагом в этом направлении было бы преодоление того дуализма романтической любви и секса, который все еще (разрядка моя. — **А. К.**) существует в общественном сознании».

Такой социолог готов видеть в деревенском укладе жизни только отсталость, в том числе в сфере нравственных отношений. Посмотрим, какие несомненные прогрессивные сдвиги усматривает он у переместившегося в большой город провинциала. «Человек приспосабливается к городскому образу жизни. Это означает, что он привыкает к сложности и изменчивости окружающих явлений, к необходимости вести себя более активно, организованно; вырабатывает в себе большую терпимость и широту взглядов, самостоятельность... Общие сдвиги в культурных оценках и пристрастиях не проходят бесследно и для ориентаций в области сексуальных взаимоотношений».

Бесследно не проходят... Это сказано точно, хотя и с иным ударением, иным смыслом, чем следовало бы говорить, и о чем совсем по-иному говорил В. Шукшин. В письме сродному брату И. Попову В. Шукшин обронил: «И в Москве, Ваня, немудрено протухнуть. Очень уж мало людей искренних».

Мобильность, подвижность, широта общения (и это хорошо известно социологу) не сопряжены жестко с духовным, интеллектуальным и нравственным возвышением, подчас, напротив, сопряжены с конформизмом, с желанием как раз для созвучия подпеть общему хору сверстников, собутыльников, сотрудников, ибо мотив легко объясним: как все, так и я. Тут-то и нелишне вспомнить об апробированных национальным и общечеловеческим опытом жесткой и трудной истории нормах человеческого поведения, завоеваниях языка, обычаях, взглядах, задержавшихся долее именно в деревне и в душах тех интеллигентов, которые не падки на турбулентные модные потоки. «Конечно, жить одним лишь прошлым нельзя, — справедливо замечает С. Залыгин, — наверное, такая жизнь и называется патриархальщиной, но и настоящее без

прошлого тоже не настоящее, а только его суррогат».

Эмоциональный контекст нравственности, в отличие от понятий объективированной науки, в значительной степени вырастает из особенностей исторического развития нации или народности. По-видимому, образованному европейцу трудно в полной мере воспринять смысл русского восклицания: «душа болит!» или тревоги: «нам бы о душе не забыть!», особенно если этот гипотетический европеец обратится к своим авторитетным классикам. И. Кант пояснял: «Под душой следует понимать лишь способность суммировать данные представления и создавать единство эмпирической апперцепции, а не субстанцию в ее полностью различенной от материи природе...»

У В. Шукшина душа — основа всего человеческого в человеке. Она важнее мудрости, образования, престижа, должности. «Я же думал, ты не способен на ложь — вообще, зачем это мужику? Мало на свете притворных людей? Куда же мне теперь идти прикажете? К кому? Бесстыдники, вот так и даете пример... Ведь так же все рухнуть может!» (Генка Пройдисвет). Вот какое место в человеке занимает душа! В ней вся жизнь человека, вся жизнь народа. Ее не потрогаешь руками, но, зацепи ее словом, поступком, и пошло-поехало, не остановить. «Ах, как горько!.. Речь идет о Руси! А этот, деляга, притворяться пошел». «Как же нам жить-то?! Когда — раз, и соврал, ничего не стоит!».

А чтобы потрогать тайники души — приходится идти по краю, иной раз между жизнью и смертью. «Вот же гадская натура! Вечно надо до края дойти, так уж понять чего-нибудь, где и понять-то... может, нельзя».

Только то, что выстрадано, то, что принято душой, становится Правдой человека. «Ведь ты же совсем не думаешь про это про все, ты же чужие слова молотишь... И ведь нашел же в душе такую способность! Наше-ел...».

«— ...Я вот не погляжу сейчас, что я баба, надаю по загривку-то, будешь знать.

— От тебя приму. Ты духовно чистый человек... Ты не врешь».

Я уж не говорю о «Кляузе» — документальном рассказе, где душа его криком кричит: «Жить же противно, жить неохота, когда мы такие!» И в конце рассказа вопрос вопросов для мыслителей любой квалификации: «Что с нами происходит?»

В. Шукшин, если угодно, преподал урок современной философии, выразив подлинно современные, острейшие вопросы, которые она призвана решать. Он прокладывал дорогу философии нравственности.

В журнале «Вопросы философии», в других подобных изданиях цитируется уже иногда шукшинское понимание интеллигентности. Не просто оказалось при нынешнем размашистом движении образования разобраться в этих простых некогда понятиях — интеллигенции и интеллигентности. Первоначально, с тех пор как писатель и драматург П. Д. Боборыкин удачно предложил миру понятие интеллигенции, оно позволяло выделить слой образованных людей, работников умственного труда. Постепенно новое понятие набирало силу, и самоопределился иной его смысл: интеллигентность стала противопоставляться хамству, невоспитанности, бестактности, грубости, а последнее обнаруживалось подчас в среде людей образованных, то есть образовательные мерки оказывались не самыми решающими. В то же время интеллигенцией, по сложившейся за столетие традиции, по-прежнему именуют врачей, учителей и т. д. Ныне, когда грани между физическим и умственным трудом становятся все более зыбкими, выяснилось, что какая-либо совокупность профессий не совпадает с феноменом интеллигентности. Показная и действительная интеллектуальность, сопряженная с высокомерием, снобизмом, бюрократическим чванством, стала иногда приниматься в народе за интеллигентность, в результате появилось недоверие и презрительное даже отношение к интеллигенции. Человек в шляпе и галстуке то и дело вводил в заблуждение своим поведением, а унификация одежды, при которой фарцовщик попал в разряд наиболее эффектных внешне людей, и вовсе спутала все карты в отношении интеллигентности.

Интеллигентность как совокупность вполне определенных человеческих качеств стала крепким орешком для философов и социологов (разумеется, эта проблема не тождественна вопросу о социальном статусе и структуре интеллигенции).

Область нравственных понятий недоступна для сколь угодно образованных специалистов, если они только при помощи интеллекта и эрудиции хотят постичь смысл интеллигентности, совести. правды. В. Шукшин, писатель ранимой души, напряженно размышлявший о судьбе своего народа, сумел, сказать глубокие, прочувствованные, не круглые слова о ключевых понятиях нравственности. Тем удивительнее, что находятся до сих пор критики, рассуждающие о «деревенской прозе» В. Шукшина и его публицистических выступлениях как об антиподе литературы городской, якобы питающей интеллигентность. Не замечают при этом, что В. Шукшин — среди самых ярых врагов псевдоинтеллигентности, прикрывающей пустозвонством и внешней респектабельностью отсутствие духовности, совестливости, умения работать, делать добро.

Ведь еще в абитуриентах ВГИКа, в которых можно было предполагать искомую интеллигентность, В. Шукшин усмотрел фальшивость в трепе о ракурсах, катарсисе, передних и задних планах, в жонглировании иноязычными выражениями. И он верно предполагал: не получится из них значительных, правдивых, самостоятельных художников. Накапливал свою силу и знал, что наступит его время в искусстве. «Мне хотелось бы когда-нибудь стать вполне интеллигентным человеком» — в этом выражалась жизненная программа, связанная отнюдь не с овладением изысканностью поведения в гостях и не с

умением непринужденно носить соответствующие одежды.

Будучи зрелым художником и мыслителем, В. Шукшин теоретически и практически превзошел расхожие, но бесхребетные определения правды и интеллигентности, выразив афористически важнейшие нравственные максимы. «Начнем с того, что явление это — интеллигентный человек — редкое. Это — неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется — для созвучия — «подпеть» могучему басу сильного мира сего, горький разлад с самим собой из-за проклятого вопроса «что есть правда?», гордость... И сострадание судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке — он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность не самоцель».

Нравственные понятия должны быть наполнены человеческими чувствами, всенародной и всемирной ответственностью, с пустой душой не подступиться к таким понятиям. Стать интеллигентом — вовсе не значит механически войти в какую-то социальную группу. Требуются огромные усилия воспитания и самовоспитания, чтобы приблизиться к столь высокому званию — быть представителем, выразителем, носителем духовных качеств народа. И опять нужные, значимые слова говорит писатель В. Распутин, слова, которые придет черед еще цитировать и в философской литературе: «Есть народ как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившая и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ «в широком смысле слова, все население определенной страны», как читаем мы в энциклопедии...

Тысячу раз прав В. Шукшин: «народ всегда знает правду». Ибо то и есть народ, что живет правдой, как бы ни тяжела была эта ноша, то и есть правда, что составляет первооснову и первосмысл этого понятия, не подверженную духовной ампутации истину о человеке и его жизни.

В то время как мы продолжаем споры об интеллигентности В. Шукшина, о его отношении к интеллигенции, В. Шукшин перешагнул за пределы самого предмета спора своей жизнью, своим творчеством. Он давно уже среди тех духовных учителей, которые помогают другим в движении к духовности, к интеллигентности. Он сделал другой интеллигенцию, читающую его. Он помогает дополнить и наполнить образованность тем необходимым сущностным ядром интеллигентности, которую он и выразил как неспокойную совесть, мучение над извечным вопросом — «что есть правда?» Он давно творит нас.

Каждому поколению необходимы свои близкие, доступные пониманию и подражанию образцы духовного подвижничества. Каким бы ярким пламенем ни горела жизнь неистового протопопа Аввакума, немногими она воспринимается более чем литература. По-иному воспринималось «Житие» и другие сочинения Аввакума его современниками. Жизнь и сочинения искателей правды неразделимы.

Собирающиеся на Шукшинские чтения в Сростках люди поклоняются не просто писателю, актеру или режиссеру, — они поклоняются жизни, способности растратить себя без остатка в поисках духовности, художественного совершенства, правды.

Юрий СОХРЯКОВ

...КОТОРАЯ ПОРОДИЛА

ЧЕЛОВЕК И ЗЕМЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ

Я наблюдал и прямо скажу, что в наш век чем дальше, тем больше понимают и соглашаются, что соприкосновение с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, науки, рассудка, здравого смысла и отличной манеры.

Ф. М. Достоевский.

Вся энергия художника должна быть направлена на две силы: человек и природа.

А. П. Чехов.

УЖЕ ДАВНО подмечено, что родина, народ, природа — родственные понятия, и любовь к родине и народу невозможна без любви к родной земле. Встреча с ней способствует не только нравственно-эстетическому становлению личности, но и ее идейному росту, о чем напомнил недавно философ В. П. Тугаринов: «Созвучие души человека и природы — корень народного характера и основа его душевного здоровья, цельности и равновесия... Отрыв от родной природы и своего народа порождает творческое бесплодие и штукарство... «Почвенность» — это не выдумка, не отсталость и не шовинизм, а великий фактор, сплачивающий нацию, народ, создающий личность. Она отнюдь не противоположна интернационализму, так как последний является дальнейшим расширением сознания и чувства своей семьи, своей кровной принадлежности к братьям по классу и по убеждениям».

О том, что природа не только душевно укрепляет человека, вливая в него новые живительные силы, подготавливая к дальнейшей жизни и борьбе, но вместе с тем и воспитывает, говорил в прошлом веке Лев Толстой. У него есть замечательное по своей прозорливости высказывание о том, что земля имеет «свойство формировать работающего на ней человека». Г. Успенский, развивая эту мысль, писал в статье «Власть земли», что «сила», которая сохраняет человека под кнутом и палкой, которая сохраняет у него, несмотря на гнет крепостного права, открытое, живое лицо, живой ум и т. д., получается в этом человеке непосредственно (здесь и далее разрядка Г. Успенского—Ю. С.) от указаний и велений природы, с которою человек этот имеет дело непрестанно, благодаря тому, что живет особенным, разносторонним, умным и благородным трудом земледельческим...

В строе жизни, повинующейся законам природы, несомненна и особенно пленительна та правда (не справедливость), которою освещена в ней самая ничтожнейшая жизненная подробность. Тут все делается, думается, так, что даже нельзя себе представить... Лжи, в смысле выдумки, хитрости, здесь нет, не перехитришь ни земли, ни ветра, ни солнца, ни дождя, — а стало быть, нет ее и во всем жизненном обиходе».

В творчестве современных прозаиков, продолжающих классические традиции русской литературы, источником нравственно-эстетического опыта является не просто природа, но земля, земледельческий труд.

Любовь к природе — это прежде всего любовь к земле. Великая истина, которую усваивает земледелец, в том, что землю нельзя перехитрить, обмануть, в хлеборобском деле невозможно схалтурить, и тот, кто пытается это сделать, неизбежно остается внакладе. Земля просто и ясно отвечает ему неурожаем. Один из героев С. Залыгина, Николай Устинов, размышляя о первозданной сущности крестьянского труда, говорит: «Пахота не только судьба и доля человеческая, это еще и указ природы человеку. И покуда человек природного указа держится, до тех пор будет известно, что такое жизнь людская, забудется указ, и неизвестно станет о человеке ничего — кто он, зачем и почему. И заблудится человек в неизвестности».

В одном из последних телевизионных интервью Ф. Абрамов подчеркивал, что «если русская деревня исчезнет с лица земли, утратится и связь человека с живой природой, а эта утрата может обернуться очень серьезными последствиями... Потому что земля, животные, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность. И если исчезнут эти связи с землей, с миром природы, эти отношения любви, доброты, не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным изменениям национального характера?»

«В конечном итоге самый главный вопрос — вопрос нашей жизни и смерти — упирается в существование сельского труда,—утверждает армянский прозаик Грант Матевосян.— Все мы обязаны земле, земля нас родила, из земли мы вышли, в землю уйдем. Но все мы где-то и в чем-то повинны перед этой областью нашей жизни. Свысока к ней относился порой и сам крестьянин, который возделывал землю, пас коров, разводил скот. Но при первом удобном случае был готов оставить село, переметнуться в город и работать в «более престижной области».

Это «предательство», «измена» земле обусловливает духовную драму многих персонажей в современной литературе. Такую драму разрыва со своими корнями, с крестьянским трудом переживает молоденькая Клавдюха, героиня рассказа Е. Носова «Пятый день осенней выставки», оставившая родную деревню, ферму, коров и устроившаяся работать в городском ресторане официанткой. Эту драму переживают многие герои В. Шукшина, в том числе и Егор Прокудин («Калина красная»), который всю свою жизнь носил в душе дорогие для него воспоминания о родной деревеньке, где он родился и вырос, о березках на берегу реки. О них он вспоминал в самые тяжелые минуты жизни: «Легче не становилось, только глубоко жаль было всего этого и грустно, и по-иному щемило сердце — и дорого, и больно». И когда он, повинный перед матерью, перед землей, стоит на пашне и вдыхает всем своим существом веющий от нее покой, он прозревает горькую бесплодность прожитых лет. Ему кажется, что земля собрала всю свою весеннюю силу, все соки живые и готовилась опять породить жизнь. «И далекая синяя полоска леса, и облако, белое, кудрявое, над этой полоской, и солнце в вышине — все была жизнь, и перла она через край, и не заботилась ни о чем, и никого не страшилась».

В эту минуту Егор Прокудин решает порвать с прошлым, возвратиться к той самой земле, которая породила его и на которой долгие годы трудилась, выбиваясь из сил, его мать. Березки в этом фильме, за которые в свое время критики упрекали автора, не просто жизненные реалии первородной российской действительности. Это и символ животворной, целительной силы земли, властно зовущей к себе человека. Вот почему, отвечая критикам, упрекавшим его в сентиментальности и мелодраматизме, Шукшин подчеркивал: «Если герой гладит березки и ласково говорит с ними, то он всегда делает это через думу, никогда бы он не подошел — только приласкать березку. Как крестьянин, мужик, трезвого ума человек, он просто и реально понимает мир вокруг, но его в эти дни очень влечет побыть одному, подумать. А думая, он поглаживает березку (он и правда их любит), ему при этом как-то спокойнее, он и поглаживает, и говорит всякие необязательные слова, но это для того, чтобы — подумать».

«Глубина постижения природы — это глубина и масштабность человека»,— сказал незадолго до своей кончины Ф. Абрамов, который, как и Шукшин, исследовал драму разрыва человека с землей. Один из персонажей его романа «Дом», Егорша, долгие годы скитавшийся по свету и не пустивший нигде прочных корней, в конце концов возвращается на родину. Оказавшись наедине с родной природой, он ощущает себя душевно обновленным, вновь народившимся на свет. «...Никогда еще он не чувствовал себя так легко, так бодро... никогда еще не доставляли ему столько радости, столько счастья такие пустяки, как запах дыма, шорох па-

дающей с дерева сухой прошлогодней шишки, как полыхающая на солнце рябина». Именно в эти минуты происходит его духовное перерождение, начинается пробуждение в нем личности. Он понимает бездушную жестокость своего обращения с Михаилом, Лизой и другими близкими людьми. Он сознает, что в течение своих двадцатилетних скитаний не радость и добро творил он, а сеял вокруг себя горе и страдания. «В президиуме у жизни не сидел, вкалывал, прочертил след на великих стройках века, но баб и девок перебрал — жуть. Всех без разбора, кто попадался под руку, валил. Сплошной рубкой шел. И на месте не задерживался: взял, выкосил свое — и вперед, на новые рубежи. И что там оставалось позади — слезы, плач, разбитая жизнь, ребенок-сирота — плевать».

Тема возвращения к земле, к крестьянскому труду свидетельствует о преемственной связи Ф. Абрамова, В. Шукшина с традициями русских классиков, всегда интересовавшихся процессом духовного возрождения человека, соприкоснувшегося с народной стихией, принимающего правду трудящегося люда. Любопытно, что в десятилетней давности дискуссии о фильме «Калина красная» многим критикам казались странными финальные слова об убитом Егоре: «Он был мужик, таких на Руси много». В презрении Губошлепа к истекающему кровью Егору выразилась циничная психология матерого бандита, порожденная остатками старого барственного отношения к сельскому труженику, которого в старину крепостники называли холопами, чернью. Говоря о двух противоположных смыслах слова «мужик», Б. Можаев недавно заметил: «Мужик — это хозяин, то есть человек, способный сводить концы с концами — и себя кормить и другим хлебушко давать. Не надо путать два понятия: барское понятие мужика как лапотника, как невежды, как черного человека и крестьянское народное понятие, по которому мужик — значит опора и надежда, хозяин, одним словом».

Именно такому мужику, надежде и опоре не только семье, но и государству, свойственно первозданное ощущение земли как живого существа. Об этом говорил в одном из интервью С. Залыгин: «Земля как простор, как пейзаж, как мать родная, землица, мать сыра земля — таковы поэтические образы. А вот как передать ощущение конкретности земли, когда выходишь в поле, разминаешь влажный комок почвы, нюхаешь. Стряхнешь с руки — вроде не осталось особых ощущений. Но подержите минутку-две — и выбрасывать не захочется, уже вошло что-то, уже вы что-то начинаете ощущать». О «вкусе к земле» говорит и В. Солоухин: «Я шел впереди и думал: что же такое таится в ней, в извечной работе земледельца, что и самая тяжелая и не самая-самая благодарная, но вот привораживает к себе человека так, что и на ладан дыша берет он ту самую косу, которой кашивал в молодости, и идет, и косит, да еще плачет от радости?

А еще я думал о том, как веками складывалось у крестьянина то, что можно, может быть, назвать вкусом к земле и что делает каждую его работу еще и красивей. И как было бы страшно, если бы какие-нибудь обстоятельства отбили у него этот вкус к земле, оставив ему одну только голую физическую тяжесть труда».

Это исконное, первородное чувство земли, к которой некогда припадали Антей, Геракл и другие персонажи древнегреческой мифологии, по которой современные интеллектуалы бродят босиком, снимая излишки статического электричества, никогда не может иссякнуть окончательно в человеке. В противном случае это будет означать конец жизни. В «Оде русскому огороду» В. Астафьев пишет о том, что тяга к земле не угасает в тысячах современных горожан, которые с лопатами и граблями в переполненных электричках, на автобусах и машинах направляются на свои загородные участки и огороды. Что заставляет этих материально обеспеченных людей тащиться за город в свободные от работы часы? — задает вопрос автор и отвечает: не только жажда свежего воздуха и желание поразмять затекшие за сидячей работой мышцы. Главное — это веками выработавшееся в душе русского человека ощущение исконной связи с землей: «Но не могут люди бросить землю, велика привычка и тяга к ней, вера в нее: а вдруг беда какая? Неурожай? Засуха? Война, не дай бог, снова? На кого и на что надеяться тогда? На землю. Она никогда не предавала и не подводила. Она — кормилица наша, всепрощающая, незлопамятная».

В прошлом веке Л. Толстой одним из первых в литературе воспел красоту природы, преображенной руками человека-хозяина, человека-друга. Для Константина Левина, в отличие от Сергея Ивановича Кознышева, деревенская природа не существовала как объект эстетического созерцания. Не любивший говорить и слушать про красоту природы, Левин, однако, замечает, как неузнаваемо изме-

нился к вечеру скошенный луг: «Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным новым блеском, со своими уже пахнущими рядами, на вечерних косых лучах солнца. И скошенные кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в своих извивах, и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы недокошенного места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом,— все это было совершенно ново». Скошенный луг приобретает для Левина еще большую и совершенно неожиданную красоту. Это красота единения природы и человека, который не искажает и не уродует природу, а бережно изменяет ее первоначальный облик.

Вместе с тем Толстой показал, что в процессе творческого труда человек испытывает чувство единения не только с природой, но и с людьми. В знаменитой сцене косьбы Левин получает не просто физическое, но духовное удовлетворение от охватившего его ощущения причастности к общей жизни. Ему внезапно открывается, что «море веселого общего труда» — это и есть то чудотворное, целительное средство, которое спасает человека от искусственной, праздной жизни и благотворно воздействует на его физическое и духовное здоровье. И когда Левин слышит, как поют вечером возвращающиеся с поля после трудового дня бабы с граблями на плечах, он чувствует в душе зависть «за это здоровое веселье» и ему страстно хочется «принять участие в выражении этой радости жизни».

«Почему с давних пор самой любимой работой и самой любимой порой в деревне был сенокос? — задается в наши дни вопросом В. Солоухин и сам же отвечает: — Потому что он из всех крестьянских работ проводился сообща, объединял всех, сдружал, коллективизировал. Весь год копались крестьяне каждый на своем клочке, а в сенокос выходили в одно место всем селом, или, как это называлось, всем миром, становились друг за дружкою, тягались (соревновались) друг с дружкой, в минуты отдыха балагурили, и это было как праздник. В полдень тоже все вместе выходили бабы разбивать валки, ворошить сено, Туда и обратно шли с песнями».

По-своему изображая сенокосную страду, Ф. Абрамов, В. Астафьев, В. Белов не скрывают тех трудностей, которые выпали на долю женщин и детей, оставшихся без мужиков в годы войны. Да и в мирное время на сенокосе работают все — от мала до велика. Берет в руки косу маленькая дочь Ивана Африканыча, а рядом с ней надрывается из последних сил и ее мать Катерина, пока с ней не случается удар и она не падает на скошенную луговину. Берется за литовку и мальчик Вася, герой повести В. Потанина «Тихая вода», и когда он, обессилевший, засыпает под жарким летним солнцем, коса пастушки Поли Китайцевой случайно достает его и чуть не делает инвалидом.

Однако, несмотря ни на что, летний сенокос остается в памяти мальчишек и девчонок, стариков и баб как самая лучшая пора в жизни. «Никогда у них, у Пряслиных, не было столько счастья и радости, как в те далекие незабываемые дни. Одна только первая их страда чего стоит!» — пишет Ф. Абрамов в романе «Дом». Как о самых светлых днях жизни вспоминает Лиза Пряслина свой первый сенокос, когда она вместе с другими вышла на пожню, где и косарей не видать было: «С головой скрыла трава. А поставили. Один зарод поставили, другой, третий. И с тех пор голый выкошенный луг, с которого убрано сено, стал для Лизы самой большой красой на земле».

Идет на покос в «выходном» платье и Паруня, героиня одноименного очерка В. Астафьева: «С тихой улыбкой, тайно блуждающей по лицу, творила она сенокосную страду, баловалась радостным заделъем. Разгоревшееся, алое лицо ее было ровно бы высвечено еще и внутренним светом, на нем жило удовольствие от вольного труда, от природы, близкой и необходимой сердцу... Захотелось отступить в пихтачи, чтобы навсегда унести в себе до боли знакомую с детства картину слияния, вот именно полного слияния природы и человека, а главное — ясно осязаемую уверенность в том, что так же вот счастливы трудом и природою благословенны бывали моя покойная мама, и тетки мои, и все русские женщины, которые потому вынесли все беды, не сломились под тяжестью войны, не пустили глубоко в себя чувство обездоленности и подавленности, что природа — заступница и кормилица была с ними и в них. Она, конечно, дарила им не одни только радости, она посылала им и напасти и беды, но она была им и домом, и храмом, и богом — вот почему никогда не поймут они и не разделят ахов и охов, а порой и слез, что льет наш брат-интеллигент над их судьбою... Бесспорно одно: общение с природой, родство с нею, труд во имя ее есть древняя, неизменная самая, быть может, надежная радость в жизни человека».

Единение с природой и с другими людь-

ми в ходе летнего сенокоса переживает и Анфиска в повести Е. Носова «Шумит луговая овсяница». «Море веселого общего труда», о котором писал когда-то Толстой, захватывает и Касьяна в повести «Усвятские шлемоносцы». Сенокосная страда для него — это не просто естественная, нормальная жизнь, проявляющая подлинную человеческую сущность, но и та сфера, которая противостоит войне. Разразившись в июне сорок первого, она обостряет в герое ощущение неоценимости родной земли, запаха сена, березок, о которых будет вспоминать в предсмертные часы бывший косарь, сменивший косу на винтовку.

В «Севастопольских рассказах», а впоследствии и в «Войне и мире» Толстой показал, как война корежит, обезображивает природу, уничтожая красоту и гармонию, присущую ей. Эту традицию по-своему продолжают Ю. Бондарев, В. Богомолов, Б. Васильев и другие современные прозаики. Жертвой войны становится в одном из рассказов В. Астафьева мирный медведь, случайно угодивший в самое пекло боя («Бедный зверь»). Тупая боль, тоска и недоумение светятся в глазах старой, всю жизнь проработавшей лошади, не понимающей, почему люди «выстрелили в нее из того оружия, которое придумали для себя» («Старая лошадь»). В другом рассказе Астафьева горит во время и после боя многолетний слой хвои и листьев, горит лес, и гибель многолетних красавцев деревьев кажется людям, занятым хлопотами и подготовкой к завтрашнему бою, «игрушечным, нестрашным» делом. Писатель замечает, как пули противника щелкают по ветвям деревьев и мягко входят в плоть их стволов. И сам собой напрашивается вопрос, зачем, для чего природа затратила столько сил, чтобы создать эту красоту мира, в котором «с таким трудом утверждается все полезное, доброе, а безобразное, жадное, злое является вроде бы само собой, расталкивая всех и вся, живет, совершенствуясь в силе и наглости» («Падение листа»).

В. Астафьев стремится, говоря словами М. Пришвина, «понять натуру по себе и сказать о ней себе самому своим человеческим языком». При этом писатель нередко прибегает к сравнениям из военной жизни, чтобы точнее охарактеризовать те явления, которые происходят в природе в мирное время. «Деревья ведут постоянное, тяжелое наступление и закаляются в борьбе, в вечном походе. Иные из них падают, умирают на ходу, как в атаке, и все-таки они идут... Идут вперед и вперед... Низкий поклон им от бывшего солдата российского, который знает, как трудно быть первым» («Марьины коренья»).

Природа помогает персонажам В. Астафьева переносить боль воспоминаний о своих фронтовых товарищах, которые не вернулись с войны. В рассказе «И прахом своим» герой, наблюдая за малютками-елочками, которые запустили свои крошечные корешки в старый, трухлявый пень и которым предстояло умереть, едва народившись на свет, признается: «Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают те, кто пал на поле боя, а ведь были среди них ребята, которые не успели еще и жизни-то как следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поесть, — я думаю о елочке, которая растет в лесу на пне».

Не случайно многие солдаты на фронте в короткие от боя передышки снимали прогорклые от пота гимнастерки и брались за косы, чтобы хоть на мгновение вновь почувствовать красоту мирной жизни и мирного труда, от которого их оторвала война. Труд на земле, вместе со всеми и для всех как источник счастья и душевного здоровья — эта мысль лейтмотивом проходит через произведения Ф. Абрамова и С. Залыгина, Е. Носова и В. Астафьева. «Нас с землей-то первым делом труды роднят», — заявляет один из персонажей В. Распутина. Как сказал в дискуссии о «Прощании с Матёрой» Ю. Селезнев, главная проблема повести сводится к следующему: «Кто мы на этой земле, что для нас эта земля?.. Кто нам земля: мать родная или мачеха? Земля — взрастившая, вскормившая нас — или же только «территория»? Вспомним, что именно так стоит вопрос в повести Распутина: «...Я родился в Матере. И отец мой родился в Матере. И дед. Я тутака хозяин...» — говорит дед Егор... Это голос не «супротив» государственной воли, той, что на его же благо. Он «супротив» «туристического, отчужденного («Тебе один хрен где жить — у нас или ишо где») отношения к земле».

Для героев Распутина и Шукшина, Носова и Можаева, Залыгина и Абрамова труд, жизнь, природа — понятия равноценные, содержащие в себе глубокий этический смысл и противопоставляемые бездуховному «туристическому» отношению к земле. Не случайно понятие «турист» в современной прозе приобретает сатирически обобщенное, чуть ли не символическое зна-

чение. «Туристы» — это те, в ком, по словам В. Астафьева, утратилось благородство, дух дружбы и справедливости к природе, ожирело все в нем от уверенности в умственном превосходстве над нею. «Распоясавшиеся, — пишет автор «Царь-рыбы»,— в стрельбе, пусть даже по зверю, по птице и мимоходом, играючи проливающие кровь, не ведают они, что, перестав бояться крови, не почитая ее, горячую, живую, сами для себя незаметно переступают ту роковую черту, за которой кончается человек и из дальних, наполненных пещерной жутью времен выставляется и глядит, не моргая, низколобое, клыкастое мурло первобытного дикаря».

Именно такие «туристы» топтали, сокрушали, калечили и сжигали знаменитые пинежские леса, устоявшие в войну и в послевоенное лихолетье. И когда Егорше из абрамовского «Дома» открывается унылый вид бесконечных лесных вырубок в прошлом могучего бора, то это производит в его душе переворот, и он начинает чувствовать свою вину за происшедшее. «Долго, несчитанно долго стоял он посреди песчаной дороги, тиская скользкую капроновую шляпчонку в потной руке и пытаясь воскресить в своей памяти картину былого могучего бора, а потом сел на пень и впервые за многие-многие годы заплакал.

Не он, не он отдавал приказы сводить пинежские боры, не он засевал берега сегодняшней Пинеги пнями. Но, господи, разве вся его жизнь за последние двадцать лет не те же самые пни?

Да, двадцать лет он топтал и разрушал человеческие леса, двадцать лет оставлял после себя черные палы... Да, Мамаем прошел он по человеческим лесам, и ему ли сейчас предъявлять счет за пинежские леса».

«Как это ни чудовищно, — пишет Ю. Бондарев, — но человек находится в состоянии смертельной вражды с природой. Вся созданная цивилизацией техника брошена им в бешеную атаку давно начатой войны, и порой самодовольному, жаждущему удовольствий человечеству кажется, что оно, подобно вселенскому полководцу, природу «подчинило», «покорило», «обуздало», «преобразовало», «повернуло на службу себе», «заставило работать» и «победило», не ожидая милостей, а беря у нее все... Неужели нельзя жить с природой в состоянии прочного мира, познавая, а не порабощая ее насилием? Или ограниченное движение мировой цивилизации — это запрограммированное некой силой организованное самоубийство?».

В иной, мягкой, лирической тональности выражает ту же мысль М. Алексеев: «Теперь же душу твою постоянно терзает одна и та же мысль: кто нам, ныне живущим и здравствующим, кто нам дал право приносить в жертву техническому прогрессу хотя бы вон ту стрекозу, которая так доверчиво присела на кончик пальца моей семилетней внучки и привела девочку в безумный восторг, как некогда приводила и меня самого?! Посоветовались ли мы на этот счет с матушкой-природой, давшей жизнь и нам, и этой стрекозе, и неисчислимому множеству других существ, поселившей всех нас в одном общежитии на планете по имени Земля...»

Говоря о «немилосердном избиении природы», совершающемся на наших глазах, В. Астафьев в «Царь-рыбе» вопрошает: «Кто, как искоренит эту давнюю страшную привычку хозяйствовать в лесу, будто в чужом дворе? На севере люди не готовы повсеместно к бережливому промыслу. Да мы сами-то готовы ли? Пощупайте себя за голову — на ней шапка из ондатры, или из соболя, или белки; гляньте на вешалку — там шубка из выдры, пальто с норковым, куньим или хорьковым воротником, муфточка и шапочка снежной белизны из натеребленного лебяжьего пуха. А всегда ли это добыто трудовыми, промысловыми, не рваческими руками?»

«Защита природы,— утверждает Астафьев, — это глубоко человеческая задача, если хотите, это защита самого человека от нравственного саморазрушения». С гневным презрением пишет В. Астафьев о тех, кто утратил чувство кровной связи с землей, которая не только кормит, поит, одевает и принимает в свое лоно человека после его смерти, но и формирует его личность, делает человеком в подлинном смысле слова: «А как умеют и любят у нас, увы, не только по деревням воротить рыло от тех, кто выполняет грязную работу, забывая, что все на свете от земли, растет на земле, а она, между прочим, грязная, и на поля, между прочим, кладут душной навоз, чтоб хлеб уродился, картошка, овощи, чтоб есть было чего».

«В одном российском городе видел я на воскреснике выразительную картину: современное стеклобетонное здание института, перед ним в модных штанах, в красивых плащиках, с навойлоченными прическами, разукрашенные, распомаженные девицы мели землю. Как они ее, бедную, мели! Каждая из девиц старалась как можно брезгливей, манерней, то подмышкой, то в одной ручке, обтянутой замшевой перчаткой, то уж вовсе как-то неприлично —

студентки изображали отстраненность от труда и от земли...»

Отношение к земле определяет нравственный уровень героев современной прозы и делит их на две противоположные категории. С одной стороны — это распутинский Жук, заботящийся в первую очередь о туристах, которые поплывут по затопленной Матёре, и плюющий на самое святое, что есть у матёринцев. Это и Гога Герцев в «Царь-рыбе» Астафьева, «турист» по профессии, который никогда не считал людей ни друзьями, ни товарищами и который был, по его собственному признанию, «свободной» личностью. Это и Веня Китасов из повести В. Потанина «На чужой стороне», утверждающий, что «туристы» — самый веселый народ в мире и что жизнь на то и дана, чтобы поездить по свету, людей посмотреть и себя показать. Это и Орозкул из повести Чингиза Айтматова «Белый пароход», которому всегда было сладко слышать, как называют его «большим хозяином большого леса» и который зверски расправляется не только с этим лесом, но и с Рогатой матерью-оленихой, чьими детьми считали себя старик Момун и его внук. Это и Федор Ипатович из повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», который хотя и живет на одном месте и не скитается по свету, подобно Гоге Герцеву или Вене Китасову, но мыслит точно так же, как и «туристы», избивающие кроткого, незлобивого «бедоносца» Егора Полушкина, вставшего на защиту леса и заплатившего за это жизнью.

«Туристы», вроде Гоги Герцева или Вени Китасова, на первый взгляд могут даже вызвать симпатию. Они не мещане, не скопидомы, они кажутся «сильными» личностями да и сами любят утверждать это. Им свойственна жажда нового, стремление повидать мир и людей. Однако не случайно эпиграфом к главе, в которой рассказывается о трагическом конце Гоги Герцева, Астафьев взял слова У. Мэккина, проникнутые едким сарказмом, издевательской иронией: «Было время, когда туристов и видом не видывали и слыхом не слыхивали... А еще того раньше, если людям попадался турист, они или тут же забивали его, или требовали за него выкуп на том веском основании, что он, наверное, вражеский шпион. И, как знать, может, только так с ними и надо было обращаться».

Слова эти многозначительны. При внимательном рассмотрении оказывается, что «туристы» при всей внешней броскости и внушительности вовсе не являются «сильными» личностями, за которых они выдают себя. Главное для них — урвать свой кусок мяса, ради которого они, как это происходит в повести Ч. Айтматова, готовы пожертвовать чужой жизнью. При этом хищническая их сущность раскрывается в каждом отдельном случае по-разному. У Айтматова и Васильева открыто, эмоционально, с ярко выраженным негодующим пафосом. У Астафьева тонко, почти незаметно доказывается, что индивидуализм Гоги Герцева саморазрушителен по своей природе. При этом Астафьев отнюдь не стремится столкнуть Гогу Герцева с его антиподом Акимом в прямом словесном поединке. Явно учитывая уроки Достоевского, писатель предпочитает подводить в финале итоги непосредственной реализации жизненной философии своего героя. В отличие от В. Астафьева В. Потанин на протяжении всей повести сталкивает Веню Китасова с односельчанами. В словесных перепалках последние пытаются образумить Веню, наставить его на путь истинный. «Господи, како время пришло, — вздыхает тетка Анна. — Каки дети-то у нас появляются — туристы каки-то... Как жить-то с такими». Хранительница своего и Вениного дома, Анна с горечью вспоминает, как мать Вени всю жизнь «дорожила своим гнездышком, все скребла, скребла на него... Без нее не стоять бы этому дому, не лежать бы этим сосновым бревнышкам». Заботливая бережливость покойной Вениной матери не имеет ничего общего с мелочным скопидомством самодовольных мещан. Понятие дом здесь, как и в романе Ф. Абрамова, в повести Распутина, приобретает символический смысл.

Задумывается о своих детях, ушедших из деревни в город, и герой рассказа С. Воронина «Родительский дом»: «И все же не покидает меня мысль, кому дом? Кому сад? Жалко, если все это будет снесено, а земля перепахана. Не могу смириться, что дом наш родительский, веками ставленный, после смерти моей пропадет начисто, а вы где-то затеряетесь на большой нашей земле. Не могу! И все думаю... Или все, что делалось мной и матерью вашей,— все наши хлопоты, старания были только порогом, чтобы уйти в другую жизнь? «Необратимый процесс» — может, в этом ответе нашего председателя и есть великая мудрость. Да и зачем оборачивать, к лаптям, что ли, возвращаться? Так что же, значит, и верно, конец моей Ветлужке? Отжила свое, и жалеть нечего? И вся та жалость, которая томит меня, зряшная жалость? И жалею, может, и не деревню, а ту жизнь, что прошла в ней?».

В финале герой Воронина догадывается, что главное в человеческой жизни — это земля, на которой родительский дом стоит, что именно земля и является тем общим домом, в котором живут и трудятся испокон веку люди.

В отношении к родному дому, к родной земле раскрывается нравственная сущность человека. И если человеку не жаль родного дома, где гарантия, что он может когда-нибудь пожалеть родную мать, Родину? Пожар, случившийся в доме Вени Китасова, поразительно напоминает аналогичную сцену в «Прощании с Матёрой». Однако в отличие от Распутина Потанин не ставит своих героев в экстремальную ситуацию: здесь жителям не грозит никакое затопление. Гибель дома — естественное следствие потери хозяина, утраты хозяйственного отношения к земле. Об этом и предупреждала тетка Анна Веню Китасова: «Чё болташь — дом живет при хозяине. А ты полева камышинка, посохла вся, высохла. Сейчас тебя ветер подымет да бросит. Думаешь, сам по городам ездишь-леташь? Нет, не сам, дорогой соседушко. Тебя ветром кружит да подымат. Да скоро так раскружит, подымет да бросит, што и свет не взгорит в твоих глазоньках». Об этом же говорил герою и Степан: «Все мы, Венко, на этом свете — туристы проезжие. Только кто куда едет. Больша в том разница, Венушка. Можно всю землю объехать, да приехать с пустым. Можно на одном месте сидеть да нажить большу душу. Да ты не поймешь... Ты ведь у нас гордячок да всех лучше».

Тщеславие и гордыня роднят потанинского Веню с Командором и Игнатьичем В. Астафьева, Орозкулом Ч. Айтматова, Федором Ипатовичем Б. Васильева и другими «туристами» в современной прозе. Но их роднит и нечто более важное — бесславный трагический конец. Случайно поскользнувшись, погибает в тайге «сильная» личность Гога Герцев, подтверждая тем самым мысль о том, что случайность — это проявление закономерности. Спивается в городе непонятый гений Веня Китасов, мечтавший когда-то покорить мир своими картинами. Попадает в крючья собственных самоловов Игнатьич, гниет заживо после трагической гибели дочери Командор, запираясь в каюте и мусоля распухшими пьяными губами портрет покойной дочери. Бездуховное отношение к жизни («после нас хоть потоп»), порождаемое непомерным честолюбием, гипертрофированным самомнением, приводит этих антигероев к ощущению бессмысленности существования, к духовной деградации и физической гибели.

К другой категории людей относятся Иван Африканыч В. Белова, Аким В. Астафьева, старуха Дарья В. Распутина, Михайло Беспалов из рассказа Шукшина «Светлые души», Егор Полушкин Б. Васильева. Они органически неспособны руководствоваться формулой «после нас хоть потоп». Вечные труженики, они никогда не уклоняются от жизненных невзгод, щедро выпадающих на их долю. Их корни — там, где родной дом, в котором жили и трудились их деды и прадеды. И куда б человек ни уезжал от родных мест, размышляет герой рассказа В. Потанина «Тишина в пологих полях», они всюду будут жить в нем до последнего вздоха. «И в этом радость, успокоение и тот смысл, который многие ищут... Да что долго рассказывать, и так каждому ясно: есть дом у тебя — и есть в тебе человек, нет дома — нет в тебе человека, одна тень...»

В отличие от бездомных «туристов» эти герои не просто связаны с землей, им свойственно пронзительное чувство ответственности за все, что совершается на ней. «Эта земля-то рази вам однем принадлежит?— спрашивает бабка Дарья в «Прощании с Матёрой». — Эта земля-то всем принадлежит — кто до нас был и кто после нас придет... А вы чё с ей сотворили? Вам ее старшие поручили, чтоб вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют. Старших не боитесь — младшие спросют»...

Несмотря на неимоверные трудности и бесчисленные лишения, эти герои в отличие от «сильных» личностей, «туристов», способны не только вынести все невзгоды, но и не потерять своей человечности, участия к людям, ко всему живому вокруг них. «Дело привычное, — размышляет Иван Африканыч, спасая замерзшего на зимнем морозе воробья и отогревая его на собственной груди. — Жись. Везде жись. Под перьями жись, под фуфайкой — жись. И все добро, все ладно. Ладно, что я родился, ладно, что детей народил. Жись, она и есть жись».

Современные прозаики продолжают традиции не только русских классиков прошлого века, но и традиции старшего поколения советских художников: Л. Леонова, К. Паустовского. «А что воспитывает широту духа, как не эта удивительная природа! — говорил автор «Повести о лесах» устами одного из своих героев более четверти века назад. — Ее нужно беречь, как мы бережем самую жизнь человека. Потомки никогда не простят нам опустошения

земли, надругательства над тем, что принадлежит не только нам, но и им по праву». Мучительную трагедию переживает герой «Повести о лесах» П. И. Чайковский, когда становится свидетелем варварского уничтожения леса — неиссякаемого источника поэтического вдохновения. По своей щемящей тональности сцена эта напоминает аналогичную картину в романе «Русский лес», когда лесопромышленник Кнышев собственноручно срубает вековую сосну.

Так уже в конце сороковых и начале пятидесятых годов возникает в нашей литературе ставшая сейчас столь актуальной тема борьбы за охрану окружающей природы, в том числе и русского леса, о значении которого для России пламенно говорил в романе Л. Леонова Иван Матвеевич Вихров: «Лес — это самый верный наш помощник в борьбе за урожай... Лес кормил, одевал, грел нас, русских... Со временем, когда из материнского вулкана Азии, пополам с суховеями и саранчой, хлынет на Русь раскаленная человеческая лава, лес встанет первой преградой на ее пути».

Как бы продолжая эту мысль, В. Распутин в одном из интервью подчеркивал значение сибирских богатств для жизни всей страны: «Сибирь невозможна без величавой Ангары, — об этой реке мы должны заботиться постоянно. Сибирский лес также нуждается в тщательной охране и уходе. Многое в этом важнейшем деле оставляет желать лучшего. Словом, все это проблемы охраны окружающей среды — вопросы всенародной и государственной важности. Писатель не может проходить мимо того, что волнует всех. Это есть гражданственный и литературный долг».

В «Прощании с Матёрой» есть символический эпизод, в котором рассказывается о неравной борьбе пожогщиков с «царским лиственем», стойко выдерживающим и топор, и пилу, и огонь. И когда наконец, отчаявшись свалить его, мужики отступились, он «один выстоявший, непокорный... продолжал властвовать надо всем вокруг». «Царский листвень» выступает здесь как символ вечно живой природы, одолеть которую человек не властен. Сцена эта проникнута пафосом осуждения тех, кто еще не понял, что природа не враг человеку, что она способна отплатить за хищническое обращение с ней если не прямым своим обидчикам, то их потомкам.

«Прислушаемся же к земле, — призывает грузинский писатель О. Иоселиани. — Сердцем приникнем к ней, поделимся своими печалями, узнаем про ее заботы. Научимся чувствовать ее характер, постараемся постигнуть ее психологию, даже, если хотите, философию, а дальше поступим по поговорке: выслушай сто советов, но сделай, как подскажет тебе сердце... Любому клочку земли нужен хозяин! Который знал бы о ней все — и плохое, и хорошее. Кто слышал бы ее и во сне, и наяву. Сердцем понимал ее невысказанную обиду, боль, радость».

Как видим, прежние рассуждения о покорении природы и ее подчинении в наши дни не только лишены здравого смысла, но вредны и с практической, народнохозяйственной точки зрения. В общественном мнении утверждается мысль, что человек не должен воевать с природой, что она не враг ему, ибо он сам есть часть природы. И потому жизнь заодно с землей, как писал А. Яшин, любовное участие в ее трудах и преображениях делают человека проще, мягче и добрее: «Я не знаю другого рабочего места, кроме земли, которое бы так облагораживало и умиротворяло человека».

В художественной сфере это новое отношение к земле и природе впервые проявилось более полувека назад в творчестве М. Пришвина, совершившего, по словам В. Кожинова, исключительно важный перелом в художественном видении самого соотношения человека и природы: «Пришвин утверждает всем своим творчеством, что борьба с природой и господство над ней — это цель человека, еще не достигшего зрелости, «взрослости», точно так же, как и подчинение природе, признание ее безусловного господства. Единственно верное решение, воплощенное в художественном мире Пришвина, — своего рода обручение созревшего человека с природой, то подлинное обручение, которое не терпит никакого насилия, никакого господства или подчинения».

Одна из сложнейших творческих задач, стоящая перед настоящим художником, по мнению Пришвина, заключается в том, чтобы показать «гармоническое сочетание человеческого образа с природой», чтобы «искать и открывать в природе прекрасные стороны души человеческой». Понимая самобытность своих творческих принципов, Пришвин был убежден, что семена, посеянные его книгами, дадут в будущем небывалые всходы. Время подтвердило его правоту.

О том, что связь с землей, с природой способствует преодолению человеком психологической отчужденности, «восстановлению нарушений гармонии» (М. Пришвин),

говорится в целом ряде произведений, появившихся в последние годы.

«Я замер от собственного, как мне казалось, окружающего меня восторга, — признается герой рассказа В. Белова «Чокполучок», стоя на берегу реки ранним осенним утром.— Солнце всходило. Сколько лет я не видел восхода? Да, я счастлив: впереди целый день и еще день в этой тишине вдвоем с Тоней, с шелестом первого несмелого листопада, с прозрачностью этого воздуха, с этой грибной, лиственной и речной свежестью».

«Когда все в природе обретает ту долгожданную миротворность, когда слышно лишь младенчески-чистую душу ее, — говорит В. Астафьев в повествовании «Царь-рыба», — в такие минуты остаешься как бы один на один с природою и с чуть боязной тайной радостью ощутишь: можно и нужно, наконец-то, довериться всему, что есть вокруг, и незаметно для себя отмякнешь, словно лист или травинка под росою, уснешь легко, крепко и... улыбнешься давно забытому чувству... Мы внушаем себе, будто управляем природой и что пожелаем, то и сделаем с нею. Но обман этот удается до тех пор, пока не останешься с тайгою с глазу на глаз, пока не побудешь в ней и не поврачуешься ею, тогда только и воньмешь ее могуществу, почувствуешь ее космическую пространственность и величие».

Оказавшись наедине с весенним майским небом, с молоденькой березкой, что-то по-детски лепетавшей, лирический герой Ю. Бондарева чувствует, что он разговаривает «с березкой и небом, но не словами, а чувством нашей общности, пониманием, преданностью друг другу, что выразить звуком голоса невозможно» («Тень смысла»).

Один из персонажей повести В. Шугаева «Петр и Павел» как о самом заветном мечтает оторваться от неотложных дел, исчезнуть на какое-то время в тайге, остудить ладони в ее росе и осознать бесплодность своей суетной жизни, постыдность мелочных поступков, устыдиться собственного малодушия. «Понимаешь? Потихоньку возвышаемся до природы. То есть, Паша! Природа не допускает к себе, пока не раскаешься. Заметил ты это или нет? Прямо насильно заставляет в чем-нибудь да раскаяться. И охоты у тебя такой не было, и все грехи свои давно забыл, а увидишь какую-нибудь синенькую сопочку, кривую сосенку на ней, и слева защемит, защемит. Сразу пожалеешь кого-то, может, себя, — до слезы иногда пожалеешь. Помучишься, помучишься этой безымянной жалостью да и спохватишься, поймешь: не жалеешь ты, а стыдишься. И слов заносчивых, когда-то сказанных, и дел неправедных, когда-то сделанных».

О целительном воздействии природы на человека размышляет и лирический герой В. Личутина: «Природа — лекарь, она подвигает нас к исповеди, к самоочищению, не дает заскорузнуть душе, она перемещает годы, возвращает вдруг детство, вызывает умиление и безотчетную улыбку и слезы: один лишь взгляд на нехитрый русский пейзаж вдруг переворачивает наше сердце с такою силою, что горло сожмет судорогою и нет мочи дышать; мы ведь и возвращаемся на родину каждый раз затем, чтобы обновить, подлечить, успокоить душу и приготовить себя к дальнейшей жизни».

Подобные исповеди можно обнаружить и в книгах В. Шукшина, Ф. Абрамова, В. Распутина, на страницах которых появляется во всей своей красе и могуществе Сибирь с ее лесистыми сопками, зарослями багульника, непролазной тайгой и бурлящими реками — Енисеем, Ангарой, Катунью. Персонажей этих прозаиков объединяет одно — встреча с природой отнюдь не означает их бегства от жизни, от реальных проблем, требующих своего разрешения. Напротив, наедине с природой герой начинает по-новому смотреть на самого себя, на привычные, ставшие обыденными явления, а нередко и пересматривает прежнее отношение к ним. По словам С. Залыгина, оставшись один на один с природой, человек «особенно остро переживает и чувствует свою причастность к роду человеческому. Вообще на природе человек гораздо больше и глубже размышляет о себе, о человечестве, чем в повседневных заботах и тревогах. Это давно известно и тем не менее всегда ново, всегда хочется об этом говорить».

«Человек связан с природою тысячью нитей» — эта тургеневская заповедь оказалась основополагающей для современных прозаиков. Свою нерасторжимую связь с окружающей природой ощущает героиня повести Е. Носова «Шумит луговая овсяница». «В детстве из лесов-лугов не вылазили, — признается она. — В детстве — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... А вот то дергач... Послушай, как он...» Сокровенно-любовное отношение ко всему живому вокруг придает этой простой женщине очарование и оду-

хотворенность: «Я поле люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще серо, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет, видно... А то когда еще дождь в мае... — задумчиво шепчет Анфиска. — Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка... И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается над ним... И хлеба на глазах рослеют... А в лесу кукушка без устали... Дождь, а она будто и не замечает...»

В свое время описание раннего летнего утра в рассказе Тургенева «Живые мощи» Т. Манн назвал «обворожительным примером наслаждения природой и радостно-здорового ощущения жизни, свойственного русскому человеку». Эти слова с полным правом можно отнести и к повести Е. Носова. Поэтическая картина затихающей лунной ночи помогает писателю раскрыть духовную красоту своей героини, ее способность к состраданию, позволяющую ей понять другого одинокого и не очень счастливого в личной жизни человека — Павла Чепурина. «У тебя хорошие руки, Паша,— проникновенно говорит она, сочувствуя его нелегкой жизни.— Добрые... И травой пахнут... По рукам можно узнать, любит человек или не любит... Человек может сказать неправду, а руки — нет».

А. Доде, отмечая в прошлом веке высокие душевные свойства тургеневских героев, утверждал, что «русские степи пробудили чувства в сердце Тургенева. Человек становится лучше, когда он внимает природе, тот, кто любит ее, не может быть безучастен к людям. Вот чем объясняется сострадательная доброта, сквозящая в книгах славянского романиста, доброта печальная, как мужицкая песня». Подобная «сострадательная доброта» пронизывает многие произведения Е. Носова, в том числе и повесть «Шумит луговая овсяница», героиня которой ведет свою родословную от тургеневской Лукерьи, восхитившей в свое время Жорж Санд своей неизбывной душевностью.

Близок к Анфисе по складу характера и мироощущению Касьян из повести «Усвятские шлемоносцы», нежно любящий колхозных лошадей и отдающий любимой кобыле кусок хлеба перед уходом на фронт. Многим героям Е. Носова, Ф. Абрамова природа помогает постигать смысл жизненного предназначения, открывать закономерности человеческого бытия.

Задумываясь над тем, для чего живет человек, Иван Африканыч в повести В. Белова «Привычное дело» размышляет: «И лес был, и мох, а его не было, ни разу не было, никогда не было, так не все ли равно, ежели и опять не будет?» В сущности, здесь Иван Африканыч ощупью, исподволь натыкается на столь распространенную в современной модернистской литературе мысль об абсурдности человеческого существования. Однако писатель категорически отрицает тезис о бессмысленности бытия и утверждает идею непрерывности и целесообразности жизненного круговорота. Его герой приходит в конце концов к выводу, что и лес, и озеро останутся после него, и снова наступит осень, а за нею и весна, и вновь будет глухо крякать отощавший за зиму глухарь: «Выходит, жись-то все равно не остановится и пойдет как раньше, пусть без него, без Ивана Африканыча. Выходит, все-таки, что лучше было родиться, чем не родиться».

Это — вывод человека, чья жизнь, как и жизнь его жены Катерины, многих односельчан, была наполнена неимоверными трудностями и лишениями, бесчисленными невзгодами и страданиями. Однако Иван Африканыч за своими личными невзгодами как бы прозревает неведомую осмысленность жизненной эволюции, веря в то, что добро одолеет зло. Есть эта вера в природе русского человека, утверждал в свое время М. Пришвин.

Задумывается над смыслом земного существования и Алеша Бесконвойный в одноименном рассказе В. Шукшина. Растапливая в субботу печь в бане, он размышляет: «Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково... Да два полена и то сгорают неодинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково! Или еще он сделал открытие: человек, помирая, — в конце самом — так вдруг захочет жить, так обнадеется, так возрадуется какому-нибудь лекарству!.. Это знают. Но точно так и палка любая: догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даешься, откуда такая последняя сила?»

Любовь к природе согревает душу Алеши, вливает в него новые силы: «Но вот бывает: плохо с утра, вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнем сверху... И так вдруг обогреет тебя нежданная радость, так хорошо сделается, что станешь и стоишь, и не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день... Стал случаться покой в душе — стал любить. Людей труднее лю-

бить, но вот детей и степь, например, он любил все больше и больше».

Как самую лучшую минуту своей жизни вспоминает герой Шукшина то далекое время, когда его маленькая дочка сочинила стишок:

Белая береза
Стоит под дождем,
Зеленый лопух ее накроет,
Будет там березке тепло и хорошо.

Любя детей, особенно маленьких, Алеша не переставал удивляться мудрости природы, порождающей эти беспомощные существа: «Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж правда, что стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся. Впереди много всякого будет — никаким умом вперед не скинешь».

Изумление перед мудростью живой природы испытывают и герои В. Астафьева. «До чего же мудра жизнь!.. Цветы стоят, как детишки в ярких шапочках, с завязанными ушами, и не дают холоду сжечь семена... Вся сила этого цвета идет на то, чтобы сберечь семена, и они не откроются во всю ширь, не зазеваются на приветливо сияющее солнце. Они не доверяют этому солнцу. Они слишком много перенесли, прежде чем пробудились от зябкого сна среди голых, прокаленных стужею камней» («Марьины коренья»).

Герои Е. Носова, В. Шукшина, В. Астафьева не утратили детской способности воспринимать окружающий мир во всей своей новизне и свежести. В детстве человек наиболее чуток к таинствам земли, ее красотам. Иной мальчуган, повествует М. Алексеев в романе «Драчуны», «может вдруг остановиться посреди лесной поляны и, расцветши в тихой улыбке, разлепивши губы, полуоткрыв рот, долго внимать птичьему разноголосью... А иная девчонка, приметив какой-нибудь цветок, непременно присядет возле него на корточки и начнет скликать подружек, чтобы и они подивились редкостному сочетанию красок на влажном, напоенном росою лепестке этого цветка».

В детстве земля не только сфера, полная неизъяснимых чудес и загадок, это еще и источник энергии, физического здоровья. С ранней весны и до поздней осени впитывают деревенские детишки «животворную энергию земли через босые ороговевшие пятки» (В. Личутин), не зная, что такое простуда или насморк. И не случайно А. Яшин в одном из своих рассказов приходит к мысли, что ему «почему-то жаль иногда своих детей. Жаль, что они, городские, меньше общаются с природой, с деревней, чем мне хотелось бы. Они, вероятно, что-то теряют из-за этого, что-то неуловимое, хорошее проходит мимо их души» («Угощаю рябиной»).

Как о самом важном, значительном событии, запечатлевшемся в детской памяти, рассказывает В. Астафьев о том, как собирали и вязали на зиму березовые веники, пахнувшие таежным летом и веселившие ребячьи сердца. «И всю зиму березовый веник служил свою службу людям: им выпаривали пот из кожи, надсаду и болезни из натруженных костей. Мужики, что послабже, да квелые старичишки надевали шапки, рукавицы, парились часами и, не в силах преодолеть сладкой истомы, омоложения души и тела, запаривались до беспамятства» («Родные березы»).

В романе Ф. Абрамова «Дом» природа живет единой жизнью с людьми, сочувствуя им в их горестях и несчастьях. Когда кончается старик Евсей, грозные раскаты грома сотрясают небо, а землю орошает долгожданный ливень, в котором набожные старушки видят особое знамение. А когда хоронят героя двадцатых годов Калину Ивановича, солнце, которое не проглядывало уже несколько дней, пробилось сквозь осенний обложняк, чтобы встать на караул у могилы Калины Ивановича. Так по-своему продолжает писатель традиции русской литературы, в которой, начиная со «Слова о полку Игореве», природа неизменно проявляла живое участие к человеческим судьбам.

Чудо единения человека с землей, привлекающее внимание многих современных прозаиков, это отнюдь не выдумка эстетствующих беллетристов, оторванных от реальной действительности. Чудо это заключает в себе глубокий социальный смысл. Именно тогда, когда человек начинает сознавать себя частью окружающей природы, звеном в человеческом сообществе, когда он начинает ощущать свою неотделимость от общей жизни, в нем происходит духовный рост, этическое созревание, гражданское становление личности.

Петр ТАТАУРОВ

ПЕРЕСТРАИВАТЬСЯ ПО СУТИ

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ПОЧТОЙ «ДИСКУССИОННОЙ ТРИБУНЫ» И НЕКОТОРЫМИ ПУБЛИКАЦИЯМИ НА ЗАТРОНУТУЮ В НЕЙ ТЕМУ

ПОД РУБРИКОЙ «Дискуссионная трибуна» в нашем журнале (№ 3, 1985 г.) начался разговор о драматургии в театре и кино, на телевидении и эстраде. За полтора года здесь выступили С. Овчинникова, А. Ланщиков, М. Любомудров, Ю. Гладильщиков, В. Бондаренко, А. Бобров.

Самым «сейсмичным» оказалось выступление ленинградского критика Марка Любомудрова. Больше всего писем пришло после публикации его статьи «Театр начинается с Родины» (№ 6, 1985), «срезонировала» на нее и периодическая печать — «Советская культура» (18 июля 1985), «Правда» (1 августа 1985), трижды «Литературная газета» (7 августа 1985, 12 и 19 февраля 1986), дважды журнал «Театр» (№ 11, 1985; № 3, 1986). Мнение читателей и выступивших в прессе деятелей театра полярно разделились: первые единодушно поддержали автора статьи, озабоченного состоянием нашего сценического искусства, вторые столь же единодушно отвергли позицию М. Любомудрова, считая, что он излишне сгустил краски, сделал поспешные выводы.

Разлад явный: театральные критики пописывают-похваливают театр, а читатели почитывают-похмыкивают, но думают все же иначе...

Что же беспокоит М. Любомудрова и наших читателей? Прежде всего картина лишь видимого благополучия в театре («внешне кипучая работа», идущая на самом деле «на холостом ходу»), расстройство театрального механизма «во всех звеньях», отсутствие достойной нашего времени драматургии, засилье комплиментарной критики, появление касты «неприкасаемых», о которых «почти невозможно напечатать что-либо критическое», «уровень нравов в театральной среде»...

Анализируя эту ситуацию, автор неизбежно касался и мест весьма чувствительных для самолюбия многих театральных деятелей, поднимал вопросы болезненные, ворошил проблемы запущенные, давно не решаемые... Театральная критика, к сожалению, всего этого не исследовала, хотя вряд ли не видела очевидного неблагополучия. Одним не хватало мужества, другие понимали бессмысленность подобной затеи — никто не станет печатать статей, похожих на разоблачения, третьих устраивало положение приживал, «дежурных аллилуйщиков», кормящихся со стола «патронов». А в результате страдал театр. Творческие удачи становились все реже, терялись ориентиры, их заменяли болотные огоньки своей и заемной пошлости, и звучный шум фанфар по поводу очередной художественной «победы» резал слух даже рядовому зрителю. Театр мельчал, не находя полноценного художественного эквивалента нашему времени, героя, выражающего нравственные устремления эпохи.

И вот прозвучало тревожное слово М. Любомудрова, пригласившего всех нас подумать о судьбах нашего театра. Однако начавшийся «обмен мнениями» выявил не столько общее желание поправлять положение, сколько тревожную глубину пропасти, разделяющей театр и зрителя. А самое печальное оказалось в том, что театр, как капризный больной, не только отметает какие-либо советы по лечению недугов, но и не желает выслушивать что-либо о собственном состоянии здоровья. Отсюда и тон полемики с М. Любомудровым.

Выступившие от имени театра уклонились от обсуждения проблем, изложенных в статье ленинградского критика, торопясь навалиться на автора со всевозможными обвинениями, в подтексте которых звучал лейтмотив: не трожьте Мейерхольда, не

задевайте наших лидеров, не касайтесь заповедных зон, если хотите уцелеть, — вы же видите, что силы неравны, с нами мощь печатного слова... При этом развитое чувство локтя, цеховое большинство внушили им уверенность в победе если не умением, то непременно числом. И посыпались статьи-опровержения со взаимными ссылками друг на друга. Так, М. Котовская кивала на журнал «Театр», где «пять лет назад... было помещено письмо одиннадцати режиссеров, актеров и критиков, которые протестовали против односторонней оценки деятельности Всеволода Мейерхольда в театроведческих работах М. Любомудрова», А. Нуйкин — на А. Степанову, цитируя ее слова (думается, по недоразумению), которые она предназначала не М. Любомудрову, а совсем другому человеку, Ф. Чапчахов — вообще на партийную печать, в частности имея в виду выступление М. Котовской и А. Степановой; Ю. Дмитриев...

Вот статью Ю. Дмитриева «Театроведение требует ответственности» («Театр» № 11, 1985) нужно прокомментировать ввиду ее наиболее очевидных слабостей, характерных для сегодняшней критики, особенно по части аргументации, анализа, выводов.

Признавая, что «есть в репертуаре наших театров пьесы слабые, художественно беспомощные», автор статьи сожалеет, что «современный герой во всем своем значении не показывается на сцене». Но тут же, вопреки сказанному, уверяет нас, что не все, мол, так уж и плохо, как пытается представить ленинградский коллега: «...разве весь репертуар советского театра, созданный современными драматургами, неудовлетворителен? Неужели все — драматургические пустяки, о которых и говорить серьезно не стоит?» — возвышает он голос.

Ну, во-первых, М. Любомудров говорит не обо всем советском театре, а лишь о части его — русском (об этом сказано уже в первом предложении статьи: «Как долго современный р у с с к и й театр будет с завистью взирать на литературу?»). А во-вторых, и в репертуаре русского театра он видит не т о л ь к о плохое, хотя именно плохое, тревожное и стало объектом его пристального анализа. И, в-третьих, опровергая, не худо бы привести примеры обратного порядка, хоть какие-нибудь. Читаешь абзац, другой... Аргументов все нет и нет. Есть новый всплеск благородного негодования: «Где, когда М. Любомудров видел такие пьесы на сцене советского театра? Извините, но это неправда, поклеп на советский театр, и иначе это заявление нельзя воспринимать!»

Впрочем, один аргумент Ю. Дмитриев все же нашел. А то ведь странная картина получается: «современного героя во всем своем значении» нет, а кто же тогда должен воспитывать у зрителя высокие нравственные чувства? Выручил А. Гельман, который «через показ отрицательных явлений призывает вести с ними борьбу, он делает это ради утверждения высокой морали».

Но насколько плодотворен такой путь? Если следовать логике Ю. Дмитриева, то, чтобы пробудить целомудренные чувства, вызвать отвращение к похоти, извращениям, пошлости, нужно повсеместно распространять какой-нибудь порнографический журнал, дабы все воочию убедились, как гадко все, что публикуется на его страницах. Других путей утверждения высокой морали в практике современного русского театра критик не находит. А ради этой идеи он упоминает даже гоголевский «Ревизор», в котором, мол, тоже «нет ни одного положительного персонажа».

Тут чувство историзма несколько подвело Ю. Дмитриева: и писатели творили в разные исторические эпохи, и персонажи их произведений жили и действовали в совершенно разных социально-классовых условиях. Да и не стоило для оправдания пошлости той же гельмановской «Скамейки» тревожить тень великого художника.

Очевидная путаница у Ю. Дмитриева и с понятиями «новое» и «левое» применительно к искусству. «Выводы М. Любомудрова в корне расходятся с политикой, которую проводила партия и Советская власть по отношению к «левому» искусству, — пишет он. — Как известно, В. И. Ленин советовал, по воспоминаниям А. В. Луначарского, «поддерживать и то новое, что родится под влиянием революции».

Позвольте, но разве «новое» и «левое» для В. И. Ленина были синонимами? Разве «новое» для Ю. Дмитриева — это только «левое», только то, что рождалось под знаменем ЛЕФа, в мастерских футуристов и прочих авангардистов?

«...Прошу Вас помочь в борьбе в футуризмом и т. п., — писал В. И. Ленин М. Н. Покровскому. — ...Нельзя ли это пресечь? Надо это пресечь... Киселиса, кото-

рый, говорят, художник-*«реалист»*, Луначарский-де опять выжил, проводя-де футуриста и прямо и *косвенно*. Нельзя ли найти надежных *анти*футуристов?»

Не скрывая своего отношения к «левому» в искусстве, В. И. Ленин и в записке к А. В. Луначарскому по-партийному принципиально и литературно весьма образно оценивал его позицию в этом вопросе: «А Луначарского сечь за футуризм».

И уж совсем ниже всякой критики такая аргументация у оппонента М. Любомудрова: «мне подобного ранее читать не приходилось», «я просто не понял», «и просто развожу руками, когда читаю...», «такое утверждение встречаю впервые».

И вот под всем этим «анализом» К. Щербаков подводит итоговую черту: «Статья М. Любомудрова «Театр начинается с Родины» уже достаточно широко и определенно» проанализирована «нашей прессой»...

Вглядись, уважаемый читатель, в эту выразительную иллюстрацию возникновения монополии на определенную точку зрения, подивись, как благородная идея коллективизма превращается в реальность групповых интересов.

А как читатель оценивает подобный «анализ»?

«...У меня вызвали недоумение резкие выпады в адрес автора статьи, предпринятые со страниц печати, в которых М. Любомудров обвиняется в организации групповщины, в противопоставлении «своих» писателей «чужим», в искажении исторической правды.

Я взял книгу А. Гладкова, на которую ссылается М. Любомудров, и прочитал то место, где описываются «новации» В. Мейерхольда в период постановки «Бориса Годунова», и убедился в правоте автора статьи, когда он излагает тенденцию В Мейерхольда в постановке русских классических пьес.

Обвинения в адрес М. Любомудрова кажутся мне надуманными, странными, тем более что партия в своих решениях по литературной критике требует подходить к оценке литературных произведений и постановок пьес в театрах партийно, с классовой точки зрения, а не захваливать тех или иных авторов и режиссеров.

В. Петров, рабочий, член КПСС».

«...Мы возмущены публикацией М. Котовской... доктор искусствоведения прибегает к запретному приему: она игнорирует главное содержание статьи (М. Любомудрова.— **П. Т.**)... а тем самым и всю систему аргументов и доказательств, происходит безжалостное и целеустремленное уничтожение всей конструкции статьи. Из этих обломков М. Котовская строит свое содержание, приписывая его М. Любомудрову...

А между тем заслуженному деятелю искусств Российской Республики следовало бы проявить больше внимания к выдвинутой на обсуждение проблеме жизнеспособности *русского национального театра*.

...из всего многонационального богатства избран именно русский театр. Или это запретная тема?! Или не обязательно помнить, что многонациональное искусство потому и многонационально, что предлагает гармоническую совокупность национальных культур, при условии, что в общую сокровищницу культуры каждая нация *бережно* вносит свой неповторимый вклад?

Вот почему критик должен слышать «пульс» национальной культуры. Стоит почитать, например, журнал «Советская Грузия», и вы ощутите, сколько внимания проявляют современные специалисты в области искусства к жизни своей национальной культуры, как заботятся о ее «здоровье». Вряд ли нашлась бы «грузинская Котовская», которая обрушилась бы на «грузинского Любомудрова» только потому, что он озабочен «состоянием здоровья» национальной классики. А русская классика постоянно пребывает на столе «хирургов» от режиссуры, и кромсают ее, бедную, и учителя и ученики.

Тема русской классики в театре и актуальная, и больная, она волнует всех нас. Мы на едином дыхании читали блестящую статью М. Любомудрова. Статья пробуждает высокие гражданские чувства, дает убедительную картину связи «большой литературы» и лучших произведений драматургии, обнажает проблемы искусства как средства воспитания подрастающего поколения.

К великому сожалению, наши дети, которые умеют читать, писать и говорить по-русски, не только очень плохо знают русскую классику, хуже того — они не испытывают потребности наслаждаться ею, черпать из нее в ответственные моменты жизни разумное, вечное, доброе, потому что их не научили видеть и чувствовать

в литературе своего вечно живого прадеда и деда, не привили ощущения «живой связи времен». Не здесь ли таится зерно духовного оскудения и душевной черствости многих молодых людей? Это тоже вопросы, логически вытекающие из статьи М. Любомудрова, однако совершенно не интересующие М. Котовскую.

Обо всем этом мы послали в «Советскую культуру» письмо. Нам хотелось бы довести до сведения редакции газеты, что далеко не все единогласны в общественном «осуждении» взглядов М. Любомудрова, которое волею монопольной точки зрения, представленной публикацией М. Котовской, якобы имеет место. Это вредно, потому что искривлена мысль автора, мысль очень нужная и своевременная...

В. Алексеева, кандидат искусствоведения,
Е. Шлейфер-Галицкая, режиссер-педагог, актриса,
М. Чернова, актриса.
г. Москва».

«Во имя чего?» — названа статья М. Котовской в «Советской культуре». Думается, что вопрос этот следует поставить для себя и редакции газеты. Не ошибки М. Любомудрова страшны, если они есть (М. Котовская не выдвигает на этот счет никакой серьезной аргументации, ее статья — обычный казенно-услужливый оптимизм), а статьи типа «Во имя чего?» — откровенные подножки тем, кто мыслит иначе, чем доктор искусствоведения...

В. Минин, коммунист, ветеран войны,
заслуженный работник культуры РСФСР, г. Мурманск».

Читатель явно не принял аргументации оппонентов М. Любомудрова, которые особо и не утруждали себя ее поисками, надеясь на годами испытанный силовой стиль полемики.

Примерно те же отношения, что и с театром, у зрителя с критикой. Та же пропасть непонимания. Да и какое может быть понимание, если критики озабочены прежде всего поддержанием реноме театра, припудриванием и подрумяниванием его лица. Перестали понимать критику даже профессионалы. Актриса театра на Таганке Изольда Фролова пишет нам: «Мною был сделан опрос среди актеров: кто читает журнал «Театр»? Оказалось, что никто. Комплиментарность цеховой критики подорвала всякое уважение актера к слову театроведа. И это тоже нездоровье театра».

Поэтому статья М. Любомудрова, по ее словам, «взорвала» актера изнутри: «Наконец-то!» — воскликнул он, но сказать подобное вслух у нас не хватает духа... (Это понятно: актеры народ зависимый, и «вольнодумцы» рискуют остаться без ролей.— **П. Т.**)... Статья М. Любомудрова переходит из рук в руки, ее горячо обсуждают между собой, поражаются точной и верной мысли автора: театр начинается с Родины. Статья сразу выявила: кто есть кто в своих мировоззренческих позициях. Нет третьего лагеря».

Если бы только комплиментарность критики удручала актеров. Московские критики «будто сговорились сценическую невнятицу возводить в ранг высокого театрального эффекта», их рецензии зачастую напоминают «тайную клинопись», понятную лишь посвященным. «Расшифруйте нам высказывания именитого искусствоведа И Соловьевой в ее статье «Рука дающего...» (журнал «Театр», № 2, 1985). Скажите, на каком языке это написано? И что должен понять молодой актер, вступающий на путь профессионального творчества:

«Мы бы могли сказать: тут уж тайна режиссера — как простейшее действие, освобождаясь от мотивов, соединяется с темой смерти, с темой тихого прощания; с благородством спокойного и необязывающего дарения («отдает душу», «приказывает долго жить» — приходят на память содержательные иноименования того, что человек умирает). Но дело как раз в том, что в спектакле с выпускниками Кама Гинкас позволяет свою тайну разглядеть — были бы глаза».

«Тайна у Гинкаса тут все же есть — как не быть; она в легкости. Происходившее на сцене было лишено «прожатости», которой не избежать в рассказе о нем; на сцене ассоциативный круг не замыкался, совершенно не обязательно было думать ни про рельефы надгробий, ни про эмблематику опустелых тканей».

«Можно разглядывать дальше тайны этого спектакля, сплетенные с педагогикой».

«Так вот, принцип игры «с не тем предметом» втягивался внутрь замысла и рифмовался с темой «Блондинки». Упражнение на фантазию... Тебе подсовывают то, что мешает верить. Идет та же игра: сейчас тебя сбивают с веры, как сбивали с ритма. Вернее, это идет одновременно. Ты принимаешь игру, но ни веры, ни ритма не отдаешь»,

«Обаяние и мысль спектакля «Блондинка», поставленного Гинкасом с выпускниками, — в наложении азбуки студенческого обучения на азбуку страстей, на азбуку реальности».

«Соседу тот же текст девушки транслируют на два голоса: Ира уже втолковывает, что можно же продать мотор и Фаберже, а Нинка только еще вступает с текстом про кредитоспособность; ввод на манер фуги.

Тут фуга еще и в прямом смысле, как пояснили бы в подстрочном примечании: «fuga — бегство, побег; fuga.., — сквозной вид из комнаты в комнаты, анфилада комнат (итал.)».

Комнат на сцене нет, но есть ощущение сквозного вида из комнаты в комнату, сквозной бег по ним».

...Еще раз просим, сообщите нам, актерам, на каком языке это написано? И что это за ворожба, претендующая на тайну фуги? И на потайную рифму?.. Для кого? Это настоящее «офугачивание» русского языка, та же самая смятая невнятица, невнятица тревожная...

А ведь без чувства родного языка, т. е. без внутреннего слога души, **нет чувства своей Родины, своего народа**, к которому мы обращаемся со сцены. Ведь в слове актера и его творческая и гражданская совесть, его мировоззренческая позиция. В ясном слове — ясная и партитура роли. Актеры — не шарлатаны в колпаках, не щебечущие щеглы, в которых порой превращаются, разговаривая на языке «фуг»... Вот об этом мы и прочитали в статье «Театр начинается с Родины». Сегодня главный критерий, главная забота: вернуться к Родине...»

Редакционная почта, надо сказать, существенно проясняет смысл работы журнала, определяет точность его выступлений, серьезность поднимаемых вопросов. Скажем, если статья вызвала много откликов, то, значит, редакция верно вышла на общественную проблему, затронула вопросы, волнующие не только самих журналистов, но и широкого читателя. А если острое критическое слово не только поддерживается, но и развивается в письмах, значит, редакция объединяет мнения отдельных людей в общественное, которому теперь уже легче бороться с пороком, решать проблему.

Настало время плебисцитов, референдумов, исключающих решение многих главных вопросов нашего бытия где-то в узких сферах. Жажда гласности, широких обсуждений наших общих проблем, чтобы по многу примерять, но отрезать единожды, и не по живому месту, пронизывает каждое читательское письмо. Их авторы поднимаются до самых основных вопросов нашей жизни: почему так целенаправленно разрушались наши национальные памятники, стиралось национальное своеобразие русских городов, почему гигантские проекты, изменяющие не только облик целых регионов, но и экологическую ситуацию в стране, готовятся негласно, втайне от общественности, от людей, которые вынуждены были бы изменить свой образ жизни? Почему до сих пор существует дефицит на произведения классиков, без духовных достижений которых невозможно плодотворно строить и нашу социалистическую культуру (нельзя свободно купить полных собраний сочинений Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова, Станиславского, Немировича-Данченко... Их книги должны продаваться в каждом магазине)...

Работы много, и она не терпит отлагательств. Поэтому, смело вторгаясь в «зоны молчания», читатель строго судит о состоянии нашего театра, о критике, утратившей свои изначальные функции, поддерживает М. Любомудрова, который сказал много горьких, но правдивых слов о сценическом искусстве, бывшем некогда гордостью нашего народа.

Разве не гражданской зрелостью веет от писем, где читатели требуют от критики прежде всего служения литературе и искусству, а не отдельным литераторам или деятелям театра, как это укоренилось у нас, к сожалению, в последние годы?

«Не могу не высказать глубокой благодарности за статью М. Любомудрова. Читаешь ее и невольно соотносишь с тем, что происходит у тебя на глазах, чему являешься многолетним и горьким свидетелем...» (**Н. Тендитник**); «в статье прозвучало то, чего мы ждем от нашей критики,— правда» (**В. Алексеева**); «с большим вниманием и интересом прочитал статью М. Любомудрова, которая, невзирая на авторитеты, дает четкий анализ негативным явлениям, происходящим в русском театре и литературе. Спасибо за то, что вы предоставили возможность высказаться человеку,

глубоко болеющему душой за сохранение нравственного критерия в оценке явлений духовной жизни» (**Г. Козырь**); «доказательность положений статьи — лучший критерий того, что определенность оценок, даваемых критиком, не имеет ничего общего с предвзятостью или тенденциозностью, а вызвана необходимостью называть вещи своими именами» (**А. Золотов**).

Конечно, в читательской почте много эмоционального, искреннего порыва, не всегда сдерживаемых любви и гнева, и может показаться, что для спора, скажем, с именитым театроведом одних чувств окажется маловато. Что ж, мы готовы подкрепить читателей и некоторыми дополнительными фактами.

Скажем, М. Котовская, не согласная с утверждением М. Любомудрова об «апологетизации творчества Мейерхольда» и одновременно — суженного и даже «пренебрежительного толкования наследия Станиславского», наметившегося уже с конца 50-х годов, перечисляет ряд книг, опровергающих, по ее мнению, аргументацию ленинградского критика. Что ж, давайте посмотрим на книги, которыми «побивают» М. Любомудрова. «Два издания выдержала... книга В. Прокофьева. Только что появились книги И. Соловьевой и В. Шитовой «Станиславский»...»

Трудно переоценить книгу В. Прокофьева «В спорах о Станиславском», в которой отстаиваются традиции русской школы сценического реализма, сопоставляются с ними и анализируются различные формальные течения и школы в нашем и зарубежном театре. Вышло два издания этого труда по 10 тысяч экземпляров. Нужно ли говорить, как это мало — капля в море. Поэтому не удивляемся, что «выпускники-театроведы не знают книги Прокофьева»,— о чем пишет нам главный режиссер русского драматического театра Петрозаводска Н. Черкасов. Он также убежден, что книгу эту «замолчали», и, признаем, не далек от истины.

Зато другая книга — «Станиславский» И. Соловьевой и В. Шитовой — претендует на переосмысление наследия Станиславского (особенно в рукописи авторы пытались показать его актером-неудачником, а если это так, то что, мол, стоит тогда и вся его знаменитая «система», родившаяся из опыта его актерской практики?), его характера, вклада в развитие советского театра.

Но вот тираж под свое детище авторы получили уже при первом издании 50 тысяч и столько же при переиздании на следующий год.

М. Котовская и Ю. Дмитриев ссылаются на восьмитомное собрание сочинений К. С. Станиславского, что, по их мнению, тоже опровергает тезис о «пренебрежении» к наследию классика нашего театра. Но они не оговорили, что последний том этого собрания вышел двадцать пять лет назад и оно давно уже стало библиографической редкостью.

Ну а с Мейерхольдом как? Может, и тут «загнул» М. Любомудров? Что ж, обратимся к фактам. За последние двадцать лет только московские издательства выпустили: «Встречи с Мейерхольдом». Сборник воспоминаний (1967, объем — 57 л., тираж 100 тыс. экз.), «Мейерхольд. Статьи. Письма. Речи. Беседы», 2 тома (1968, объем — 74 л., тираж 30 тыс. экз.), К. Рудницкий «Режиссер Мейерхольд» (1969, объем — 43,4 л., тираж 10 тыс. экз), Э. Гарин «С Мейерхольдом» (1974, объем — 19,6 л., тираж 15 тыс. экз.), В. Э. Мейерхольд «Переписка» (1976, обем — 40 л., тираж 10 тыс. экз.), К. Рудницкий «Мейерхольд» (1981, объем — 32 л., тираж 50 тыс. экз.). Сюда же следует прибавить многочисленные статьи в сборниках, воспоминания.

Да, основания для беспокойства у М. Любомудрова были. Думаю, и читатель не останется в благодушном настроении, если узнает, что И. Соловьева является членом комиссии, основная задача которой изучать и популяризировать наследие Станиславского и Немировича-Данченко. Как она это делает, мы уже говорили. Добавим, что написала она книгу и о Немировиче-Данченко, которую резко критиковала коллегия Госкомиздата СССР за серьезные ошибки, выразившиеся в «преуменьшении значения деятельности выдающегося режиссера, его роли в строительстве социалистического театра».

Тревога М. Любомудрова понятна, а вот безмятежность М. Котовской — не очень. Она не верит, что вокруг Мейерхольда «опять бушуют страсти», она убеждена, что «на деле «бушует» один только Любомудров».

С последним утверждением мы, пожалуй, согласимся: верно — только один. К сожалению, пока лишь он решился сказать наиболее полную правду о состоянии современного русского драматического театра. Другие либо боятся, либо им неловко сегодня говорить то, что противоречит их вчерашнему пафосу. Да и зачем бу-

шевать оппонентам М. Любомудрова? Они и в газетах, и в журналах, и в издательствах, и в комиссиях, и в научно-исследовательских институтах, и в учебных заведениях представлены так широко, что надобности «бушевать» у них нет. Они тихо с сознанием дела вершат свою правду, выдаваемую за всеобщую (по той же схеме: статья «широко и определенно» проанализирована «нашей прессой», недостатки «отмечались партийной печатью», как считает «театральная общественность»...).

Показывая разницу между правдой узкого круга театральных людей и правдой народа, между театром, «кормящим» ограниченное число специалистов, и театром, обогащающим духовно все общество, статья М. Любомудрова имеет и просветительский характер. Прочтя ее, мы острей стали понимать, что сегодня особенно необходим театр-трибуна, с которой звучал бы голос народа, а не только отдельных «индивидуальностей», причем не всегда и самых лучших. Нужен театр, достойный нашей Родины, величие которой составляют и многовековая ее история, и все созданное за последние семь десятилетий, и грандиозные планы на будущее.

Театроведы долго внушали нам, что все, мол, у нас прекрасно на театре, за исключением некоторых частностей. И в подтверждение приводили длинные списки поставленных к датам спектаклей, один и тот же набор имен режиссеров, которым критикой давно уже отказано в праве на творческую неудачу. Что ни сделает маститый — все гениально, что ни соорудит — все шедевр. А если мы, смертные, что-то не понимаем, то, значит, не доросли еще, поотстали в своем развитии, опутанные семейными заботами, замученные производственными проблемами... И вот в результате интеллектуального «рывка» театра в его залах осталось всего лишь семь процентов рабочих, живущих, как известно, в основном в городах, в крупных культурных центрах. А что же скажет нам статистика о зрителе-крестьянине? Значит, театр обслуживает сегодня исключительно интеллигенцию? Как возникла подобная диспропорция? Почему театральное искусство перестало принадлежать рабочим и крестьянам?

Театроведение и критика этими вопросами не занимаются, они заняты созиданием славы, наведением глянца, сохранением престижа, в самых крайних случаях — критикой отдельных, единичных недостатков, которых, как пятен на солнце, простым глазом не увидишь — слишком ярок свет. И уж почти некому сказать правду (только М. Любомудров один «бушует»), разве что первому в то время замминистра культуры СССР Е. Зайцеву: «...коренного перелома в осмыслении театром действительности еще не произошло... Не нашли убедительного отражения на сцене темы созидательного труда, конструктивной борьбы партии за чистоту нашей жизни, за утверждение нравственных идеалов и подлинных ценностей социализма». По-моему, сказано «в духе М. Любомудрова». И далее: «Сегодня в театральном деле тревожит многое. Дискредитирует искусство в глазах зрителей снижение художественного качества спектаклей и уровня профессионального мастерства. Актуальна проблема приобщения к театру представителей рабочего класса и молодежи».

С Е. Зайцевым трудно не согласиться, однако критика актуальность своей деятельности видит в другом...

Поэтому статья М. Любомудрова, ответившая на многие жгучие вопросы театральной жизни, долгие годы замалчиваемые критикой, была воспринята большинством читателей как откровение. Статья подтвердила многие догадки читателей. «Тенденции, господствующие в наших ленинградских театрах, меня как сторонника русских реалистических традиций ни в коей мере не могут удовлетворить. Вот почему я с большим интересом прочитал статью...» (**В. Петров**); «Читаешь ее и невольно соотносишь с тем, что происходит у тебя на глазах, чему являешься многолетним и горьким свидетелем. Театр в Иркутске имел давние и славные традиции. В нем жил дух творчества, была глубокая связь с театральным зрителем. За последние пятнадцать лет он деградировал до неузнаваемости...» (**Н. Тендитник**); «Наш ленинградский БДТ принято считать одним из лучших в стране. Может быть, постановка хотя бы классики в нем приносит удовлетворение? Увы, нет...» (**В. Алексеева**); «Пропаганда ведется, но тех традиций, в основе которых мировоззрение и эстетика, чуждые нашему психологическому театру...» (**Н. Черкасов**); «Самое удивительное, что слова о гениальном режиссере остаются словами, никто так и не привел примеров того ценного, что дал русскому театру Мейерхольд» (**В. Лобанов**).

Таким образом, и читатели в свою очередь подтвердили основные тезисы статьи М. Любомудрова.

Нападки на М. Любомудрова обусловлены, конечно, не только тем, что он якобы недооценивает наследие В. Мейерхольда или без принятого пиетета рассуждает о творчестве Г. Товстоногова, О. Ефремова, А. Эфроса, спорит с их вольными трактовками классических пьес. Это лишь внешняя сторона полемики, следствие более серьезных внутренних разногласий, собственно, и питающих энергию дискуссии. Главный пункт противостояния заключается в разных концепциях путей развития современного русского театра.

М. Любомудров бьет тревогу, что театр все очевидней отходит от традиций, растрачивает те духовные ценности, которые во всех поколениях у каждого народа определяли его самобытность, уникальную неповторимость. Согласитесь, было бы мало радости, если бы театры Грузии и Литвы, Армении и Украины, Белоруссии и Казахстана походили друг на друга. Вот и М. Любомудров хочет, чтобы русский театр не путали с французским или английским, чтобы он сохранил творческие гены Волкова, Щепкина, Островского, Станиславского, Немировича-Данченко. И последними дорогими нам именами русская сценическая традиция не должна закрываться. Поэтому он требует соотнесения всего театрального дела с заботами и нуждами социалистического общества, подразумевающего всемерное, свободное, ничем не стесненное развитие национальных особенностей в рамках нашей советской многонациональной культуры.

Оппоненты М. Любомудрова если не на словах, то на деле все более ориентируются на практику западных коллег, акцентируя свою творческую энергию прежде всего на зрелищной стороне спектакля, порой в ущерб содержательной, духовной, нравственной. Собственно, против культурных контактов с Западом у нас никто не выступает, наоборот. Даже скептики видят в этом пользу, хотя бы в том, что становится более ясным — что для нас приемлемо, а что — нет. (Станиславский, как известно, пробовал даже сотрудничать с символистом Э. Г. Крэгом, но когда убедился в полной творческой несовместимости с ним, избежал даже встречи в его последний приезд в Москву.) Речь идет о внедрении в русский театр духа, чуждого нашим представлениям о нравственности, гражданственности, высшей ценности человека в обществе коллективизма, задачам, которые мы ставим в воспитании подрастающего поколения...

Вот что пишет нам ветеран войны москвич Н. Д. Лызлов: «...Посмотрев более десятка различных спектаклей, я отметил в них одну особенность: почти все они сдобрены пошлостью, вульгарностью и нецензурщиной... Это вызвало у меня крайнее недоумение и заставило подумать о том, что театр наш становится весьма малокультурным, что времена Станиславского канули в прошлое, стали забытой историей. Как ни печально, но это не что иное, как проникновение к нам низкопробных стереотипов буржуазной культуры...»

Далее, по-разному оценивая художественные достоинства спектаклей по пьесам зарубежных авторов в московских и ленинградских театрах, он выделяет характерные для них тенденции: беззастенчивое обнажение актрис, показ и смакование интимных отношений героев, грубая брань...

Все это вызывает у автора письма недоумение: «Хотелось бы спросить у тех, кто решает вопрос об отборе театральных произведений зарубежных авторов для советской сцены: неужели так ограничен этот выбор и нужно отдавать предпочтение тем пьесам, в которых присутствует натурализм, пошлость и вульгарщина?.. Зачем же такое подражание Западу?..» Те же тенденции он обнаружил и в спектаклях по советской драматургии: «...не так уж редки случаи, когда создатели зрелища раздевают актрис скорее всего для того, чтобы подогреть интерес к своему «шедевру», прикрывая этим пустоту мыслей и отсутствие содержания. В точном соответствии с зарубежными стандартами».

И в заключение он пишет: «...такие спектакли разрушают психологию человека, воспитывают низменные инстинкты, коверкают само представление о нравственности. Мы этого терпеть больше не вправе... Не может не коробить нормального человека то, что унижает его достоинство, легализуя то, что в жизни пока еще считается неприличным... Режиссер может быть высокообразованным, талантливым, выдающимся актером и хорошим организатором, но при всем этом он вполне может быть и циником в жизни, пошляком, морально неполноценным человеком... Такой режиссер даже в хорошем спектакле способен проявить свои дурные наклонности. Особенно в тех случаях, если этого режиссера контролируют неумные люди или

предоставляют ему чрезмерно большую свободу действий и ограждают при этом от критики.

Тогда возникает вопрос: а какова же роль Министерства культуры с его большим аппаратом? Какова роль корпуса театроведов и критиков? Ведь это все они должны быть своего рода ОТК театрального искусства.

С этой ролью все они, по-моему, не справляются, находятся в долгу перед обществом. И сейчас самое время с них спросить».

О том же пишет нам и Э. С. Попова, откликаясь на статьи В. Бондаренко и А. Боброва, обеспокоенная обилием пикантных сцен в спектаклях московских театров. Побывав во МХАТе на «Амадее» и отдавая дань «созвездию лучших актеров нашего театра», она тем не менее не могла скрыть своего огорчения: «Но о чем спектакль вообще? И зачем спектакль? Кто такой Амадей Моцарт? На сцене периодически разыгрываются сцены, которые я не могу назвать иначе, как непристойные... Вот одна из них: невеста Моцарта — Констанция во время бала выбегает в какую-то комнату, появляются несколько офицеров, которые сбрасывают с себя мундиры, и зрителям готовится нечто... Самого же Моцарта — гения музыки — называют «шалуном» и другими игривыми именами, намекая на его отнюдь не музыкальные интересы, а скорее на очень земные... Моя приятельница привела на этот спектакль свою дочь-старшеклассницу и чувствовала себя более чем неуютно.

Эти «странные» художественные приемы — что это? — желание, чтобы зрители не скучали? Пусть лучше им будет неуютно от стыда, чем от скуки?»

Не капризом, не ханжеством вызвано подобное недовольство, это взгляд русского человека, не утратившего связей с традициями своего народа. Скажем, для шведа, француза или американца стриптиз — обыденное явление, а для М. Любомудрова, Э. Поповой, Н. Лызлова — дикость, непристойность, оскорбительное зрелище. Разные традиции, разные взгляды. Мы же не навязываем тем же шведам, французам, американцам своих взглядов на жизнь, мы требуем лишь уважения н а ш и х традиций в н а ш е м Отечестве. По-моему, в этом требовании нет ничего предосудительного. Поэтому претензии к театру, явно снизившему нравственные критерии, вполне обоснованны.

Странное дело: с одной стороны, вроде бы Станиславский продолжает быть творческим идеологом нашего театра, а с другой, как утверждают многие практики театра, знают его наследие в лучшем случае весьма приблизительно. Да и имя его произносят нередко со снисходительной улыбкой, с некоторой долей иронии: да, мол, знаем, но все это архаика, попахивающая нафталином, теперь другое время, надо искать новые формы, более современные стиль и метод. Причем ищут почти всегда не на родной почве и заимствуют, к сожалению, далеко не лучшее...

Так что и здесь прав М. Любомудров. Не только Мейерхольда стараются поднять над Станиславским, но и других более «прогрессивных», более «современных», более свободных от традиций, от реализма художников. В издательстве «Искусство» готовится к выпуску — объявлен в плане 1987 года — сборник наследия Э. Г. Крэга, который был не просто безобидным символистом-экспериментатором, мятежным гением, отрицавшим буржуазные ценности (как это стертыми штампами пытаются представить составители сборника — А. Образцова и Ю. Фридштейн),— его взгляды, обобщившие «антиреалистические направления в театральном искусстве 19 — начала 20 вв.», стали «знаменем антиреалистических течений», как свидетельствует театральная энциклопедия. Да и сам Э. Г. Крэг более определенно и откровенно формулировал свое кредо: «Станиславский верит в реализм как средство выражения, с помощью которого актер способен раскрыть замысел драматурга. Я в реализм не верю». И еще: «Реализм — это вульгарное средство изобразительности, отданное в удел слепым».

Когда мы удивляемся, что из нашего театра исчез занавес, почти упразднились декорации, а актеры загадывают нам шарады, то не все знаем, что благословлял эту манеру и Э. Г. Крэг: «Уберите со сцены реальное дерево, избавьтесь от реальной манеры исполнения, разделайтесь с реальностью действия, и вы уже на пути к упразднению актера. Именно это и должно произойти в будущем, и мне приятно видеть режиссеров, которые уже сейчас поддерживают эту идею. Упразднив актера, вы упраздните средство, с помощью которого создается и насаждается низкопробный сценический реализм. Со сцены будет изгнана живая фигура, которая запутывала

нас, побуждала смешивать действительность с искусством; живая фигура, в которой были заметны слабость и трепет человеческой плоти.

Актер должен будет уйти, а на смену ему грядет фигура неодушевленная — назовем ее сверхмарионеткой».

Можно было бы приводить и еще примеры его отношения к художественному методу, с помощью которого создается все многообразие социалистической культуры. Конечно, издательский редактор может изъять некоторые неприемлемые для нас высказывания, но изменится ли от этого сам Э. Г. Крэг? Расчет, видимо, делается на факт публикации, чтобы потом в развитие его мыслей ссылаться и на ту часть его наследия, которая осталась за бортом сборника. То есть необходим прецедент публикации, а уж потом исследования пойдут косяком.

Теперь давайте спросим себя, так ли необходим нам сегодня этот огромный сборник (объем 30 л., тираж 25 тыс. экз.) произведений художника, не только не приемлющего нашего мировоззрения, но и не видящего разницы между нами и фашистами. Мечтая о труппе, в которой ему хотелось бы работать, он писал: «Это могут быть испанцы, итальянцы, немцы, французы, англичане, не важно, советские люди или фашисты,— это все мелочи, несущественные для меня...». Стоит ли тратить средства и материалы на подобное издание, когда еще не в каждом доме есть Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой... (нам каждый раз компетентно объясняют, что в стране не хватает бумаги)?

М. Любомудров первый заговорил о необходимости перестройки театра, большего влияния общественности на его развитие и функционирование, чтобы впредь избегать преобладания в нем групповых интересов, корпоративности, обособленности от духовного развития нашего общества. Однако пока одни «уличали» его в «тенденциозности», «предвзятости» и иных грехах, другие, перехватывая инициативу, тоже стали дискутировать о проблемах, но только не о тех, которые затрагивал ленинградский критик, и уж совсем не о театре, который начинается с Родины...

И вот мы узнаем, что «по предложению театральной общественности» решено провести «широкомасштабный комплексный эксперимент, направленный на повышение эффективности сценического дела». Основные направления его таковы: новый порядок формирования коллективов, расширение экономических прав театров, расширение прав и самостоятельности театров, радикальная перестройка экономических основ театрального дела, методов управления, системы ценообразования, надбавок, скидок, фондов...

Полезные мероприятия, но касаются они исключительно экономических, управленческих преобразований. Достаточны ли они? Не совсем очевидна связь эксперимента с задачами идейно-художественными, нравственными, патриотическими. Об этом же, кстати, немало говорилось и в кулуарах XV съезда Всероссийского театрального общества, в выступлениях делегатов учредительного съезда Союза театральных обществ СССР звучали пожелания усилить идеологический акцент в предстоящей перестройке нашего театра.

И тут возникает беспокойство и самый главный вопрос: а не является ли эксперимент попыткой подменить серьезную перестройку театра очередной подкраской его фасада (такое беспокойство уже прозвучало в нашей почте)? Согласитесь, наивно ожидать от некоторых лидеров нашего театра, людей давно уже сформировавшихся, серьезного изменения мировоззрения, требовать от них большей любви к классике, презрения к пошлости, ими же долгие годы насаждаемой, пусть и по причине утраты вкуса, снижения профессионализма, притупления эстетического чувства... Разве иначе будет думать голова, если поменять на ней прическу?

Чтобы завтра что-то реально изменить в нашем театре, чтобы в него вернулась «душа народа», нужно, чтобы и в нем восторжествовала атмосфера истинной перестройки, с которой несовместима этакая монополия узкого круга людей в драматургии, режиссуре, подготовке кадров (прежде всего режиссерских), науке о театре, критике и издании театральной литературы — людей, которые привыкли критиковать других, а сами оставались как бы своеобразной «зоной вне критики».

СЮЙ ЦЗЯЖУН
(КНР)

Сюй Цзяжун, старший преподаватель Ланьчжоуского университета, русист, в течение года стажировался на кафедре советской литературы ЛГПИ им. А. И. Герцена. В китайском журнале «Русская советская литература» (№ 6, 1983) публиковался его очерк о советском писателе Сергее Воронине. На русском языке публикуется впервые. В ноябре 1986 года он был гостем нашей редакции и оставил отрывок из своей будущей работы о творчестве М. А. Шолохова.

М. ШОЛОХОВ И ЕГО КНИГИ В КИТАЕ

КИТАЙСКИЕ читатели хорошо знают произведения великого русского советского писателя Михаила Александровича Шолохова. Его «Донские рассказы», «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», «Судьба человека» вошли в сокровищницу мировой литературы.

Знакомство китайских читателей с М. Шолоховым состоялось в начале 30-х годов, когда были переведены на китайский язык первые две книги «Тихого Дона». И вот уже более полувека творчество писателя оказывает огромное влияние на революционную литературу Китая.

Сейчас нам приятно вспоминать историю знакомства с творчеством М. Шолохова. Великий китайский писатель Лу Синь всегда зорко следил за развитием советской социалистической литературы и первым рекомендовал соотечественникам произведения М. Шолохова. Сразу же после выхода первых двух книг «Тихого Дона» Лу Синь поручил своим друзьям приобрести роман на русском языке в Советском Союзе и его немецкий перевод в Германии. И уже в 1930 году Хо Фый начал переводить «Тихий Дон» с немецкого языка. Закончив корректуру перевода, Лу Синь написал послесловие к роману, в котором воздавал должное русскому писателю за правдивость, психологизм, художественное мастерство. Там же он выразил надежду, что полный перевод «Тихого Дона» поможет росту наших писателей, «поднимет силу духа читательских кругов нашей древней родины».

Лу Синь и Цюй Чюбай единодушно признавали огромную творческую роль «Тихого Дона» в создании новой революционной художественной литературы.

В октябре 1931 года в Шанхае вышел на китайском языке первый том «Тихого Дона», через пять лет — второй, а еще через пять — и полный перевод романа.

Осенью 1942 года журнал «Художественная поэзия» в специальном номере опубликовал статью Го Баочуаня «25-летие советской литературы», в которой он «Тихий Дон» назвал памятником советской гражданской войны, а «Поднятую целину» (первый том на китайском языке вышел в 1936 году) — лучшим произведением о коллективизации в деревне. Под влиянием этих книг писатель-переводчик Чжоу Либо написал романы «Ураган» и «Огромная перемена в горной деревне», в которых показал аграрную реформу и коллективизацию в Китае. Известная писательница Дин Линь признавалась: «На произведениях Шолохова я училась писать о крестьянской жизни. Метод работы Шолохова — тщательная отделка им каждой детали — приводил меня в восхищение».

После образования КНР началась огромная работа по переводу, корректировке, изданию и переизданию произведений М. Шолохова. «Эпоха» выпустила некоторые главы романа «Они сражались за Родину». Известный переводчик Цао Ин перевел «Донские рассказы», «Поднятую целину» и «Судьбу человека» прямо с русского языка. Демонстрировались фильмы по произведениям писателя.

М. Шолохов не только дарил нам радость общения с его книгами, но и интересовался жизнью народа Китая. В романе «Тихий Дон» встречаются образы героических китайских бойцов в Красной Армии. Во времена Китайской Народно-освободительной войны, борьбы против американской агрессии и движения за помощь Корее в защите ее свободы и независимости М. Шолохов с большим энтузиазмом и сочувствием писал статьи в поддержку китайского народа, выражая ему глубокое уважение.

М. Шолохов внимательно следил за развитием китайской литературы, заботился о ее писателях. Осенью 1936 года они вместе с А. Фадеевым справлялись о здоровье Лу Синя и сожалели, что тот не мог поехать в Советский Союз отдыхать и лечиться у Черного моря.

В приветственном слове к китайским читателям по случаю Нового 1955 года М. Шолохов писал: «Мне хотелось бы от всей души сказать вам, что мы крепко любим вас, горячо следим за вашими героическими делами на трудовых фронтах, которым мы радуемся, что желаем китайскому народу новых достижений в строительстве и большого счастья в жизни, желаем нашим коллегам новых успехов и смелого прогресса в творческом труде».

Однажды на встрече с китайскими журналистами М. Шолохов сказал: «Китайская литература идет вперед широкими шагами. Великий, трудолюбивый и талантливый народ Китая обязательно будет творить гениальные художественные произведения».

Трагично сложилась судьба произведений М. Шолохова во время так называемой «культурной революции». Трудно было предположить, что пользовавшиеся популярностью рассказ и фильм «Судьба человека» подвергнутся несправедливой критике и страшному осквернению. Реакционная «группировка четырех», замыслившая узурпировать руководство партией, захватить власть и реставрировать капитализм, открыто выступала против пролетарской и революционной литературы. На одном из совещаний Цзян Чинь объявила М. Шолохова родоначальником ревизионизма в мировой литературе и искусстве, провоцировала массы на несправедливую критику писателя. Тогда же в некоторых газетах и журналах появились статьи о М. Шолохове и его произведениях, где субъективной критике подвергался не только сам писатель, но и его переводчик — Цао Ин.

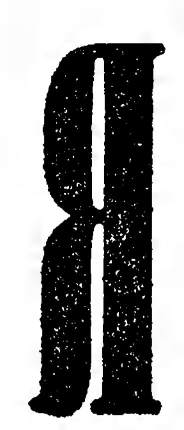
После разгрома «группировки четырех» доброе имя М. Шолохова было восстановлено, наметился новый подъем в изучении творчества великого писателя. В 1982 году издается пятый выпуск «Тихого Дона» общим тиражом 260 000 экземпляров. Тогда же вышел специальный сборник выступлений и научных статей о М. Шолохове, который составила выпускница ЛГУ 50-х годов Сунь Мейлинь.

Смерть М. Шолохова была большим потрясением для советской и мировой литературы. Для широкого обмена опытом в научно-исследовательской работе по изучению творчества М. Шолохова в сентябре 1984 года состоялась первая всекитайская конференция. Более 80 литературоведов, преподавателей, переводчиков и редакторов приехали из 39 вузов и НИИ. На конференции говорилось о мировоззрении и творческом методе М. Шолохова, о реализме и гуманизме его произведений, о художественном мастерстве и месте его творчества в мировой литературе. Конференция способствовала дальнейшему развитию научно-исследовательской работы по изучению творчества М. Шолохова. В 1985 году в китайских журналах было опубликовано 27 научных статей о произведениях М. Шолохова. Возникло специальное направление в нашем литературоведении — шолоховедение. В некоторых вузах Китая читается цикл лекций — «Творчество М. Шолохова».

Высказывалась на конференции и старая точка зрения, будто М. Шолохов — крестьянский писатель, выразитель идей и чувств казаков в эпоху Советской власти. Но большинство литераторов не согласились с этим взглядом, утверждая, что М. Шолохов — великий пролетарский писатель. Оживленная дискуссия проходила и по поводу трактовки образа Григория Мелехова, характера его трагедии. Вместе с тем все выступающие признавали, что М. Шолохов — великий художник, покоряющий силой правды, неотразимостью описания картин природы, характеров людей, которые в живой непосредственности предстают на страницах его произведений. Конференция показала, что ныне китайские литературоведы более глубоко изучают творчество М. Шолохова, идя от понимания идейного содержания его произведений, от анализа образов героев к пониманию художественного стиля и художественного мастерства, его реализма, гуманизма и глубины психологических описаний, изображающих жизнь во всей ее сложной противоречивости, в богатстве красок и многозвучии.

Владимир НЕСТЕРОВ

И ВСЕ ПОЮТ...



— ЧИТАТЕЛЬ. Мой хлеб иного происхождения, чем у критиков, потому и легче мне без оглядки на авторитеты говорить то, что думаю, а не то, что подсказывает комбинация звезд на литературном небосклоне. Непрофессионализм позволяет мне не дозволенное профессиональному критику: прочитав всего только один номер литературно-художественного, толстого, как принято говорить, журнала, я осмеливаюсь делать выводы о редакционном климате этого уважаемого издания в целом. И если мне попалась как раз та самая ложка дегтя, которая портит весь имеющийся в наличии мед, — тем более разговор об этой ложке считаю необходимым.

Шестой номер журнала «Октябрь» за 1986 год открывает повесть Анатолия Курчаткина «Бабий дом». Я не стыжусь признаться, что не читал других произведений Анатолия Курчаткина. Но после «Бабьего дома» мне непременно захотелось узнать об авторе побольше. И—представьте! — несказанно повезло, даже ходить далеко не надо было. В том же шестом номере «Октября» в статье А. Бочарова под рубрикой «Литературная критика», многозначительно названной «Утверждение человека», имя Анатолия Курчаткина стоит в одном ряду с именами В. Быкова, Д. Гранина, С. Залыгина, В. Распутина, Ю. Бондарева. И не просто в ряду — в финале стоит, как восклицательный знак. По утверждению А. Бочарова, которому, вероятно, надо верить, один из представителей «поколения сорокалетних» Анатолий Курчаткин не просто писатель, а «зоркий писатель». И даже не просто зоркий: «Заманчиво усмотреть в этом эпизоде реальную психологическую проблему внедрения новой техники, зорко увиденную автором еще до сегодняшней острой партийной постановки этого вопроса».

Вот какой он зоркий, Анатолий Курчаткин! Усмотрел-таки проблему, существующую с момента возникновения первого винтика, раньше усмотрел, чем ткнули в нее носом!

И все же не покидает ощущение, что это А. Бочарову «заманчиво» было «усмотреть» необычайную прозорливость Анатолия Курчаткина... Вернемся, однако же, к «Бабьему дому».

От экономного пересказа содержания, сюжета, сути, «концепции», как модно говорить нынче, придется отказаться. Потому что я берусь утверждать: непозволительная роскошь для авторитетного издания — заполнить три четверти объема очередной книжки подобною прозой!

Я не встречал серьезных людей, принимающих на веру столь тяжкое обвинение, так что придется моим оппонентам перелистать страницы повести Анатолия Курчаткина вместе со мною.

«Бабий дом» — очень точное название. Если и есть в повести центральная фигура, главный герой, то это именно «бабий дом», то бишь двухкомнатная квартира, обитают в которой, простите за выражение, бабы: бабушка, мама и две дочери разного возраста. Интерьер дан Анатолием Курчаткиным объемно и зримо. Особенно удались многообещающие, интригующие, я бы сказал, детали: «...взгляд ее уперся в нависающую над диваном-кроватью свирепую медвежью голову с переброшенным через нее ружьем. Ружье было старой работы, с ложем, инкрустированным серебром, и Нина Елизаровна знала, что...»

Что знала Нина Елизаровна (мама. — В. Н.) — не главное. Важно, что читатель знает законы жанра и будет ждать, когда это великолепное ружье выстрелит. Забегая вперед, скажу, что выстрелит ружье очень громко и с потрясающими последствиями, ибо и Анатолий Курчаткин законы знает. Настолько хорошо, что обогатил интерьер бабьего дома еще двумя далекими от пиротехники, однако стреляющими без промаха деталями: «Одно ее раздражало — лежащая посередине комнаты вверх дном голубая умывальная раковина, которую невозможно было затолкать никуда в угол, потому что...»

Анатолий Курчаткин пространно и со знанием дела объясняет, почему нельзя эту раковину никуда затолкать, почему она должна валяться посреди комнаты, как позже выяснится, целый месяц, но мы-то знаем: никто из нас не бросит столь необычный предмет посреди комнаты, ибо он не только раздражает — он попросту мешает, создает некий дискомфорт. В комнате, где смотрит на вас со стены свирепая медвежья голова с перекинутым через нее инкрустированным ружьем, она и вовсе инородное тело, но, коль скоро Анатолий Курчаткин не нашел ей другого места, значит, уготована ей некая более возвышенная роль, чем рядовой умывальной раковине.

Третья важная для развития повествования деталь — судно. Не корабль, а то са-

мое, пользоваться которым избави бог. Дело в том, что в одной из комнат лежит больной человек — парализованная бабушка. Тут не до иронии: бабушке ежеминутно требуется судно. Точнее, не ежеминутно, а в наиболее неподходящие моменты, и не бабушке, а Анатолию Курчаткину. В этом мы скоро убедимся. А пока познакомимся с обитателями бабьего дома.

К бабушке пока добавить нечего. Мама, Нина Елизаровна, женщина около пятидесяти с несложившейся личной жизнью, работает экскурсоводом в музее. Две дочери у нее — Лида под тридцать и восемнадцатилетняя Аня. И у мамы, и у Лиды, и у Ани романы с молодыми людьми соответствующего возраста. Построение повести позволяет нам проследить все три романа по очереди, по старшинству. Сначала — сцены из романа Нины Елизаровны, «моложавой, хорошо сохранившейся пятидесятилетней женщины».

Некто Евгений Анатольевич, приехавший в Москву в командировку, выкроил часок для экскурсии по музею и с первого взгляда проникся симпатией к женщине-экскурсоводу. И загадал: если экскурсовод глянет на него три раза за экскурсию, он к ней подойдет. Нина Елизаровна глянула именно трижды, и Евгений Анатольевич подошел, представился и был немедленно приглашен на чашечку кофе. Час был назначен такой, когда дома никого не было, кроме парализованной бабушки.

Не каким-нибудь искателем командировочных приключений рисует нам Евгения Анатольевича Анатолий Курчаткин. Нет, его помыслы чисты и намерения серьезны, он застенчив, как нецелованный юноша, Нина Елизаровна для него — кандидатура в подруги жизни. И спешить ему потому некуда. У Нины Елизаровны, однако, времени в обрез, а инициатива в таких ситуациях всегда в руках женщины. Уже через минуту-две словесного флирта «Евгений Анатольевич неуверенно ступил вперед, Нина Елизаровна вся подалась к нему, и он протянул к ней руки, сделал еще шаг.

— Мне каже... — и зацепился ногой за умывальную раковину, станцевал в воздухе неуклюжее корявое па, чудом удержался на ногах. — Черт! — вырвалось у него, и он сконфузился».

Вот для чего раковина! — чтобы оттянуть блаженный миг первого рукопожатия или целомудренного поцелуя. Они ведь даже кофе не пригубили. Пришлось Евгению Анатольевичу, чтобы восстановить атмосферу, искать тему для непринужденной беседы, благо тема была рядом — ружье. Он высказался в том смысле, что ружью такому цены нет, и протянул было руку. «Не трогайте, вы что! А вдруг заряжено? Оно тут висит и висит...» И то верно: ружье должно стрелять в последнем акте, а повесть едва только разворачивается, довольно, впрочем, стремительно. Евгений Анатольевич ружья трогать не стал. Он взял руку Нины Елизаровны.

«Ладонь у Евгения Анатольевича была большая, теплая, руке Нины Елизаровны было хорошо и уютно под нею, и Нина Елизаровна закрыла невольно глаза.

— Женя! Ах, господи, как это смешно в нашем с вами возрасте! Я, знаете, когда вы подошли, я вас сразу... да, именно почувствовала, тоже... а я, знаете, я очень нелегко иду на сближение, мне это очень нелегко...

Не отнимая своей руки от ее, Евгений Анатольевич поднялся и, двигаясь вокруг стола, пошел к Нине Елизаровне.

— Ни-ина!

По-прежнему с закрытыми глазами Нина Елизаровна подняла к нему лицо:

— Же-еня!»

Чувствуете, какой интим? Как вы думаете, что произойдет через секунду?

«Она еще произносила его имя, — в соседней комнате с тяжелым грохотом что-то упало. Это было так неожиданно, так пугающе-громко, что Евгения Анатольевича с Ниной Елизаровной буквально отбросило друг от друга».

На этот раз, снова отдалив желанный миг, упало судно из немощной руки парализованной бабушки. А времени, между тем, было в обрез: Нине Елизаровне через какой-то час пора на работу. Быстро оказав бабушке необходимые услуги, Нина Елизаровна вернулась к Евгению Анатольевичу и взяла быка за рога: «Нина Елизаровна подалась к нему, забросила ему руки на шею и легла головой на грудь.— Женя! Ах, Женя!.. — проговорила она напряженным, прерывающимся шепотом...

Евгений Анатольевич увидел вдруг, что халат у нее распахнулся, а под халатом на ней почти ничего нет. Он потерял голову».

Неправда, уважаемый Анатолий Курчаткин! Евгений Анатольевич не потерял головы, отнюдь. Если верить вашему же тексту, он понял, с кем имеет дело, сразу сообразил, что дальше можно не церемониться, и слегка усилил натиск. И тогда:

«— Подожди. Сейчас.

Открыв шкаф, она достала оттуда простыню, подушку, одеяло, скорыми, точными движениями расстелила на диване постель, скинула с себя халат и нырнула под одеяло.

Ошеломленный быстротой ее действий, Евгений Анатольевич, осознавая происходящее, несколько секунд простоял столб столбом...».

Немудрено! — свидание, первое, до которого они лишь представились друг другу в официальной обстановке музея, длилось не более получаса, когда против них были и раковина, и судно, принимает тем не менее такой оборот, к какому Евгений Анатольевич себя не готовил. Вот и потерял он несколько секунд, но, как оказалось, секунд роковых: когда он сбросил наконец пиджак и принялся за брюки, опять вмешалась проклятая раковина, косвенным, впрочем, образом: именно в эту минуту в дверь настойчиво позвонил слесарь-сантехник, которого не могли дозваться целый месяц! При слесаре продолжать ухаживания было как-то не вполне удобно, постель пришлось свернуть и спрятать в шкаф. На этом, собственно, и кончился роман Нины Елизаровны и Евгения Анатольевича. Нина Елизаровна охладела. При следующей встрече она будет говорить с Евгением Анатольевичем с брезгливым презрением, словно это он, а не слесарь виноват. Впрочем, он и правда

будет виноват: он явится без предупреждения и, стало быть, учитывая густонаселенность квартиры, не вовремя, когда бабий дом будет полон людей, выясняющих отношения, да еще с бутылкой коньяка, что позволит Нине Елизаровне еще и с алкоголизмом побороться: «...чего вы с нею тетешкаетесь? Выпить хочется, а больше негде?» Между прочим, от этой бутылки коньяка чуть ниже откажется даже слесарь-сантехник, традиционный алкоголик, откажется, аргументируя это тем, что коньяк пахнет клопами, а не тройным одеколоном.

Сообразив, что несколько переборщил, сцену прощания Нины Елизаровны и Евгения Анатольевича А. Курчаткин рисует на удивление трогательной. Ее невозможно читать без слез:

«— Ах, боже мой, Женя!.. Уезжай, и пусть в наших воспоминаниях останется тот чудесный, тот светлый, тот солнечный наш порыв друг к другу!

Евгений Анатольевич бросился к ней.

— Нина! Чудная! Милая! Невыразимая! Мы не можем... Я не могу потерять тебя!..

...Евгений Анатольевич предпринял новую попытку обнять Нину Елизаровну; она, уже не очень противясь тому, отступила назад — шаг, еще шаг, и, может быть, спустя мгновение уже сама подалась бы к нему, но наткнулась на оказавшуюся у нее за спиной умывальную раковину и... упала, больно ударившись о край раковины бедром.

— Да ну какой же вы... Ничего толком!»

Не правда ли — потрясает? Но самое удивительное, что все это написано всерьез! Сочиняя весь этот винегрет из ханжества и цинизма, автор старается представить нам героев этакими воркующими голубками. Если же допустить, что А. Курчаткин действительно «зоркий писатель» — тогда он просто издевается над нами, смеется над наивностью читателей, но не из-за угла, не из подворотни, а со страниц солидного, «толстого» журнала. Тиражом в сто семьдесят пять тысяч смеется!

Наберемся, однако, терпения. Мы прочли всего только две главки из семи, не считая философских лирических отступлений, впереди у нас еще два романа. Может, они написаны с большим снисхождением к нашему слуху?

Старшей дочери Нины Елизаровны, Лиде, что-то около тридцати. Андрея она любит той бескорыстной, чистой любовью, которую принято воспевать. Или слепой, потому что такая любовь видит вещи только в желаемом для себя свете, она нетребовательна, она иллюзию принимает за действительность. Близкая подруга, посвященная, надо полагать, говорит Лиде: «— Да он тебя эксплуатирует просто. Самым натуральным образом. Как дурочку последнюю. Хочет иметь любовницу — и имеет. Да еще бесплатно совершенно.

— Марина! — запрещающе попросила Лида...»

Лиде неприятно такое слышать, как нам — читать, но Марина права, и скоро мы в этом убедимся. Автор любезно предоставит и нам, и Лиде такую возможность, оставив Марину с Андреем в той же квартире, то бишь в бабьем доме. За полчаса до прихода Андрея Лиду вызывает срочный, тревожный телефонный звонок. Она оставляет подругу поразвлечь гостя. И даже не одного, потому что и у Ани, младшей дочери Нины Елизаровны, тоже свидание, и тоже здесь, а она задерживается. Но к Аниному кавалеру, Мише, мы вернемся чуть позже, хотя и пришел он первым. А пока самое время пояснить, что Лида с Андреем намереваются прокатиться к морю, и Марина великодушно предлагает подруге на выбор любое из своих платьев. То, которое понравилось Лиде, несколько более прозрачно, чем принято, вот она и решила показаться в нем Андрею, одобрит ли он. Да вот оказия — срочно вызвали!

Не волнуйтесь. Андрей придет и увидит платье во всей красе. Правда, не на Лиде, а на Марине. Подруга охотно, ради Лиды, разумеется, устраивает в квартире перед двумя мужчинами демонстрацию мод. Пересказать эту сцену я не в силах. А посему слово Анатолию Курчаткину:

«— Подожди! — Марина вскочила со своего места... переоделась на кухне и медленным прогулочным шагом вернулась обратно. — Вот гляди, видишь? Она сомневается: брать его с собой, не брать. Хотела, чтобы ты решил. Я ведь, говорит, там с ним буду, все на меня смотреть будут, вдруг, говорит, ему это не очень приятно станет. Тебе то есть.

Произнося все это, она прохаживалась по комнате туда-сюда, платье было светлое, трусы и лифчик на ней темные, и она в самом деле была в нем «вся видна».

— Ну что ж, Мариночка... — сказал Андрей Павлович через некоторое время. — Я тебе очень благодарен за наглядную, так сказать, демонстрацию... Я получил самое полное представление...

Марина перебила его:

— Положим, полного ты не получил... При чем здесь платье?»

Действительно, при чем? Для того, чтобы Андрей Павлович получил полное представление, надо снять и его. Умело используя еще одну деталь современного интерьера — телефон, Анатолий Курчаткин уже через десять строк почти донага раздевает Марину:

«А телефон звонил, звонил, и в конце концов, постукивая каблуками тапок, к нему побежала с кухни Марина. Она успела лишь снять платье, но надеть ничего еще не надела, и прибежала к телефону в чем была — в трусиках и лифчике...

Она стояла посреди комнаты с прижатой к уху красной телефонной трубкой, совершенно не стесняясь пляжной своей обнаженности... и Андрей Павлович с Мишей невольно разглядывали ее, ее великолепное от природы, молодое и по-зрелому налитое тело...

— Это Лидин отец был? — чтобы хоть что-то сказать, замять неловкость, спросил Андрей Павлович...

— Он самый, — сказала на ходу Марина, вновь близко проходя от него и обдавая теплом и запахом своего тела».

Очередной стриптиз, описанный Анатолием Курчаткиным на сей раз более вдохновенно, привел к тому, что Андрей Павлович, оглядевший и обнюхавший Маринино тело в присутствии Миши, возже-

лал сделать это и наедине. Шила в мешке утаить не удалось, Лидино сердце было разбито, роман, как вы догадались, кончился.

Мужчина и женщина — тема вечная. Анатолий Курчаткин поставил перед собою задачу почти эпическую: в короткой повести он решил показать взаимоотношения мужчин и женщин разных поколений на одном фоне, в одном, так сказать, интерьере, соблюдая все три классических единства. Роман старшего поколения, как мы видели, был скоропостижным и бесплодным по вине раковины, судна и столбняка. Во втором поколении герой-любовник просто переключил свое внимание с одного тела на другое, поскольку и не было у него более серьезных намерений. А как дела у са́мого юного поколения?

Ане, как уже было сказано, восемнадцать. Миша отслужил в армии, человек он сложившихся взглядов и рассуждает солидно, не в пример застенчивому Евгению Анатольевичу. И семью Миша собирается создавать прочную. Послушайте, как он рассуждает:

«— Вообще-то я бы куда-нибудь в сферу обслуживания хотел. Я сейчас на заводе работаю... Тоскливо. У меня друг официантом, зовет меня все время. Сколько за один вечер лиц перевидит... Ну, не говоря о том, что в хороший вечер и пять красных имеет... Может, лучше в автосервис?..

— Проводник — это ведь все разъезды. Все в дороге, дома только оклематься. А я женюсь скоро... Зачем жену оставлять дома одну? Это соблазн. А я хочу, чтоб семья была семьей. Вот я, вот она, и никакого зазора между нами.

— ...Все они хотят. А она ко мне... да я с ней все, что захочу, могу — так она. Только пока не допускал себя. Если б не жениться, тогда бы можно, а так — попридержусь. Потом слаще будет».

Аню, свою потенциальную жену, Миша приглашает в театр, словно в добрые старые времена, с нею он предупредителен и вежлив, с нею он «не допускает себя». А всю эту «философию» Миша выкладывает нам, читателям, да Андрею Павловичу, человеку, с которым всего минуту назад познакомился в... Анином доме, в доме девушки, которую водит за нос. Рисковый он парень, Миша! — любой другой на месте Андрея Павловича взял бы Мишу за шиворот и, на правах старшего, спустил бы с лестницы. Впрочем, мы-то Андрея Павловича знаем лучше Миши и не удивляемся, что не собирается он открывать Ане глаза.

Не волнуйтесь. Это сделает сам Анатолий Курчаткин. И, конечно, не в лоб, это слишком примитивно. Анатолий Курчаткин наверняка приготовил уже какой-нибудь случай, столь же нелепый, как голубая раковина, и громоподобный, как судно... Вот как выглядит в повести этот случай: вместо надоевших финских Аня решила любыми средствами достать итальянские джинсы «Левис». А средство было только одно — обменяться. Банальная история, но кончилась она плачевно: в результате обмена, устроенного подругой, Аня попадает в милицию... вообще без джинсов. В трусиках. Вот как рассказывает об этом Лида, которую — помните? — вызвал куда-то тревожный звонок:

«— Систему ей парни предложили: чтобы вы нас не надули, а мы вас, заходим в какой-нибудь дом, вы на этаж выше, мы ниже, снимаешь джинсы, Светка отдает их нам, мы передаем тебе примерить «Левис». Зашли. Сняла она свои джинсы, прямо на лестничной площадке, отдала их Светке, та понесла вниз, а потом наверх — с голыми руками: твои отобрали, своих не дали...»

Очередной стриптиз нас уже не удивляет. Разумеется, и он становится причиной разрыва. Миша, получивший несколько приукрашенные сведения об инциденте, непреклонен: «— А я ее берег... деликатничал... Чистенькая такая девочка... снежок прямо такой беленький... Ух, обвела! За чистенькую шилась, профура!..

— Да это не дом, это бардак... Знаете, нет, про свою дочечку? Чем она занимается? С мужиками за деньги спит! В милиции на учете стоит! Я ее здесь в прошлый раз с билетами в театр жду, а ее снова в милицию замели — голая по подъезду бегала, в цене не сговорились, проучить ее вытолкнули»...

И так далее. Видит бог, скоропостижная любовь Нины Елизаровны была по крайней мере откровенней, а стало быть, и чище. Здесь же любовью и не пахнет. А наивная Аня, снявшая ради Миши последние джинсы на незнакомой лестничной площадке, даже и после этих не вполне изысканных выражений продолжает оправдывать Мишу: «Он такой нежный был, такой непохожий... сам меня останавливал...» Но — все кончено. Публично отвесив Ане пару оплеух, Миша, оскорбленный в лучших чувствах, уходит навсегда. Таков финал третьего, самого юного романа.

Вот, собственно, и все содержание повести «Бабий дом». Есть в ней, правда, и другие, менее значительные сюжетные ходы, есть и другие герои. Все они по очереди спотыкаются о раковину, все по очереди замирают от грохота падающего судна, все пытаются потрогать ружье, которое висит на медвежьей голове вот уже второй десяток лет, всех останавливает панический крик Нины Елизаровны — заряжено! — и все в конце концов остаются при своих интересах.

А ружье все-таки стреляет. Как и положено, в последнем акте. Причем само. Ночью. Зачем? А чтобы волшебным образом исцелить парализованную бабушку. Говорят, случается такое, хотя и крайне редко: от нового потрясения человек вскакивает и обретает дар речи.

Бабушке можно было и не вскакивать, но дар речи был ей крайне необходим: кому иначе мог бы доверить Анатолий Курчаткин заключительный монолог? Все остальные герои так или иначе успели дискредитировать себя в глазах читателя, в их уста не вложишь философские сентенции. А она — старая и, стало быть, мудрая, а что судно то и дело роняла с грохотом пушечного ядра, так это по немощи.

И вот счастливо исцеленная бабушка, пожелав доброй ночи дочери и внучкам,

уединяется на кухне и произносит этот венчающий повесть исполненный мудрости монолог:

«Как належалась-то... вот уж горюшко. Да намолчалась... Как колода какая. Належаться так-то да встать — счастье какое, слов не подберешь. Долдонят все: счастье да счастье... не знают, где оно... Как живут-то... все в страхе какомто... Откуда ему, счастью, быть, если все в страхе да в страхе? Из страха что, разве путное что соткешь? Живи, работай, люби да рожай, выпало ненавидеть — сумей и это, вот тебе и воля твоя, и смысл... Господи, дай им мудрости, одари ею, раздвинь тьму...»

Нет, не одарит. Если А. Курчаткин не одарил — господь не одарит. Куда полезнее было бы не бормотать мудрости под нос, а взять ремень да всыпать всем прочим обитательницам бабьего дома по известному месту. Ах, да — непедагогично...

Но еще мудрее поступил бы Анатолий Курчаткин, когда б не предложил своей повести журналу, а прежде сам перечитал ее на сон грядущий. Критически. Это иногда не вредно и «зорким писателям».

Да, видать, недосуг было Анатолию Курчаткину. Дела, текучка... Например, надо было, как члену редакционной коллегии журнала «Октябрь», прочесть и рекомендовать к публикации упоминавшуюся уже статью критика А. Бочарова «Утверждение человека», где он, Анатолий Курчаткин, назван зорким писателем. Ему, зоркому, как-то и в голову не пришло, что А. Бочаров мог восторгаться А. Курчаткиным и поливать его елеем не вполне искренне. В литературе не привилось покуда спортивное правило: судья объективности ради должен быть нейтральным и независимым...

Если говоришь истину — неизбежно повторишься. К счастью, в наш просвещенный век такое множество забытых истин, что само их повторение — уже событие. Одну из таких истин напомнил нам Александр Казинцев в статье «От избытка сердца...»:

«Положим, многие из серых однодневок... просто не дают оснований для разговора о художественных особенностях произведения, о том, как жизненное содержание воплощено в слове. Попробуйте в подобных случаях порассуждать о языке, о колорите, который Белинский так ценил, так выделял, говоря о литературе, о неповторимом авторском видении мира. Впрочем, пробовали! И в таком материале открывали художественные красоты и философские глубины, а создателей этих однодневок сопоставляли... С кем только их не сопоставляли...»

Непонятно только, почему эти строки не попались на глаза Анатолию Курчаткину? Не как «зоркому писателю», а просто как члену редколлегии журнала? Статья-то напечатана в том же шестом номере «Октября»!

Александр Казинцев, строки из статьи которого я цитировал выше, советует не забывать слова В. Г. Белинского: «Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотворение, как бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если в нем нет поэзии, — в нем не может быть ни прекрасных мыслей и никаких вопросов, и все, что можно заметить в нем, — это разве прекрасное намерение, дурно выполненное».

Полезно перечитывать статьи Белинского. А приведенные слова в равной степени относятся и к прозе. В данном случае к прозе журнала «Октябрь».

А поэтическую рубрику журнала «Октябрь» № 6 открывает подборка стихотворений Юнны Мориц. Имя достаточно громкое, и все же как-то неловко, помня Белинского, говорить в данном случае о поэзии. Александру Иванову тут точно делать нечего: Юнна Мориц блестяще справилась с жанром автопародии. Досадно даже, что она не ставила перед собою такой задачи.

Сознавать, что ты крепко ушиблен, помоему, грустно. Ну а если, слава богу, не пыльным мешком, как прочие, а осколком звезды? Этим можно, пожалуй, даже гордиться.

Найдут облака в моем черепе звонком,
пришельцев крылатых следы.
Подумаешь, новость —
моя нездоровость?!
Я крепко ушиблена — это не новость! —
осколком звезды.

А чтобы не угасло поэтическое вдохновение, надо и друзей выбирать по этому признаку:

Твои друзья — не знамениты,
не живописцы, не поэты.
Иные тянут их магниты,
иной звездой они задеты.

Юнна Мориц хотя и запанибрата с Булатом Окуджавой и Владимиром Высоцким —

И все поют стихи Булата.
И все поют стихи Володи... —

однако лишь друзья, не столь знаменитые, как Володя и Булат, но обязательно ушибленные, или хотя бы задетые, но — звездой! — могут вдохновить на такие строки:

Оттолкнулась подальше, взяв весло,
и не скисну, губ от слез не раскорячу.
(«Рыбачка»)

В лексиконе рыбачки, тем более с тридцатилетним стажем, как у героини этого стихотворения, наверняка имеется словечко «раскорячить», не вполне, скажем, поэтичное. Но что с нее взять, с рыбачки? И все-таки Юнна Мориц что-то недослышала. Если рыбачка говорила порусски, она конечно же имела в виду не губы...

Да, со времен Белинского поэзия неузнаваемо изменилась. Она стала раскованней и разнообразней. Но главный-то критерий остался тот же! И если с ним подойти к опубликованным в журнале стихам Юнны Мориц — останется «прекрасное намерение, дурно выполненное».

А эпиграфом к этим своим заметкам я поставил бы строки Юнны Мориц, напечатанные все в том же шестом номере «Октября»:

На этом береге высоком,
Где бьется музыка под током,
И смерти нет, и свет в окне, —
Царит порука круговая,
И все поют, не уставая...

У КНИЖНОЙ ПОЛКИ

О ПРЕДКАХ — В НАЗИДАНИЕ НАМ, ПОТОМКАМ

М. М. Громыко. ТРАДИЦИОННЫЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ И ФОРМЫ ОБЩЕНИЯ РУССКИХ КРЕСТЬЯН XIX в., Изд-во «Наука», М., 1986.

Вульгарные социологи, стремившиеся влиять на художественную жизнь страны в 20—30-е годы, из несомненного факта катастрофического обнищания крестьянства делали вывод и о духовной нищете основного класса русской нации. Эта методологическая позиция определяла в науке исследование «ущербных», «темных», «инфернальных» сфер жизни, взаимоотношений, нравственности крестьянства, а в художественных произведениях — изображение его тупости, дремучести и необузданности поведения.

Решительная борьба партии против вульгарного социологизма уже в 30-е годы помогла объективному пониманию места и роли крестьянства в судьбе и истории Отечества. Тем не менее и в наше время рецидивы старого подхода продолжают сказываться в художественных произведениях. То в телесериале о комиссаре милиции покажут звериное кулачное мордобитье пьяных крестьян псковской деревни, то в фильме о трудных и героико-драматических временах гражданской войны появляются пьяные мужики (обязательно с капустным крошевом в бороде)... Настойчиво внедрялся в сознание зрителей, читателей, слушателей стереотип крестьянина-полудурка, сиволапого мужика с хищнической психологией, примитивной нравственностью, кругозором, ограниченным собственным огородом. В этом слышался недвусмысленный приговор нации, в абсолютном большинстве состоявшей из крестьян, среди которых преобладали бедняки. Искажение национального облика, характера стало настолько «естественным», что, когда русская советская литература, учитывая опыт М. Шолохова, в 60—70-е годы стала описывать действительный быт и нравы крестьянства в переломный период истории (книги Ф. Абрамова, И. Акулова, М. Алексеева, В. Белова, С. Залыгина, Б. Можаева и др.), многие критики и литературоведы загомонили о воспевании патриархальщины, романтизации крестьянства и о многом другом в том же духе.

Между тем правда жизни входила в противоречие с этим стереотипом. Советская историческая наука постепенно воссоздавала действительный облик русского крестьянства, разрушала ложную взаимозависимость нищеты экономической и нищеты нравственной и духовной (основываясь на марксистском учении об относительной самостоятельности развития форм духовного производства). Работы К. Чистова, В. Соколовой, Н. Покровского, Н. Каргополова, Б. Путилова, З. Померанцевой, И. Ковальченко и многих других показали не однозначную, не прямую зависимость морали от уровня развития экономики. Нравственность, поведение, эстетика крестьян строились на чувстве доброты, ощущении прекрасного (в конкретно-исторических формах проявления), которые определяли смысл, содержание их жизни. Безнравственное и безобразное было в сущности искажением народных представлений о добре и красоте. Поэтому любые «художественные» смакования крестьянской разнузданности, невежества, дикости, оправданные тем, что все это, мол, из жизни, на самом деле были лишь частью правды, уводили от основополагающих нравственных и эстетических принципов крестьянского бытия.

Только через доброе и прекрасное можно понять духовные потенции народа, только тогда, наконец, возникает и действительная возможность обоснованно говорить о преемственности коммунистической. Только так понятые основы народной жизни объясняют нам, почему Л. Н. Толстой, написавший «Власть тьмы», все-таки выражал всем своим творчеством интересы и идеалы русского патриархального крестьянства; почему Ф. М. Достоевский, видевший горестную судьбу крестьянства в условиях надвигавшегося на Россию капитализма, создал бессмертный образ мужика Марея; почему, наконец, М. И. Глинка, творец новой русской оперы, сказал,

что народ создает музыку, а композиторы ее лишь аранжируют.

Но вернемся к правде жизни и науки. Смакование российского пьянства «знатоками» русского быта и русской истории при проверке статистикой оказывается мыльным пузырем. С 1885 по 1905 год Россия по потреблению спиртных напитков находилась на последнем месте среди двенадцати стран Европы и США, отставая семикратно от Франции, четырехкратно от Англии, трехкратно от Германии и двукратно от США. По потреблению водки она передвигалась на восьмое место. Применительно же к крестьянству следует отметить, что оно употребляло спиртного значительно меньше, чем горожане. Неумеренность употребления спиртного в праздники, на свадьбах и торжествах говорит как раз об отсутствии привычки к алкоголю, но очень уж хотелось иным «знатокам» выдать ритуальное пьянство за повседневную норму взаимоотношения русского со спиртным. И выдавали.

Из немногих, но научно состоятельных книг о нравственных основах жизни крестьянства на рубеже XIX и XX веков особенно выделяются исследования М. Громыко, которая вот уже четверть века последовательно разрабатывает эту важнейшую проблему. Используя богатейший материал фондов архива Географического общества, Этнографического бюро В. Н. Тенишева, военно-стратегические обозрения губерний и областей, составленные офицерами генерального штаба, и другие авторитетные источники, М. Громыко создала труд, высокая научность которого сочетается с литературными достоинствами, делающими книгу заметным явлением нашей духовной жизни.

Что же новое для нас открывает М. Громыко? Основываясь на документах, она показывает, как эксплуатируемый народ, ввергаемый капитализмом в нищету и бесправие, выработал устойчивые средства защиты от всерастлевающей власти чистогана, противопоставил буржуазной бездуховности нормы поведения и нравственности, которые сохранили живую душу народа и во многом объясняли достаточно быстрый переход крестьянства к социализму. Деятельная праведность — вот, пожалуй, наиболее точная характеристика крестьянской нравственности, и М. Громыко совершенно права, когда начинает описывать ее с разных видов взаимопомощи (помочь, толока, сеновица, дровяница и т. д.). Сейчас больше известно о том, что помочь собирали по просьбе крестьянина, когда в силу тех или иных обстоятельств он не мог справиться сам с хозяйственными нуждами. Но и сельский мир, сход активно участвовал в судьбе односельчан. «Случалось, что мир направлял здоровых людей топить печи, готовить еду и ухаживать за детьми в тех дворах, где все рабочие члены семьи были больны. Вдовам и сиротам община нередко оказывала помощь трудом общинников: во время жатвы, на покосе. Иногда мир обрабатывал участок сирот в течение ряда лет... Особенно распространена была помощь общины погорельцам — и трудом, и деньгами... Во время русско-турецкой войны 1877—78 гг. в некоторых общинах принимались решения схода о помощи семьям ратников: летом у таких семейств скосили, связали и свезли на гумно хлеб; часть хлеба была обмолочена, остальной убран в скирды. Хозяйки угощали односельчан, участвовавших в этих работах... Помощь общины отдельной семье оказывалась во время значительных семейных событий — похорон, свадьбы и др., — если семья в этом нуждалась. Иногда на средства общины готовили свадебный наряд невесте». Как правило, если помочь устраивал хозяин, то за работу он расплачивался угощением. «Хозяин был любезен и приветлив с помочанами. Он не мог принуждать, указывать, как и сколько кто-либо должен работать. Крестьянская этика исключала также замечания хозяина, если чья-либо работа ему не нравилась. Он мог лишь просто не пригласить такого человека в следующий раз к себе на помочь. Угощать помочан должен был обязательно сам хозяин или кто-то из его семьи; другие варианты считались обидными для помочан... По описаниям многих наблюдателей, уже во время работы звучали песни, шутки, затевались игры и шалости. Не было четкой грани между трудовой и праздничной частью помочей». Вместе с тем чрезвычайно важен вывод М. Громыко о том, что «существенную хозяйственную и нравственную роль играли помочи также как одна из форм коллективных работ, где вырабатывались, закреплялись и передавались в межпоколенной трансмиссии производственные приемы и навыки, происходил обмен эмпирическими знаниями и наблюдениями. На помочах устраивались состязания по конкретным видам труда, выделялись наиболее умелые. Как место коллективных работ, помочи играли роль в формировании репутаций в трудовом их аспекте (в частности, для молодежи — репутация невесты, жениха)». Естественно, что в условиях капитализма любая помочь не могла быть средством борьбы с эксплуатацией. Но столь же естественно, что крестьянская взаимопомощь крепила и сама была свидетельством коллективизма и нравственного содержания взаимоотношений крестьян.

Понятно, что подобные взаимоотношения крестьян регулировались сельским миром на сходках. Каждый имел право высказаться на них, говорили там по существу, поскольку «боялись, как бы не сказать что-нибудь не так, как бы их не «засмеяли».

Словесные оскорбления, произнесенные на сходке, считались позорящими... Драки на сходках были запрещены обычным правом. Крестьянское общественное мнение считало допустимой драку на базаре или в кабаке... «Хорошие люди в кабак не ходят, там всякое бывает, там и чинов нет; на улице бы тебя никто не тронул».

На сходках решались хозяйственные вопросы, обсуждались внутриобщинные события, назначались и смещались должностные лица (смещение старост было явлением нередким). Сходка считалась рупором общественного мнения, самим общественным мнением, что делало особо значимыми решения, которые на ней при-

нимались. И здесь, конечно же, данная форма коллективного принятия решений наталкивалась на существующую в стране государственную машину, политическую систему, обслуживающую правящие сословия. Сила была на стороне государственной власти, нравственность и человечность — у сельского мира и сходки. Вот этой нравственной силой и регулировалось поведение крестьян в конкретных обстоятельствах. Примечательно, что «община решительно боролась со всяким обманом мира. Попытки ввести в заблуждение общественное мнение неизменно вызывали резкое осуждение крестьянского коллектива».

Особый интерес представляет духовная жизнь крестьян. Преобладающим было чтение духовной литературы, в том числе апокрифов, созданных в крестьянской среде. «Большой популярностью пользовались на встречах-беседах старших крестьян литературные и устные рассказы о военных действиях, известных полководцах. По данным Алексеевской вол. Малоархангельского у. Орловской губ., из исторических событий наибольший интерес в 1898 г. вызывали: война 1812 г., участие в ней простого народа; Куликовская битва (благословение Сергия, подвиги Пересвета и Осляби); последняя русско-турецкая война; осада Севастополя. Любили крестьяне также рассказы о Петре I, Екатерине II, Суворове, Кутузове и других выдающихся людях».

Конечно, город снабжал побывавших в нем крестьян Люком и Блюхером, но и большая литература проникала в крестьянскую жизнь. «Сказки Пушкина знают даже безграмотные старухи, — отмечал информатор из Романо-Борисоглебского у. Ярославской губ., подчеркивая также популярность в крестьянской среде пушкинских повестей (охотно читали «Капитанскую дочку», «Дубровского», «Историю Пугачевского бунта» и пр.). При обсуждении некоторые крестьяне живо обрисовывали Пугачева и Гринева». В Орловской губернии крестьяне читали сказки А. С. Пушкина, «Тараса Бульбу» и другие сочинения Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, И. А. Крылова, А. В. Кольцова.

Преемственность духовной жизни разных возрастных групп крестьян ставит под вопрос утверждение об их духовной нищете. Верно то, что существующая социально-политическая система препятствовала духовному развитию крестьян, приобщению их к мировой культуре, но это ведь вопрос о чуждости социально-политической системы крестьянству, а не проблема его духовной нищеты.

Много интересного узнаем мы из книги М. Громыко и о крестьянской молодежи. Старшее поколение заботилось, чтобы наследники продолжали те производственные, нравственные, эстетические традиции, которыми была сильна и которыми жила русская деревня (и которые были, повторим, специфической формой защиты против капиталистической эксплуатации).

Все сказанное имеет далеко не академический интерес. В большинстве своем мы выходцы из крестьян (в первом, втором, третьем поколении — не суть важно), и знать о своих предках, об их духовном облике — долг потомков, обязанность граждан великой державы, имеющей героическую историю, главным действующим лицом которой многие века было крестьянство. Уничтожение ложного стереотипа — это возвращение национальной памяти и утверждение национальной гордости великороссов, первыми в России поднявшихся на борьбу с буржуазно-помещичьей эксплуатацией.

Фактическая основа книги М. Громыко еще и остроактуальна. Она вновь заставляет размышлять о значении преемственности и традиции для воспитания современной молодежи. Так ли уж разумно распорядились мы своим наследием и не пришло ли время вернуть в сегодняшний день то лучшее, чем крепился наш национальный характер, наша история, чтобы крепла страна и красно украшалась земля русская, советская.

На этом бы я и закончил рецензию, но заглянул в выходные данные и поразился: важная, актуальная, граждански значимая книга напечатана тиражом всего лишь 6 500 экземпляров. Ясно, что массовому читателю она недоступна, а стало быть, и необходимого нравственного воздействия на людей не окажет. А жаль. Убежден, что подобные исследования нужно издавать значительно большим тиражом, чтобы их могли прочесть все, кто видит в истории и обычаях предков урок и назидание для общей нашей работы по устроению жизни социалистического Отечества.

Эдуард ВОЛОДИН,
доктор философских наук.

«ДРАМА» ЭГОИСТОВ

Виктория Токарева. ДЛИННЫЙ ДЕНЬ. Повесть. «Новый мир», № 2, 1986.

Представьте себе женщину среднего возраста, но еще на взлете, еще в ореоле юности, красивую и нежную, как «Весна» Боттичелли. Красота ее производит особое впечатление благодаря тонкому вкусу костюма и косметики, пониманию времени и места для того или иного облика, продуманного, искусно созданного у зеркала. Настоящая женщина!

И все остальное в ее жизни есть: и муж непьющий, проводящий вечера за чтением Диккенса, деликатно не вникающий в причины поздних приходов жены домой. И дитя, девочка трех лет. И домработница Нюра, в то же время и нянька, — непритязательное, бескорыстно любящее существо. И квартира уютная...

Более того: Вероника Владимировна — настоящий журналист. И не просто настоя-

щий, а признанный, работающий в большой газете. Для этого есть в ней мужские бойцовские качества, железная броня. Так она и раскрывается окружающим: сначала кажется клумбой, а если подойти поближе — танк, усыпанный цветами. К чести героини — свои «гусеницы» она использовала только в общественных интересах, в интересах человечества. «Ни по чьим телам эти гусеницы не шли».

Одного нет в жизни этой великолепной женщины — счастья. Нет дома, семьи. Есть условия мирного сосуществования с самоуглубленным любителем чужого опыта — мужем Алешей. «Все необходимое для житья, как то: гнездо, корм, забота о потомстве, — лежало на ней». А нашей героине хочется прислониться к плечу мужчины, который был бы умнее ее. Захлестывает еще временами радость бытия, земной и грешной жизни: Вероника хватала за хвост уходящую юность.

В принципе, у такой героини, какой ее рисует автор, намечается четкий, традиционно-заезженный путь: поиски и драма настоящей или ненастоящей любви. Почти так и произойдет.

Почти, да не совсем.

Сознательно я опустила то, с чего повесть начинается. А начинается она с беды: заболела дочь Нютечка. И ее болезнь — та лакмусовая бумажка, которая выявит истину. Испытание жизни человека жизнью ребенка — вот что произойдет на наших глазах. Тоже — традиция для нашей литературы. Как-то повернется она в этот раз?

Какой была Вероника до момента, когда ей высказали приговор: «вульгарный пиелонефрит»?

То, что лежало на поверхности, уже обрисовано. А если приглядеться? Откроется многое. Первое, что не касается ребенка: равнодушие к мужу, рациональность, холодок в отношениях с людьми, в том числе и с семидесятилетней домработницей. Профессиональная наблюдательность и аналитичность. Второе, что связано с материнством: одиннадцать лет ей казалось, что рожать детей могут все — и кошки, и собаки. Выйдя замуж в двадцать, Вероника одиннадцать лет потратила на поиски себя. Делать то, что делает она — найти тему, вскрыть ее и бросить людям, — в этом ее ответственность перед человечеством. Так, говорит автор, ей казалось.

И мало что изменило рождение Нютечки. Вероника «сбагрила Нютю на Нюру» — ведь, чтобы по-настоящему чего-то достичь, надо заниматься чем-то одним. Как видим, лукавит прекрасная Вероника, когда заявляет: гнездо, корм, забота о потомстве — все на ней. Пока что Вероника занята человечеством, восстанавливает справедливость. Отдадим должное — она действительно взяла на себя ответственность.

И только удар — стойкий белок! — спускает ее в быт. Возмездие — вот оно. Вероника должна пересмотреть свою жизнь: ведь «во всем плохом, что происходит с детьми, виноваты родители, и даже если они не виноваты, то виноваты все равно». Оставить больную ангиной дочку — и отправиться в «Питер» за сенсацией, да еще за несостоявшейся!! А болезнь в те дни побеждала ребенка...

Перед нами — назревшая необходимость рождения нового человека. Матери. И ее хождения по мукам.

Так вот она, тема? Она, да не она. В этом жестоком мире есть один человек, Егоров. Вот он, чудо-доктор, и кажется Веронике солнцем, последней надеждой и последней возможностью счастья. И Вероника... забыла страдающую дочь. На миг, на одно мгновение. Но оказалось же возможным!

Ради кого можно забыть даже это?

Талантливый, одинокий в семье, несчастливый в безлюбии своем, нуждающийся в заботе человек. Но он знает, что все позади, ничто уже не сбудется. «И он никому не верил. Но и безверье не тяготило Егорова. Он и к нему привык».

Так что же? Снова возвращаемся к любви? Да, в повести любовная линия занимает, постепенно вытесняя остальное, главное место. Полюбила Вероника — а он в то время только созревал для любви. Когда же она забыла все личное ради ребенка — полюбил Егоров. Ничего не состоялось. Причина — в разном ритме их судеб. В случае. «Пронесся в небе и сгорел метеорит. А могла быть звезда. Она пошла к нему навстречу во вторник. А он к ней — в среду. Их дороги не совпали на один день. Казалось бы, какая мелочь: один день. Но все трагедии — в несинхронности».

Они с Егоровым — близнецы. Равно рационалистичны, жестки, преданы работе. Оба — профессионалы. Быть же профессионалом — значит утрачивать целостного себя. Есть в повести апофеоз профессионализма: охотник Зубаткин, который охотник, и все. Поэтому охота для него не повод поразмышлять о жизни, о смысле ее, не возможность хоть временно ощутить себя в единстве с целым миром. Нет, Зубаткин просто шел за... мясом.

Вот этот Зубаткин и заявляет о себе в каждом из героев, главных и не очень. В ком больше, в ком меньше. И худо от этого всем.

Вот один пример: в тот момент, когда Вероника молится на свое солнце — Егорова, когда он для нее един и гармоничен, от лица и рук выходит мужская сила, когда все устремлены к нему, как железо к магниту, — в тот самый момент распрекрасный Ромео самым банальным образом совершает то ли преступление, то ли подлог. Он хвалит дрянную диссертацию, чтобы успешно прошла защита: «пусть Пяткин станет кандидатом и получит кандидатскую зарплату. Зарплата врача невелика. Как им платят, так они и работают. От таких равнодушных тружеников ущерб государству». На одной этой сентенции героя можно диссертацию защитить!

Се — герой?

А вот Егоров в думах о собственном сыне. Чем тот ему дорог? Был бы дорог, если б поднялся выше отца. А так — гораздо ниже деда. Такие дела.

Хотите знать, чем мучится Вероника? «Страх за ребенка — это больше, чем страх за собственную жизнь. Это страх за свое бессмертие».

Никто никого не любит. Никто не способен любить хоть что-то вне себя! Все самоутверждаются. И все пути от себя (в дочь, в сына) опять выводят к себе. Не мир, но нора — вот пространство, где обитают герои. Всем плохо без любви. И все плохи потому, что их не любят.

Драма не состоялась. По разным причинам. Во-первых, ее нет и быть пока не может на уровне личной жизни героев. Мне нравится, что героиня В. Токаревой остается в семье. Это знак приближения к дочери (другое дело, что Вероника не сама выбрала, а оставлена волей обстоятельств: он отказался. Вынесло, как волнами, к этому берегу, а могло к другому прибить...). Может, именно за это героиня вознаграждена, болезнь отступает. Но дело не в этом — сменить мужа Алешу на мужа Егорова можно, да ни к чему.

Герои не живут на уровне бытия, они только пытаются вылезти из быта. То, что делает Вероника как журналист, мало показано и не раскрывает ее общественной позиции, но настораживает ее желание выделяться, отношение к читателям как к толпе: помните ее цель — бросить тему людям? Герои только в предосознании необходимости жить миром, а не днями, моментами. Будет ли иная жизнь? Я лично склонна сомневаться. Не считать же открытием горестные мысли Егорова: «Время не проходит. Время стоит. Проходит человек. Он, Егоров, прошел свою молодость и свою зрелость. И поднялся на новый возрастной этаж. Его игры сыграны... И он будет надо всеми — одинок и свободен. И ближе к небу». Истины эти — цитата из Талмуда. А уж величия-то, величия! Напрасно ожидаете бессмертия, Егоров! За него кровью платят — своей. Не поднялся, но опустился человек. Не небо место его обители, а Воронья Слободка нового времени. Эгоизм тот же. Манеры изменились.

Герои склонны рефлектировать, к сожалению, их открытия — повторение пройденного, часто — из программы средней школы. Уже говорилось, что 99 процентов героев повести чаще плохи, чем хороши. Но не это нас занимает, а сделанное Вероникой открытие: люди добра должны объединяться. Да это же в «Войне и мире» предлагал нам сделать Л. Н. Толстой. Я не против повторения пройденного. Но грустно, когда найденное до нас показано как открытое впервые.

Повесть не состоялась как целое, распалась на сюжеты, годные для романа. Вышел же развернутый рассказ. Автор не справился с задачей художественной.

Столкнулись жизнь и искусственность — и чувство меры изменило автору. И, к сожалению, такт. Вот больная от горя Вероника прорвалась к дочери в больницу. «Вероника постарела... и походила... на бабочку-капустницу, которую вытащили из перекиси водорода». Помилуйте, да время ли и место для этих наблюдений из парикмахерской!

Многие персонажи не нравятся В. Токаревой. Но, может быть, есть более достойный способ обозначить отношение, чем — назвать врачихой, страшненькой, усатой профессоршей, капитаном гренадеров (ту же, усатую)? Голос автора и голос героини в этих случаях неразделимы.

Небрежность в работе со словом уже продемонстрирована, как и жеманность, кокетство словом. А есть и грубые ошибки: Вероника, уговаривая дочь остаться в больнице, «апеллирует такими несложными понятиями, как «хорошая девочка» и «нехорошая девочка». Оставим в стороне то, что слово «апеллировать» — неловкое, чужеродное для ситуации. Но оно просто неверно используется, ведь «апеллировать» значит обращаться к кому-то за поддержкой, советом. Апеллировать можно к массам, к сознанию. А как апеллировать несложными понятиями? Не по-русски. Случай? Опечатка? Может быть. Но показателен случай, показательна опечатка. И самое плохое: трудно понять, согласна ли В. Токарева с тем, что нравственность у каждого своя. Этот тезис Зубаткина никак не опровергнут. Смею думать, он даже подтвержден: в каждой профессиональной среде свои нормы. Так по крайней мере в повести происходит. Героиня выбор сделала — но, опять же, умозрителен он. В деле мы ее не видим, а видим в борьбе за свое бессмертие — и тут она в средствах не стесняется.

Так что движения нет. Налицо одно шевеление. Или бег на месте. Тоже традиционно уже для нашей литературы, для искусства в целом. Целый ряд назовем: «Обмен» Ю. Трифонова, «В четверг и больше никогда» А. Эфроса, тут же — герои Р. Киреева, В. Маканина... Формально понятый родительский долг, откуп от детей, выявлен в «Вагончике» Н. Павловой... А Мансурова С. Залыгина!

Никто не против, если писатель идет кому-то вослед. Да не мешало бы по-новому прочесть, иное увидеть. Быть точнее. Тогда не понадобится так укрупнять и обобщать явление. Неужели так оскудел мир добротой и любовью? Так уж и все подряд живут лишь собой?

Когда-то В. Токарева удачно определила новый тип современной внешности: красивый урод или уродливый красавец. Теперь перед нами не то честные взяточники, не то взятки честными стали... Или не каждому это лыко в строку ставится? Егоров, например, не любит, когда дарят подарки врачам его больницы. Но вот новый отсчет времени его жизни начинают в его квартире часы, подаренные благодарными родителями. Бал фарисеев, да и только!

Каждый из героев в своих поступках, словах и убеждениях — все тот же уродливый красавец. Только красавцы эти теперь заполнили весь мир. Даже преданная работница Нюра (этакая пародия на глас народа), деревенская бабушка семидесяти лет, трехлетнюю Анечку-Нютечку за неблагодарность легко переименовывает в гадину...

В чем же неудача Виктории Токаревой?

Она, как ни странно, обозначилась уже в первой удаче. Тогда, в 60-е годы, обращение к обыденной жизни обыденного че-

ловека, к мелочам и подробностям его не всегда одушевленной глубоким содержанием жизни было в какой-то степени закономерным и необходимым. Именно тогда героиня В. Токаревой защищала свое право писать рассказы о маленьких людях: «Маленькие — тоже большие... Мой герой влюблен, а влюбленные везде примерно одинаковы». Ю. Нагибин, напутствовавший В. Токареву, верно и своевременно предостерегал ее от опасностей выбранного ею пути. Но... «Я не хочу быть инструктором. Я хочу сама плавать или посыпать дорожки солью, чтобы другим ходить удобно было».

Не наивно ли было такое противопоставление? Конечно — нет, если отнести его к некоторым псевдонаучным тезисам критики 40-х — начала 50-х годов. Конечно — да, если соотнести с историей русской литературы, которая не могла не быть учительской в высшем, не дидактическом смысле этого слова. Русская литература за тысячу своих нелегких лет не обходилась никогда без идеала и всегда стремилась к его реализации. То же — в фольклоре. Идеал и идеальный герой — важные понятия. Нельзя путать идеального героя с идеализированным. В народном понимании Илья Муромец идеален. А разве не идеален Дон Кихот? А. С. Пушкин сам сказал о своей любимой героине: «А та, с которой образован Татьяны милой идеал...» В том же ряду поисков нужного жизни идеального человека Ленин Горького и Маяковского, Павел Корчагин, Василий Теркин... Ряд выстраивается внушительный.

Бытовой человек — человек неисторический. М. Бахтин хорошо показал, что быт для всей мировой художественной традиции — яма, могила. Да, нужна литературе обыденная жизнь обыденных людей. Но разрыв человека с чем-то, что трудно выразить словами, лишает его права на будущее. Взгляните у В. Распутина: старуха Анна связана с жизнью крепче и крупнее, чем ее погрязшие в бытовых мелочах клочковатые, равно готовые на подвиг и преступления, порвавшие с чем-то существенным дети. В. Распутину от этого страшно: человек без опоры на традицию и идеал живет одним днем, он может уничтожить все, что составляет самую основу его собственного бытования. Но он этого не знает!

Постепенно страшно стало и В. Токаревой. Но преодолеть инерцию она не смогла, хотя дорога и сама попытка. Для преодоления надо переродиться, отойти от мира бытового человека, блюсти дистанцию.

Вот в чем причина неудачи и вот в чем существеннейший урок этой неудачи.

Ольга РАЗВОДОВА.

СОДЕРЖАНИЕ

Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **М. И. Кононова, Л. П. Ефимова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главный редактор), 200-24-83, 200-24-94 (заместители главного редактора), 221-43-59 (ответственный секретарь), 221-48-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-23-07 (отдел поэзии), 228-32-16 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-23-54 (корректоры), 200-24-32 (технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией).

Сдано в набор 12.11.86 г. Подписано к печати 19.01.87 г. А-06964
Формат 70×108¹/₁₆. Бумага типографская № 2. Печать высокая.
Усл. печ. л. 16,8. Уч.-изд. л 21,12. Тираж 220 000 экз. Заказ 2510 Цена 80 коп.

Ордена «Знак Почета» типография газеты «Красная звезда». Хорошевское шоссе, 38.

ЦЕНА 80 КОП. ИНДЕКС 73274

НАШ СОВРЕМЕННИК